ПЯТИКРАТНЫЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АГАТЫ КРИСТИ
ЗА ЛУЧШИЙ ДЕТЕКТИВ ГОДА

ЛУИЗА ПЕННИ

Эта прекрасная тайна



Потрясающе. Пенни, как настоящий виртуоз, исполняет сложные вариации на тему ключа к разгадке, спрятанного на самом видном месте.

Publishers Weekly

Annotation

Роман «Эта прекрасная тайна» продолжает серию расследований блистательного старшего инспектора Армана Гамаша – нового персонажа, созданного пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи.

В этом уединенном монастыре, затерянном в дебрях Квебека, почти всегда царит тишина, прерываемая лишь старинными песнопениями. Прекрасные голоса монахов зачаровывают всех, кому посчастливится их услышать, и кажется, что рядом с этой красотой нет места злу. Однако в монастыре происходит убийство, и старший инспектор Арман Гамаш начинает расследование, не подозревая, что и сам вскоре станет жертвой – жертвой предательства, совершенного самым преданным его помощником…

Впервые на русском языке!

Луиза Пенни
Эта прекрасная тайна

Эта книга посвящается тем, кто опускается на колени, и тем, кто поднимается во весь рост

Пролог

В начале девятнадцатого века Католическая церковь поняла, что у нее есть одна проблема. Нужно признать, что проблем у нее, вероятно, имелось гораздо больше. Но та, что занимала тогда церковь в первую очередь, была связана с Литургией часов[1], включавшей восемь ежедневных молитв, во время которых звучали песнопения. Хоралы. Григорианские песнопения. Простые одноголосные мелодии, исполнявшиеся смиренными монахами.

Если уж называть вещи своими именами, то Католическая церковь потеряла Литургию часов.

Различные службы в течение дня продолжали отправляться. То, что считалось григорианскими песнопениями, продолжало звучать время от времени то в одном, то в другом монастыре, однако даже в Риме признавали: эти песнопения так далеко ушли от оригинала, что их можно назвать искаженными, даже варварскими. По крайней мере, в сравнении с изящными, прекрасными мелодиями, исполнявшимися на несколько веков раньше.

Но один человек знал, как решить проблему.

В 1833 году молодой монах отец Проспер[2], который восстановил и возглавил монастырь во французском Солеме, задался целью возродить оригинальные григорианские песнопения.

Однако тут возникла еще одна проблема. В результате поисков, проведенных настоятелем, выяснилось, что никто не имеет представления о том, как звучали первые песнопения. Никаких записей самых ранних хоралов не было. Они появились в такой древности – более тысячи лет назад, – что предвосхитили появление нотной грамоты. Их заучивали на слух в течение долгих лет и передавали по памяти из поколения в поколение. Те песнопения отличались простотой, но в самой их простоте и содержалась сила. Первые песнопения были утешительными, созерцательными, притягательными.

Древние песнопения оказывали такое сильное воздействие на тех, кто их пел или слышал, что им дали название «прекрасная тайна». Монахи считали, что они поют слова Господа спокойным, утешительным, завораживающим голосом Господа.

Отец Проспер знал, что в девятом веке, за тысячу лет до его времени, некий монах тоже задумывался о тайне песнопений. По церковному преданию, ему было откровение, и он решил сделать запись песнопений,

чтобы сохранить их для потомков. Слишком многие тупоголовые послушники совершали слишком много ошибок, пытаясь заучить хоралы. Если слова и музыка этих песнопений имели воистину Божественную природу (а монах верил в это всем сердцем), то для их сохранения требовалось что-то более надежное, чем человеческая голова.

Из каменной кельи своего монастыря отец Проспер видел того монаха, – видел, как он сидит точно в такой же аскетической комнате. Как он подтягивает к себе отрезок ягнячьей кожи – пергамента – и макает гусиное перо в чернильницу. Текст – слова – он записывал, конечно, на латыни. Псалмы. А когда закончил, вернулся к началу. К самому первому слову.

Его перо замерло.

Что дальше?

Как записать музыку? Как передать нечто столь неуловимое? Он попытался составить инструкции, но они получились совершенно неудобоваримыми. Одними лишь словами невозможно передать, как музыка возвышает человека, как поднимает его до божественного состояния.

Монах пребывал в замешательстве. Дни и недели вел он монашеское существование. Вместе с другими молился и работал. И снова молился. Исполнял песнопения Литургии часов. Обучал рассеянных молодых послушников.

И в один прекрасный день он заметил, что певцов привлекает его правая рука, при помощи которой он управляет их голосами. Вверх, вниз. Быстрее, медленнее. Тихо, спокойно. Слова они заучили, но в том, что касается музыки, руководствовались движениями его руки.

В тот день после вечерни этот безымянный монах сидел рядом с горящей драгоценной свечой, просматривал псалмы, так тщательно записанные им на пергаменте. Он обмакнул перо в чернильницу и записал первую ноту.

Это была волнистая линия над словом. Одна короткая изогнутая линия. Потом он изобразил еще одну. Потом еще. Он изображал свою руку. Стилизованно. Показывая какому-то невидимому монаху, что нужно взять на тон выше. Еще выше. Держать. Подняться чуть выше. Задержаться там на мгновение, а затем свалиться, скатиться вниз в головокружительном музыкальном падении.

Он рисовал и напевал себе под нос. Его простые знаки в виде руки порхали по пергаменту, а с ними оживали и слова, поднимались над столом. Обретали способность летать. Летать радостно. Монах

слышал, как к нему присоединяются голоса еще не родившихся братьев, поющих те же псалмы, что освободили его и вознесли его сердце на небеса.

Пытаясь проникнуть в прекрасную тайну, монах изобрел музыкальное письмо. Но еще не ноты – его знаки стали известны под названием «невмы».

Столетия спустя это простое песнопение эволюционировало в сложное. Добавлялись инструменты, созвучия, что привело к появлению аккордов, нотного стана и, наконец, музыкальных нот. До-ре-ми. Родилась современная музыка. «Битлз», Моцарт, рэп, диско, «Энни получает ваше оружие»[3], Леди Гага – все они плоды того древнего семени. Все они восходят к монаху, изобразившему свою руку. Монаху, который напевал себе под нос, дирижировал и стремился к Божественному.

Григорианские песнопения лежат в основе западной музыки. Но они были практически убиты ее неблагодарными детьми. Похоронены. Утрачены и забыты.

До начала девятнадцатого века, когда настоятель Проспер, которого огорчала вульгарность церкви и потеря простоты и чистоты, решил, что пришло время возродить изначальное григорианское песнопение. Найти голос Господа.

Его монахи отправились на поиски по всей Европе. Они обыскивали монастыри, библиотеки, просматривали коллекции. С единственной целью: найти оригинальные древние манускрипты.

Монахи вернулись со множеством сокровищ, затерявшихся в библиотеках и коллекциях отдаленных уголков Европы. И вот настоятель Проспер решил, что одна книга хоралов, исписанная выцветшими от времени невмами, и есть оригинал. Первая и, вероятно, единственная в своем роде письменная запись того, как должны звучать григорианские песнопения. Запись, сделанная на ягнячьей коже почти тысячу лет назад.

И, как это нередко случается, когда слуги Господа не сходятся во мнении, разразилась война. Бенедиктинский монастырь в Солеме и Ватикан обменивались залпами хоралов. Каждый настаивал, что именно их исполнение ближе к оригиналу, а следовательно, ближе к Божественному. Ученые, музыковеды, знаменитые композиторы и скромные монахи высказывали свое мнение. Принимали ту или иную сторону в войне, которая набирала обороты и вскоре превратилась в войну за власть и влияние, а не за простые голоса, поющие осанну Господу.

Кто нашел оригинальные григорианские песнопения? Как следует исполнять Литургию часов? Кто владеет голосом Господа?

Кто прав?

Наконец тридцать лет спустя между учеными возникло тихое согласие. А потом эту проблему еще тише похоронили.

Правых в этом споре не было. И хотя монахи из Солема почти наверняка подошли к истине гораздо ближе, чем Рим, оказалось, что и они не вполне правы. Их находка имела огромную историческую ценность, но… оставалась неполной.

Не хватало какой-то части.

У песнопений имелись слова и невмы, указания, когда монахи должны петь громче, а когда – тише. Когда нота выше, а когда – ниже.

Но чего у них не было, так это точки отсчета. Выше относительно чего? Громче по сравнению с чем? Как если бы нашли подробную карту острова сокровищ, только без указания координат острова.

Всего лишь…

Бенедиктинский монастырь в Солеме быстро заявил о себе как о новом доме старых песнопений. Ватикан в конце концов сдался, и через несколько десятилетий Литургия часов вернула прежнее значение. Воскрешенные григорианские хоралы снова зазвучали в монастырях по всему миру. Простая музыка давала истинное утешение. Хоралы звучали в мире, который становился все более шумным.

И настоятель монастыря в Солеме отошел в мир иной, будучи уверен в том, что он добился чего-то важного, полезного и исполненного смысла. Что он возродил прекрасную и простую традицию. Восстановил искаженные песнопения, вернул их к чистому состоянию и одержал победу над самоуверенным Римом.

Но в глубине души он знал и другое: да, он победил, но цели не достиг. Да, то, что все теперь называли григорианскими хоралами, почти соответствовало оригиналу. Почти обрело божественность. Но не вполне.

Потому что песнопения не имели точки отсчета.

Отец Проспер, и сам одаренный музыкант, не мог поверить, что монах, сумевший записать первые хоралы, не сообщил будущим поколениям о точке отсчета. Им пришлось строить догадки. И вроде бы у них получилось. Но все-таки лучше, когда знаешь наверняка.

Настоятель страстно утверждал, что найденная его монахами рукопись является оригиналом. Но сейчас, на смертном одре, он позволил себе усомниться. Он представил, как тот, другой монах, точно в такой же мантии, склоняется над рукописью при свете свечи.

Монах завершает первое песнопение, создает первые невмы. А что потом? Пребывая на грани сознания, балансируя между этим миром и тем, что ждет нас после смерти, отец Проспер понял, что должен был сделать

тот монах. Тот неизвестный монах должен был сделать то, что он и сделал.

Отец Проспер яснее своих братьев, тихо напевавших молитвы у его одра, видел того давно умершего монаха, склонившегося над столом. Монах вернулся к самому началу. К первому слову. И поставил еще один знак.

В самом конце жизни настоятель Проспер понял, что точка отсчета есть. Но найдет ее уже не он, а кто-то другой. Найдет и разгадает эту прекрасную тайну.

Глава первая

Когда в Благодатной церкви смолкла последняя нота, в помещении воцарилась тишина, а с ней возникло еще большее беспокойство.

Тишина длилась. И длилась.

Монахи давно привыкли к тишине, но такая тишина даже им казалась чрезмерной.

И все же они неподвижно стояли в своих длинных черных мантиях с белым верхом.

Ждали.

Они давно привыкли и к ожиданию. Но такое ожидание тоже казалось чрезмерным.

Наименее дисциплинированные из них косили глазом на высокого, стройного пожилого человека, который вошел последним, а выйти должен первым.

Настоятель Филипп стоял с закрытыми глазами. Если раньше тот момент, когда ночная служба уже закончена и пора подавать знак для колоколов к «Ангелусу», был моментом полного душевного покоя, абсолютного единения с Богом, то теперь это был просто уход от реальности.

Настоятель закрыл глаза, потому что не хотел видеть.

К тому же он знал, что увидит. То, что и всегда находилось там. За сотни лет до его появления на свет и, если это будет угодно Господу, останется еще на сотни лет, после того как его прах унесут на кладбище. Два ряда монахов по одну сторону от него, облаченных в черные мантии с белым капюшоном, подвязанные простой веревкой.

А по другую сторону от него, справа, еще два ряда монахов.

Они стояли друг против друга на каменном полу церкви, словно древние рыцари, изготовившиеся к бою.

«Нет, – сказал он своему усталому мозгу. – Нет. Я не должен думать об этом как о сражении или войне. В здоровом обществе люди имеют право на противоположные точки зрения».

Тогда почему же ему так не хотелось открывать глаза, начинать новый день?

Давать знак ударить в колокола, чтобы звон «Ангелуса» разнесся над лесами, и птицами, и озерами, и рыбами. И монахами. Донесся до ангелов и всех святых. И до Господа.

Кашель.

В этой великой тишине он прозвучал как взрыв бомбы. А уши настоятеля восприняли его как то, чем он и был.

Как вызов.

Усилием воли настоятель продолжал держать глаза закрытыми. Сохранял спокойствие. Но благодать ушла. Осталась только паника – снаружи и внутри. Он ощущал, как она исходит от безмолвно ждущих монахов, передается от одного к другому.

Он чувствовал, как она рождается внутри его.

Отец Филипп медленно досчитал до ста. Потом открыл голубые глаза и посмотрел прямо на низенького, коренастого человека, который стоял с открытыми глазами, сложив на животе руки, с еле заметной улыбкой на бесконечно терпеливом лице.

Настоятель чуть прищурился, привыкая к свету, затем поднял худую руку – подал знак. И раздался звон колоколов.

Идеальный, глубокий, сочный звон несся с колокольни и проникал в предрассветную темноту. Он скользил над прозрачным озером, лесами, округлыми холмами. Его слышали все живые существа.

И двадцать четыре человека в отдаленном монастыре в Квебеке.

Трубный глас. Их день начался.

– Ты шутишь, – рассмеялся Жан Ги Бовуар.

– Ничего я не шучу, – ответила Анни. – Клянусь, это правда.

– Ты хочешь мне сказать… – он подцепил вилкой еще один кусочек бекона, приправленного кленовым соком, – что твой отец, начав встречаться с твоей матерью, подарил ей коврик для ванной?

– Нет-нет. Это было бы смешно.

– Конечно, – согласился Бовуар и быстро доел бекон.

Откуда-то издалека доносилась музыка из старого альбома «Бо Доммаж». «La complainte du phoque en Alaska»[4]. Об одиноком тюлене, который потерял свою любимую. Бовуар напевал себе под нос знакомую мелодию.

– Он подарил этот коврик моей бабушке в тот день, когда они познакомились, – подарок хозяйке за то, что пригласила его на обед, – закончила Анни.

Бовуар рассмеялся.

– Он мне этого никогда не говорил, – еле выговорил он, давясь от смеха.

– Ну, отец не очень любит вспоминать об этом в светских разговорах.

Бедная мама. Почувствовала, что должна выйти за него. Иначе кто бы его взял?

Бовуар снова рассмеялся:

– Насколько я понимаю, планка была установлена очень низко. Я с трудом подыскал тебе подарок еще хуже.

Он опустил руку под стол. В это субботнее утро на залитой солнцем кухне они вместе приготовили завтрак. На маленьком сосновом столе красовалось блюдо с яичницей-болтуньей, беконом и плавленым сыром бри. Начиналась осень, и перед завтраком Бовуар натянул свитер и отправился за круассанами и булочками с шоколадной начинкой в пекарню на рю Сен-Дени, за угол от дома Анни. Потом зашел еще в два-три магазина, заглянул в пару кофеен, купил свежие монреальские газеты и кое-что другое.

– Что там у тебя? – спросила Анни Гамаш, перегибаясь через стол.

На пол спрыгнул кот и нашел место, освещенное солнечным лучиком.

– Ничего, – ухмыльнулся Бовуар. – Какая-то штуковина, назначения которой я не понимаю, а если я чего-то не понимаю, то думаю о тебе.

Бовуар показал ей то, что принес.

– Ах ты, придурок! – рассмеялась Анни. – Это же вантуз!

– С бантиком, – уточнил Бовуар. – Это тебе, ma chère[5]. Мы уже три месяца вместе. Со счастливым юбилеем.

– Ну конечно, вантузный юбилей. А у меня для тебя ничего нет.

– Я тебя прощаю, – смилостивился он.

Анни взяла вантуз:

– Каждый раз, пользуясь этим инструментом, я буду думать о тебе. Хотя мне кажется, что ты будешь пользоваться им гораздо чаще. Ведь в тебе этого полным-полно.

– Как мило, – хмыкнул Бовуар, чуть наклонив голову.

Анни сделала выпад и осторожно коснулась Бовуара чашей вантуза, как фехтовальщик – острием рапиры.

Бовуар улыбнулся и отхлебнул крепкого ароматного кофе. Это так похоже на Анни. Другие женщины сделали бы вид, что этот идиотский вантуз – волшебная палочка, но Анни притворилась, будто у нее в руках оружие.

Жан Ги, конечно, понимал, что никакой другой женщине, кроме Анни, он не подарил бы вантуз.

– Ты мне соврал, – сказала она, снова садясь. – Папа наверняка рассказывал тебе про коврик.

– Рассказывал, – признался Бовуар. – Мы были в Гаспе, в домике

браконьера, искали улики, и тут твой отец открыл кладовку и нашел не один, а целых два новеньких коврика для ванной, все еще в упаковке.

Он рассказывал, глядя на Анни. Она не сводила с него глаз, даже почти не мигала. Впитывала каждое его слово, каждый жест, каждую интонацию. Его бывшая жена Энид тоже слушала его. Но с какой-то настойчивой требовательностью. Словно он был ей чем-то обязан. Словно она умирала, а его принимала как лекарство.

Энид рассталась с Жаном Ги, опустошив его и при этом чувствуя, что ей этого недостаточно.

А вот Анни была мягче. Щедрее.

Она, как и ее отец, умела слушать внимательно и спокойно.

Бовуар никогда не говорил Энид о своей работе. Анни знала о его работе все.

И сейчас, намазывая клубничный конфитюр на теплый круассан, он рассказывал ей о домике браконьера, о том деле, о зверском убийстве целой семьи. О том, что они нашли, что чувствовали, кого арестовали.

– Коврики для ванной оказались ключевой уликой, – проговорил Бовуар, поднося круассан ко рту. – Хотя мы поняли это далеко не сразу.

– Тогда отец и рассказал тебе о собственной печальной истории с ковриком?

Бовуар кивнул, продолжая жевать. Он вспомнил, как старший инспектор в том мрачном домике шепотом рассказывал ему свою историю. Они не знали, когда ждать возвращения браконьера, и опасались, что он застанет их врасплох. Они получили ордер на обыск, но не хотели, чтобы браконьер знал об этом. И вот, пока два следователя из убойного отдела проводили обыск на скорую руку, старший инспектор рассказывал Бовуару историю про коврик. О том, как он пришел на один из самых главных обедов в своей жизни, обуреваемый желанием произвести хорошее впечатление на родителей женщины, в которую безнадежно влюбился. И почему-то он решил, что коврик для ванной будет идеальным подарком для хозяйки.

«Как вам такое пришло в голову, сэр?» – прошептал Бовуар, поглядывая в треснутое, затянутое паутиной окно, чтобы не пропустить подлого браконьера, возвращающегося со своей добычей.

«Понимаешь… – Гамаш замолчал, видимо пытаясь вспомнить, как ему пришла в голову такая мысль. – Мадам Гамаш часто задает мне тот же вопрос. И ее мать не уставала его повторять. А вот ее отец решил, что я недоумок, и никогда не поднимал эту тему. Но хуже всего то, что, когда они умерли, мы нашли этот коврик у них в кладовке – он оставался в упаковке

и с ценником».

Бовуар закончил рассказывать и посмотрел на Анни. Недавно они вдвоем принимали душ, и ее волосы все еще оставались влажными. От нее исходил запах чистоты и свежести, как от лимонного деревца, растущего под теплым солнцем. Никакой косметики. Теплые тапочки и свободная, удобная одежда. Анни знала толк в моде и умела хорошо одеваться, но удобство ценила больше.

Она не была такой уж стройной. И не обладала ошеломляющей красотой. В ней не было тех качеств, которые Бовуар всегда находил привлекательными в женщине. Но Анни знала кое-что, о чем не догадывается большинство людей. Она знала, как прекрасно быть живой.

Жану Ги Бовуару потребовалось почти сорок лет, но в конечном счете он тоже понял это. И теперь знал, что нет в мире ничего прекраснее.

Анни вскоре должно было исполниться тридцать лет. Когда они познакомились, она была неуклюжим подростком. Старший инспектор только что принял Бовуара в отдел по расследованию убийств Квебекской полиции. Из сотен агентов и инспекторов, находившихся под его началом, Гамаш выбрал именно Бовуара, молодого, дерзкого агента, которого не хотели брать к себе ни в одном другом отделе, и вырастил из него своего заместителя.

Сделал его частью команды, а с годами и частью семьи.

Хотя сейчас старший инспектор даже не подозревал, в какой мере Бовуар стал частью его семьи.

– Что ж, – произнесла Анни с кривой улыбкой, – теперь у нас есть собственная туалетная история, чтобы морочить голову нашим детям. Когда мы умрем, они найдут эту штуку, – она подняла вантуз с веселенькой красной чашей, – и станут гадать, к чему бы это.

Бовуар боялся открыть рот. Понимает ли Анни, что она сейчас сказала? С какой легкостью она предположила, что у них будут дети. Внуки. Что они умрут вместе. В доме, где пахнет свежим лимоном и кофе. Где кот нашел солнечное пятнышко и нежится на нем.

Они жили вместе вот уже три месяца, однако ни разу не говорили о будущем. Но когда он услышал об этом сейчас, ее слова показались ему такими естественными. Словно они всегда строили подобные планы на жизнь. Растить детей. Стареть вместе.

Бовуар произвел несложные подсчеты в уме. Он на десять лет старше Анни и почти наверняка умрет раньше. При этой мысли он почувствовал облегчение.

Но одно не давало ему покоя.

– Мы должны сообщить твоим родителям, – сказал он.

Анни помолчала, отщипнула кусочек круассана.

– Я знаю. Не то чтобы я этого не хотела. Но… – Она обвела взглядом кухню, посмотрела в сторону заставленной книжными шкафами гостиной. – Но нам так хорошо вдвоем.

– Ты побаиваешься?

– Того, как они это воспримут?

Анни задумалась, и у Жана Ги неожиданно громко застучало сердце. Он предполагал, что она тут же скажет «нет». Заверит его, что родители будут рады их решению.

Но она все еще медлила.

– Наверное, чуть-чуть побаиваюсь, – наконец ответила Анни. – Нет, они наверняка будут в восторге, но это многое меняет. Ты понимаешь?

Он понимал, но не осмеливался признаться в этом даже самому себе. Что, если шеф не одобрит их решения? Помешать им он не сумеет, но это обернется катастрофой.

«Да нет, – в сотый раз сказал себе Жан Ги, – все будет хорошо. Шеф и мадам Гамаш будут рады. Очень рады».

Но ему хотелось уверенности. Знания. Этого требовал его характер. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что собирал факты, и эта неопределенность угнетала его. Единственная тень в жизни, неожиданно ставшей такой светлой.

Бовуар не мог и дальше продолжать обманывать шефа. Он убедил себя, что он не лжец, просто его частная жизнь никого не касается. Но в глубине души чувствовал себя предателем.

– Ты правда считаешь, что они будут рады? – спросил он Анни, досадуя на себя за легкую дрожь в голосе.

Но Анни либо ничего не заметила, либо не придала этому значения. Она наклонилась к Бовуару, облокотившись на сосновую столешницу, усыпанную крошками от круассана, и взяла его руку в свои теплые ладони.

– Когда узнают, что мы вместе? Отец будет очень счастлив. Это мать тебя ненавидит…

Увидев, что он нахмурился, она рассмеялась и сжала его руку:

– Да шучу я! Она тебя обожает. С первого дня. Ты же знаешь, они считают тебя членом семьи. Вторым сыном.

Бовуар смутился, почувствовав, как покраснели его щеки от этих слов, но Анни опять сделала вид, что ничего не заметила.

– Тогда в наших отношениях можно усмотреть элементы инцеста, –

выдавил он.

– Да, – согласилась Анни, отпуская его руку, чтобы глотнуть кофе с молоком. – Мечта моих родителей сбывается. – Она рассмеялась, отпила кофе и поставила чашку. – Ты знаешь, отец будет в восторге.

– Но и удивится тоже?

Анни помедлила с ответом:

– Наверное, он будет ошарашен. Забавно, правда? Отец всю жизнь ищет улики, строит гипотезы. Собирает вещественные доказательства. Но не видит того, что происходит у него под носом. Наверное, потому, что это слишком близко.

– От Матфея, десять, тридцать шесть, – пробормотал Бовуар.

– Что?

– Твой отец не устает повторять нам в отделе эту цитату. Один из первых его уроков для новичков.

– Цитату из Библии? – переспросила Анни. – Но родители никогда не ходят в церковь.

– Вероятно, он узнал про нее у своего наставника, когда поступил в полицию.

Раздался звонок телефона – не настойчивый трезвон стационарного, а веселый, всепроникающий звук мобильника. Это был телефон Бовуара. Жан Ги побежал в спальню, схватил мобильник с тумбочки.

На экране высветился не номер, а только слово.

«Шеф».

Он чуть было не нажал сразу на зеленый значок трубки, но вовремя остановился. Вышел из спальни в наполненную светом гостиную Анни. Не мог он разговаривать с шефом, стоя перед кроватью, на которой утром занимался любовью с его дочерью.

– Oui, allô?[6] – спросил он, стараясь говорить непринужденным тоном.

– Извини, что побеспокоил тебя, – раздался знакомый голос, звучавший одновременно расслабленно и властно.

– Ничего страшного, сэр. Что-то случилось?

Бовуар кинул взгляд на часы на каминной полке. 10:23 субботнего утра.

– Убийство.

Значит, звонок был срочный. Не приглашение на обед. Не какой-то кадровый вопрос и не подготовка дела для суда, а призыв к оружию. Звонок извещал о том, что случилось нечто ужасное. И хотя Бовуар вот уже больше десятилетия слышал это слово, каждый раз его сердце содрогалось. Пускалось вскачь. И даже немного пританцовывало. Не от радости

при получении известия об ужасной и преждевременной смерти. А оттого, что они с шефом и другими сотрудниками снова выходят на след.

Жан Ги Бовуар любил свою работу. Но сегодня, в первый раз в жизни, он кинул взгляд в сторону кухни и увидел в дверном проеме Анни, которая смотрела на него. И с удивлением обнаружил, что любит не только работу.

Бовуар схватил свой ноутбук, уселся на диван Анни и наскоро записал детали. Закончил и посмотрел на то, что получилось.

– Святое дерьмо, – прошептал он.

– Как минимум, – согласился старший инспектор Гамаш. – Подготовь все, ладно? И пока только мы с тобой. Когда приедем, возьмем с собой местного агента.

– А инспектор Лакост разве не нужна? Пусть бы организовала работу криминалистов на месте преступления и уехала.

Старший инспектор Гамаш ответил без промедления:

– Нет. – Он издал короткий смешок. – Боюсь, что криминалистами в данном случае будем мы с тобой. Надеюсь, ты помнишь, как это делается.

– Я прихвачу с собой Гувера[7].

– Bon[8]. Я уже положил в карман увеличительное стекло. – После небольшой паузы голос в трубке зазвучал более деловито: – Нам нужно добраться туда как можно скорее, Жан Ги.

– D’accord[9]. Позвоню кое-кому и буду у вас через пятнадцать минут.

– Через пятнадцать? Это из центра-то города?

Бовуар почувствовал, как сердце на мгновение остановилось. Его маленькая квартирка находилась в центре Монреаля, а Анни жила в квартале Плато-Мон-Руаяль, в нескольких кварталах от дома родителей в Утремоне.

– Суббота. На дорогах пусто.

Гамаш рассмеялся:

– С каких это пор ты стал таким оптимистом? Буду ждать, когда бы ты ни приехал.

– Я быстро.

Бовуар тут же сделал несколько звонков и отдал организационные распоряжения. Потом побросал в сумку разную одежду.

– Многовато белья, – заметила Анни, усевшись на кровать. – Это надолго?

Тон был беспечным, но в ее позе ощущалось напряжение.

– Ты же меня знаешь, – ответил Бовуар, отвернувшись, чтобы засунуть пистолет в кобуру. Анни знала, что он берет оружие, но не хотела этого

видеть. Даже для женщины, умеющей принимать реальность, оружие было штукой слишком уж реальной. – Слава богу, у нас есть вантуз, иначе мне бы требовалось больше трусов.

Она улыбнулась, и это его порадовало.

У дверей Бовуар остановился и поставил сумку на пол.

– Je t'aime[10], – прошептал он на ухо Анни, прижимая ее к себе.

– Je t'aime, – прошептала она в ответ. – Береги себя, – сказала она, когда они разомкнули объятия. А потом, когда он уже начал спускаться по лестнице: – И пожалуйста, присматривай за моим отцом.

– Непременно. Обещаю.

Когда его машина исчезла из виду, Анни Гамаш закрыла дверь и прижала руку к груди.

Неужели точно такое же чувство все эти годы испытывала ее мать?

Что чувствовала ее мать в такие моменты? Так же приникала к двери, глядя, как исчезает из виду ее сердце? Отпустив его…

Анни подошла к книжным шкафам в гостиной. Минута – и она нашла то, что искала. Библию, подаренную ей родителями на ее крещение. В церковь они не ходили, но ритуалы соблюдали.

И Анни знала, что, когда у нее появятся дети, она их тоже будет крестить. Они с Жаном Ги подарят им Библии в белом переплете с их именами и датами крещения.

Она посмотрела на плотную первую страницу. Да, конечно, там стояло ее имя. Анна Дафна Гамаш. И дата. Написанная рукой ее матери. Но вместо крестика под ее именем родители нарисовали два маленьких сердечка.

Анни села на диван, глотнула остывшего кофе, принялась листать незнакомую книгу и наконец нашла то, что искала.

Матфей, 10: 36.

– «И враги человеку – домашние его», – вслух прочла она.

Глава вторая

Открытая алюминиевая лодка рассекала волны, то и дело подпрыгивая, и брызги холодной воды летели в лицо Бовуару. Он мог пересесть ближе к корме, но ему нравилось сидеть на крохотном треугольном сиденье на самом носу. Он наклонился вперед, подозревая, что выглядит как возбужденный ретривер на охоте.

Но это его не волновало. Он только радовался, что у него нет хвоста, который подмочил бы его репутацию молчуна. Да, хвост для следователя убойного отдела стал бы большим недостатком.

Рев мотора, подскоки, рывки – все это воодушевляло Бовуара. Ему нравились даже бодрящие брызги и аромат свежей воды и леса. И едва ощутимый запах рыбы и червей.

Пока не возникало необходимости перевозить следователей убойного отдела, эта маленькая лодка явно использовалась для ловли рыбы. Не на продажу – для таких дел она не вышла размером, и к тому же это отдаленное озеро не предназначалось для коммерческой ловли, – а для удовольствия. Лодочник забрасывал блесну в прозрачные воды скалистой бухты. Сидел весь день, время от времени закидывал блесну. И крутил катушку.

Закидывал. И крутил. Наедине со своими мыслями.

Бовуар взглянул на корму. Большой обветренной рукой лодочник держал румпель подвесного мотора. Другая его рука лежала на колене. Он тоже наклонил корпус вперед, как его научили еще в детстве. Его пронзительно-голубые глаза смотрели вперед. На бухты, островки и проливы, издавна знакомые ему.

«Какое, наверное, удовольствие, – подумал Бовуар, – всю жизнь заниматься одним и тем же. Прежде одна эта мысль вызывала у него отвращение. Рутина, повторы. Настоящая смерть. Или как минимум смертельная скука. Скука предсказуемой жизни.

Но в последнее время Бовуар начал сомневаться в своей правоте. Вот сейчас он несся в открытой лодке к новому делу. Брызги и ветер хлестали ему в лицо. А ему хотелось сидеть рядом с Анни и читать вместе с ней субботние газеты. Заниматься тем, чем они занимались каждый уик-энд. Снова и снова. Снова и снова. До самой смерти.

Но уж если он не может быть рядом с Анни, то вот его второе любимое занятие. Он окинул взглядом леса, скалы на берегу, пустынное

озеро.

Ему попадались рабочие места и похуже.

Бовуар слегка улыбнулся лодочнику на корме. Это озеро было и его рабочим местом. Он высадит их, найдет себе тихую бухточку и достанет спиннинг.

И будет закидывать. А потом крутить.

Если подумать, это не так уж отличалось от того, чем занимались они с Гамашем. Закидывали удочку в поисках улик и свидетелей. А потом выуживали их.

А когда приманка была достаточно большая, они вытаскивали и убийцу.

Впрочем, если только дело не приобретало совершенно непредсказуемого оборота, они обычно не съедали свою добычу.

Перед лодочником сидел капитан Шарбонно, глава отделения Квебекской полиции в Ла-Мориси. Ему было лет сорок пять – чуть больше, чем Бовуару. Атлетического сложения, энергичный, капитан казался человеком, способным подмечать все детали.

Чем он сейчас и занимался.

Капитан Шарбонно встретил их у трапа самолета и провез полкилометра до пристани, где уже ждала лодка.

– Познакомьтесь: Этьен Лего, – представил он лодочника.

Тот кивнул, явно не расположенный к более вежливому приветствию. От Лего пахло бензином, он курил, и Бовуар отступил от него на шаг.

– Боюсь, что минут двадцать нам придется провести в лодке, – сообщил им капитан Шарбонно. – Иным способом туда не добраться.

– А вы там бывали? – спросил Бовуар.

Капитан улыбнулся:

– Никогда. По крайней мере, внутри. Но иногда я ловлю рыбу неподалеку. Я, как и все, любопытен. И потом, тут прекрасная рыбная ловля. Огромные окуни и озерная форель. Я видел этих людей издалека – они тоже ловят рыбу. Но я к ним не приближался. Думаю, они не нуждаются в чужом обществе.

Они все сели в открытую лодку и вот уже преодолели половину пути. Капитан Шарбонно смотрел вперед. По крайней мере, такое возникало впечатление. Но Бовуар понимал, что мысли этого офицера Квебекской полиции далеки от созерцания густого леса, бухточек и заливов.

Он украдкой посматривал на нечто гораздо более интересное.

На человека, сидящего перед ним.

Бовуар перевел взгляд на четвертого человека в лодке.

На старшего инспектора. Босса Бовуара и отца Анни.

Арман Гамаш был человек корпулентный, но не толстый. Как и лодочник, старший инспектор Гамаш смотрел вперед, кожа у его глаз и рта собралась в морщинки. Но в отличие от лодочника на его лице не было мрачного выражения. Темно-карие задумчивые глаза примечали все: холмы, искалеченные ледниками; леса, обретающие яркие осенние цвета; скалистые берега, на которых не встречалось ни пристаней, ни домов, ни каких-либо причалов.

Дикие места. Над ними кружили птицы, которые, возможно, никогда не видели человека.

Если Бовуар был охотником, то Арман Гамаш – первопроходцем. Когда другие останавливались, Гамаш шел вперед, заглядывал в трещины, щели и пещеры, где обитали темные существа.

Шефу перевалило за пятьдесят пять. Волосы у него на висках и за ушами чуть кудрявились и поседели. Шляпа почти скрывала шрам на левом виске. Поверх пиджака и рубашки с темно-зеленым галстуком Гамаш надел непромокаемую куртку защитного цвета. Одной большой рукой он держался за борт, и она повлажнела от холодных брызг, поднимаемых несущейся по озеру лодкой. Другая его рука покоилась на ярко-оранжевом спасательном жилете, лежащем на алюминиевом сиденье рядом с ним. Когда они стояли на пристани и смотрели на эту открытую лодку с ее удочкой, сачком и банкой, где извивались черви, с ее навесным мотором, похожим на унитаз, Гамаш передал Бовуару новехонький спасательный жилет. А когда Жан Ги попытался протестовать, шеф почти приказал ему подчиниться. Нет, он не требовал, чтобы Жан Ги надел жилет – просто чтобы взял.

На всякий случай.

И теперь жилет лежал на коленях инспектора Бовуара, и, когда лодку подбрасывало на волнах, Бовуар радовался тому, что у него есть жилет.

Он подъехал к дому шефа еще до одиннадцати. Гамаш вышел из дверей и остановился, чтобы обнять и поцеловать жену. Они замерли на несколько секунд, не разжимая объятий. Потом шеф повернулся и спустился по ступеням. На плече у него висела сумка.

Когда он сел в машину, Жан Ги ощутил слабый запах одеколона и розовой воды, и его охватило теплое чувство при мысли о том, что вскоре этот человек станет его тестем. Что его, Бовуара, дети будут сидеть на коленях у Гамаша и вдыхать этот домашний запах.

Вскоре Жан Ги станет не только почетным членом этой семьи.

Но эти мысли сопровождал шепоток: а вдруг они не обрадуются

этому? Что будет тогда?

Впрочем, такое было невозможно, и он прогнал эту недостойную мысль.

И еще он понял, впервые за десять лет их совместной работы, почему от шефа пахнет сандаловым деревом и розовой водой. Гамаш покупал одеколон с сандаловым запахом, а запах розовой воды он впитывал от мадам Гамаш, когда обнимал ее. Шеф носил ее аромат, как ауру. В смеси со своим собственным.

Бовуар сделал глубокий медленный вдох. И улыбнулся. Он ощутил слабый запах лимона. Анни. На миг его пронзил страх: вдруг отец узнает запах дочери? Наверное, и Анни теперь носит на себе запах лосьона «Олд спайс».

Они приехали в аэропорт еще до полудня и отправились прямо в ангар Квебекской полиции. Там они нашли пилота – она занималась прокладкой маршрута. Эта летчица не раз доставляла их в отдаленные точки, садилась на грунтовых дорогах, на зимниках, на бездорожье.

– Как я погляжу, сегодня у нас даже посадочная полоса имеется, – заметила она, садясь за штурвал.

– Ну извини, – сказал Гамаш. – Ныряй в озеро, если тебя это больше устраивает.

Летчица рассмеялась:

– Мне не впервой.

Какое-то время Гамаш и Бовуар говорили о предстоящем деле, перекрикивая шум двигателя маленькой «сессны». Но потом старший инспектор стал смотреть в иллюминатор и погрузился в молчание. Впрочем, Бовуар заметил, что шеф вставил в уши крошечные наушники и слушает музыку. И Бовуар догадывался, что это за музыка. По лицу старшего инспектора Гамаша гуляла улыбка.

Бовуар отвернулся и тоже стал глядеть в иллюминатор. Стоял кристально ясный день середины сентября, и внизу виднелись городки и деревни. Чем дальше от Монреаля, тем меньше становились деревни и тем реже они встречались. «Сессна» легла на левое крыло, и Бовуар понял, что пилот ведет самолет вдоль петляющей реки. На север.

Они летели все дальше и дальше на север, размышляя каждый о своем. Поглядывали в иллюминаторы: внизу, на земле, исчезли все признаки цивилизации, остался один лес. И вода. В ярких лучах солнца она не была голубой – играла полосами и пятнами золота и ослепительной белизны. Они следовали по одной из таких золотых полос все глубже в лес. Вглубь Квебека. К мертвому телу.

Потом темный лес стал меняться. Поначалу это были лишь вкрапления более светлых деревьев. Затем их число стало увеличиваться. И наконец весь лес окрасился в желтый, красный и оранжевый цвета с зелеными и темно-зелеными пятнами хвойных деревьев.

Сюда осень приходила раньше. Чем дальше на север, тем раньше осень. Тем она длиннее, тем суровее.

Наконец самолет начал спускаться. Все ниже, и ниже, и ниже. Возникло ощущение, что они вот-вот нырнут в воду. Но самолет выровнялся, коснулся поверхности и покатился по грунтовой полосе.

И вот теперь старший инспектор Гамаш, инспектор Бовуар, капитан Шарбонно и лодочник неслись по озеру. Лодка принялась забирать вправо, и Бовуар заметил, как изменилось лицо шефа. Задумчивость сменилась удивлением.

Гамаш подался вперед, глаза его засветились. Бовуар повернулся на своем сиденье и тоже посмотрел вперед.

Они свернули в большую бухту. На ее берегу и находился конечный пункт назначения.

Даже Бовуар почувствовал какой-то душевный подъем, предвкушение. Миллионы людей искали это место. Обшаривали весь мир в поисках затворников, которые поселились здесь. А когда их наконец нашли в отдаленном уголке Квебека, сюда хлынули тысячи жаждущих увидеть тех, кто жил там, внутри. Видимо, они нанимали этого же лодочника.

Если Бовуар был охотником, а Гамаш – первопроходцем, то мужчины и женщины, приезжавшие сюда, – паломниками. Они отчаянно хотели получить то, что, как они надеялись, имелось у здешних обитателей.

Но все их надежды оказывались напрасными.

Они получали от ворот поворот.

Бовуар вспомнил, что уже видел этот пейзаж прежде – на фотографиях. То, что открылось их взглядам, превратилось в популярный плакат и не без иронии использовалось в рекламных целях министерством туризма Квебека.

Туристов завлекали изображением места, где никаких туристов не принимали.

Бовуар тоже наклонился вперед. На берегу бухты стояла крепость, как будто вырезанная в скале. Над нею возвышалась колокольня, словно выброшенная из земли в результате какой-то сейсмической катастрофы. По обеим сторонам от нее располагались крылья. Или руки. Распахнутые для благословения или приглашения. Пристанище. Безопасное объятие в глуши.

Обман.

Они увидели перед собой почти легендарный монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу[11]. Обиталище двух дюжин монахов-затворников, ведущих здесь созерцательную жизнь. Они построили монастырь в тех местах, куда не ступала нога человека.

Цивилизации потребовалось несколько сот лет, чтобы отыскать их, но последнее слово оставалось за безмолвными монахами.

Двадцать четыре человека удалились за дверь. И закрыли ее. И не впускали внутрь ни одну живую душу.

До этого дня.

Сегодня они должны были впустить внутрь старшего инспектора Гамаша, Жана Ги Бовуара и капитана Шарбонно. Их пропуском стал мертвец.

Глава третья

– Хотите, чтобы я вас дождался? – спросил лодочник.

Он потер свое щетинистое лицо и посмотрел недоуменным взглядом. Они не сообщили ему, что привело их сюда. Он принял их то ли за журналистов, то ли за туристов. За очередную группу обманутых паломников.

– Oui, merci[12], – сказал Гамаш, давая лодочнику плату со щедрыми чаевыми.

Лодочник сунул деньги в карман и стал наблюдать, как они выгружают вещи, как выбираются на пристань.

– Сколько вы можете подождать? – спросил Гамаш.

– Минуты три, – рассмеялся лодочник. – Это минуты на две больше, чем вам потребуется.

– А если, скажем… – Гамаш взглянул на часы. Они показывали час дня. – Скажем, до пяти?

– Вы хотите, чтобы я ждал вас до пяти часов? Слушайте, я знаю, вы прилетели издалека, но вы должны понимать: чтобы дойти до этой двери, постучать, а потом вернуться, не нужно четырех часов.

– Нас они впустят, – сказал Бовуар.

– Вы монахи?

– Нет.

– Вы, случайно, не римский папа?

– Нет, – улыбнулся Бовуар.

– Тогда я даю вам три минуты. Используйте их вовсю.

Сойдя с пристани, они двинулись по тропинке. Бовуар бранился себе под нос. Когда они остановились у большой деревянной двери, шеф повернулся к нему:

– Выкинь это из головы, Жан Ги. Чтобы за этими дверями – никакой брани.

– Oui, patron.

Гамаш кивнул, Жан Ги поднял руку и постучал в дверь. Звука почти не было слышно, но руку пронзила боль.

– Maudit tabernac[13], – прошипел Бовуар.

– Кажется, это звонок, – сказал капитан Шарбонно, показывая на длинную железную колотушку, стоящую в вырубленной в камне нише.

Бовуар взял колотушку и сильно ударил по двери. Звук получился

громкий. Он ударил снова и увидел вмятины в тех местах, где ударяли другие посетители. Еще один удар. И еще.

Жан Ги обернулся. Лодочник поднял руку и постучал пальцем по своим часам. Бовуар снова повернулся к двери – и вздрогнул.

Дверь обрела глаза. И смотрела на них. Потом он понял, что в двери открылась смотровая щель, через которую видны два воспаленных глаза.

Если Бовуар удивился, увидев глаза, то глаза, похоже, удивились, увидев его.

– Oui? – раздался из-за двери приглушенный деревом голос.

– Bonjour, mon frère[14], – сказал Гамаш. – Меня зовут Арман Гамаш, я старший инспектор отдела по расследованию убийств Квебекской полиции. Здесь инспектор Бовуар и капитан Шарбонно. Насколько я понимаю, нас ждут.

Деревянное окно захлопнулось, они услышали недвусмысленный щелчок запора. Последовала пауза, и Бовуар начал сомневаться, что их впустят. А если не впустят, то что они будут делать? Вышибать дверь тараном? Лодочник помогать им явно не собирался. До Бовуара донесся с лодки тихий смешок, сопровождаемый шлепками волн о днище.

Он перевел взгляд на лес, густой и темный. Монахи старались сдержать его наступление. Бовуар видел следы их деятельности. Вокруг стен повсюду торчали пеньки, словно тут произошло сражение, а сейчас наступило тревожное перемирие. Пеньки рядом со стенами монастыря напоминали надгробия.

Бовуар глубоко вздохнул и приказал себе успокоиться. Он всегда гнал от себя всякие фантазии. Он имел дело с фактами. Собирал их. А чувства собирал старший инспектор. В каждом деле об убийстве Гамаш следовал за этими чувствами, старыми, разлагающимися, гниющими. И в конце грязного следа находил убийцу.

Если его шеф шел за чувствами, то Бовуар шел за фактами. Жесткими и нелицеприятными. Но вместе они добирались до сути.

Они были хорошей командой. Великолепной командой.

«А что, если он будет недоволен? – Этот вопрос выскочил на него прямо из леса. – Что, если он не захочет, чтобы Анни жила со мной?»

Но такой вопрос тоже относился к области фантазий. А не фактов. Не фактов. Не фактов.

Бовуар снова взглянул на отметины от ударов. Отметины, оставленные кем-то, кому было отчаянно нужно попасть внутрь.

Рядом с Бовуаром хладнокровно стоял Гамаш. Совершенно спокойный. И смотрел на эту дверь как на самую очаровательную вещь

в мире.

А капитан Шарбонно? Краем глаза Бовуар видел начальника местного отдела полиции: он тоже стоял, глядя на дверь со смущенным видом. Он очень хотел войти – или покинуть это место. Проникнуть за дверь – или сесть в лодку. В общем, сделать что угодно, только не ждать здесь на пороге, подобно некоему очень вежливому завоевателю.

Затем послышался шум, и Шарбонно удивленно дернулся.

Раздался протяжный скрежет чугунной щеколды по дереву. И снова тишина.

Гамаш не шелохнулся, не удивился, а если и удивился, то не подал виду. Он продолжал смотреть на дверь, сцепив руки за спиной. Словно мог ждать до конца света.

Дверь приоткрылась. Шире. Еще шире.

Бовуар предполагал услышать скрип старых, ржавых, редко используемых петель. Но никакого скрипа не раздалось. Это еще больше выбивало из колеи.

Дверь открылась полностью, и перед ними предстала фигура в длинной черной мантии. Но она не вся была черной. На плечах имелось что-то наподобие белых эполетов, а на груди – маленький белый нагрудник. Как будто монах подоткнул за воротник салфетку и забыл ее вытащить.

Подпоясана мантия была веревкой, на которой висело кольцо с одним-единственным гигантским ключом.

Монах кивнул и отошел в сторону.

– Merci, – сказал Гамаш.

Бовуар повернулся к лодочнику и с трудом подавил желание показать ему средний палец.

Даже если бы его пассажиры воспарили в воздух, лодочник удивился бы меньше.

Старший инспектор Гамаш крикнул с порога:

– Значит, в пять часов?

Лодочник кивнул и выдавил:

– Oui, patron.

Гамаш повернулся к открытой двери и помедлил. Всего секунду. Никто этого даже не заметил – кроме того, кто его хорошо знал. Бовуар посмотрел на Гамаша и все понял.

Его шеф просто хотел насладиться этим мгновением. Еще шаг – и он станет первым атеистом, ступившим в пределы монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Гамаш сделал этот шаг, и остальные последовали за ним.

Дверь закрылась с тихим, глухим стуком. Монах взял громадный ключ, всунул его в большой замок и повернул.

И они оказались заперты внутри.

Арман Гамаш предполагал, что ему понадобится несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. Но он и подумать не мог, что ему придется привыкать к свету.

Никакого сумрака здесь не было, – напротив, все сияло.

Они увидели перед собой широкий длинный коридор серого камня, заканчивавшийся закрытой дверью. Но старшего инспектора поразил именно свет (как, вероятно, поражал каждого человека, каждого монаха, входившего в эту дверь на протяжении нескольких веков).

Коридор был наполнен радугами. Невероятными разноцветными пучками света. Они отражались от каменных стен. Проливались на плиточный пол. Перемещались, сливались, разделялись будто живые.

Старший инспектор почувствовал, как у него отвисла челюсть, но его это не смутило. За свою жизнь он повидал немало удивительных вещей, но ничего равному тому, что предстало его взору теперь. Он словно входил в радость.

Гамаш повернулся и перехватил взгляд монаха. На одно мгновение.

В этом взгляде он не увидел радости. Только боль. Темнота, которую Гамаш предполагал найти в монастыре, обнаружилась не в стенах, а в людях. По крайней мере, в одном из них.

Не сказав ни слова, монах повернулся и пошел по коридору. Он двигался быстро, но почти бесшумно. Слышалось лишь легкое шуршание – это полы его мантии волочились по плиткам. Волочились по радугам.

Полицейские вскинули сумки на плечо и шагнули в теплый свет.

Следуя за монахом, Гамаш озирался по сторонам. Свет проникал в коридор через окна наверху, а не на высоте человеческого роста. Первые окна находились футах в десяти от пола, а над первым рядом располагался еще один. За стеклами Гамаш видел голубые-голубые небеса, несколько облачков и вершины деревьев, наклонявшихся, чтобы заглянуть внутрь. Как он выглядывал через окна наружу.

Стекло было старое. Освинцованное. Небезупречное. И именно его несовершенство создавало игру света.

На стенах не висело никаких украшений. Да и зачем они здесь?

Монах открыл дверь, и они вошли в более просторное и прохладное помещение. Здесь радужные стрелы были направлены в одну точку.

На алтарь.

Это была церковь.

Монах устремился к алтарю и умудрился преклонить колени, даже не остановившись. Он ускорил шаг, как будто монастырь слегка наклонился и все они покатились к месту назначения.

К мертвому телу.

Гамаш осмотрелся, быстро впитывая впечатления. Этого святилища и этих звуков никогда не видел и не слышал ни один человек, в чьи намерения не входило оставаться здесь навсегда.

В церкви стоял запах благовоний, но не тот терпкий, застоялый, что свойствен многим квебекским церквям и словно призван скрыть запах тлена, а более естественный. Похожий на аромат цветов или свежих трав.

Гамаш оценил все это за несколько мгновений.

Здесь не было мрачных, назидательных витражей. Окна наверху располагались чуть наклонно, отчего свет в первую очередь падал на простой, строгий алтарь, украшенный лишь веселым светом, пляшущим на его вершине. От алтаря отраженный свет попадал на стены и в самые дальние уголки церкви.

И в этом свете Гамаш увидел кое-что еще. Они были не одни.

По обеим сторонам от алтаря сидели монахи. Сидели в два ряда лицом друг к другу, склонив голову и сложив на коленях руки. Все в абсолютно одинаковой позе. Словно чуть наклоненные вперед статуи.

Они хранили совершенное, полное молчание, молились в световой призме.

Гамаш со своими спутниками вышел из церкви и оказался в другом длинном коридоре. Еще с одной длинной радугой, тянущейся за монахом, как кильватерный след.

Старший инспектор спросил себя, замечает ли их проводник, этот торопливый монах, что он на ходу расплескивает радугу. Неужели для здешних обитателей это стало рутиной? Неужели замечательное в этом удивительном месте превратилось в обыденное? Человек, шедший перед ними, явно не думал сейчас о красоте. И старший инспектор знал, что это сделала с ним смерть.

Смерть стала затмением, заслонившим все прекрасное, радостное, доброе или притягательное. Столь велико было бедствие, постигшее монастырь.

Их проводник-монах был молод. Гораздо моложе, чем предполагал Гамаш. Он мысленно отчитал себя за то, что сделал такое предположение. Ведь именно такой урок он первым делом преподавал новичкам,

приходившим в отдел.

Никаких предположений. С открытым разумом входи в любую комнату, знакомься с любым мужчиной, женщиной, ребенком, с открытым разумом смотри на любое мертвое тело. Не настолько открытым, чтобы мозги вываливались наружу, но достаточно открытым, чтобы видеть и слышать неожиданное.

Никаких предубеждений. Убийство происходит неожиданно. Нередко оно становится неожиданностью и для убийцы.

Гамаш нарушил собственное правило. Он предполагал, что монах будет стариком, как большинство монахов, священников и монахинь Квебека. Религиозная жизнь более не привлекала молодых.

Тем не менее многие продолжали искать Бога, но уже не в стенах церкви.

Этот молодой человек, молодой монах, был исключением.

За то короткое мгновение, когда взгляды старшего инспектора Гамаша и монаха встретились, Гамаш понял две вещи. Монах едва вышел из юношеского возраста. И сейчас пребывал в душевном смятении, хотя и пытался это скрыть. Как ребенок, который ударился ногой о камень и не хочет показывать, что ему больно.

Сильные эмоции на месте убийства – это норма. Они естественны. Так почему же этот молодой монах пытается скрыть свои чувства? К тому же у него плохо получается.

– Зашибись! – выдохнул Бовуар, поравнявшись с Гамашем. – На что спорим, что за той дверью окажется Монреаль?

Он кивнул на следующую закрытую дверь в дальнем конце этого длинного коридора. Бовуар запыхался сильнее, чем Гамаш или капитан Шарбонно, но ведь и ноша его была гораздо тяжелее.

Монах взял стоящую у косяка чугунную колотушку, похожую на ту, что они видели у входа, и стукнул в дверь. Раздался громкий звук. Он подождал несколько секунд, стукнул еще раз. Снова ожидание. Наконец Бовуар сам взял колотушку и изо всех сил ударил ею в дверь.

Ожидание завершилось знакомым скрежетом – снова отодвинули щеколду. Дверь открылась.

Глава четвертая

– Меня зовут отец Филипп, – сказал пожилой монах. – Я настоятель монастыря Сен-Жильбер. Спасибо, что приехали.

Он стоял, спрятав руки в рукавах и сложив их на животе. Вид у него был измученный. Вежливый человек, старающийся не отступать от правил вежливости перед лицом жестокого преступления. В отличие от молодого монаха настоятель не пытался скрыть свои чувства.

– К сожалению, это было необходимо, – ответил Гамаш.

Он представился сам и представил своих спутников.

– Прошу вас следовать за мной, – сказал отец Филипп.

Гамаш повернулся, чтобы поблагодарить молодого монаха-проводника, но тот уже исчез.

– Как зовут брата, который нас встретил? – спросил Гамаш.

– Брат Люк, – ответил настоятель.

– Он молод, – заметил Гамаш, следуя за настоятелем по небольшой комнате.

– Да.

Отец Филипп вовсе не был неучтивым. Когда человек принимает обет молчания, даже одно слово из его уст – великое благодеяние. На самом деле отец Филипп проявлял к приехавшим огромную щедрость.

Радуги и веселый свет, изобилующие в коридоре, сюда не проникали. Но комната отнюдь не казалась мрачной, ей удавалось оставаться уютной, домашней даже при низких потолках и окнах, похожих на бойницы в стене. Через ромбовидные средники окон Гамаш увидел лес. Эта спокойная атмосфера являла собой приятный контраст буйному свету в коридоре.

Вдоль стен выстроились книжные шкафы, в одной из стен был устроен большой камин. По обе стороны от камина лицом к огню стояли два кресла со скамеечкой для ног между ними. Добавляла света и лампа.

Значит, тут есть электричество, отметил Гамаш. Прежде он в этом сомневался.

Из небольшой комнаты они перешли в еще меньшую.

– То был мой кабинет, – кивнул настоятель в сторону комнаты, которую они только что покинули. – А это моя келья.

– Келья? – переспросил Бовуар, поправляя почти невыносимо тяжелые сумки на своих натруженных плечах.

– Спальня, – пояснил отец настоятель.

Трое полицейских осмотрелись. Комната имела в ширину около шести футов и в длину около десяти. Здесь стояла узкая кровать и небольшой комод, также выполнявший, видимо, роль личного алтаря. На комоде – резная статуя Девы Марии с Младенцем Христом. У одной из стен расположился высокий узкий книжный шкаф, а рядом с кроватью – крохотный деревянный столик с книгами. Окон в келье не было.

Пришедшие повернулись в одну сторону, в другую.

– Прошу прощения, mon père[15], – сказал Гамаш. – Но где тело?

Не говоря ни слова, настоятель потянул на себя книжный шкаф. Все трое полицейских поспешно выставили вперед руки, чтобы поддержать шкаф, если он станет падать. Но тот не упал, а повернулся, открыв выход.

Через неожиданно образовавшееся в каменной стене отверстие хлынул яркий свет. Старший инспектор увидел зеленую траву, усеянную осенними листьями. И кусты различных оттенков осени. А еще – огромное дерево. Клен. В середине сада.

Но глаза Гамаша устремились в дальний конец сада, на лежащую там фигуру. Два монаха в мантиях неподвижно стояли в двух футах от тела.

Полицейские вышли через последнюю дверь на их пути к телу. В этот неожиданный сад.

– Святая Мария, Матерь Божия, – тихими, мелодичными голосами нараспев произносили монахи, – молись о нас, грешных…

– Когда вы его нашли? – спросил Гамаш, осторожно подходя к телу.

– Мой секретарь обнаружил его после службы первого часа. – Увидев недоумение на лице Гамаша, настоятель пояснил: – Служба первого часа заканчивается в восемь пятнадцать утра. Брата Матье нашли приблизительно без двадцати девять. Секретарь отправился искать доктора, но было уже слишком поздно.

Гамаш кивнул. У него за спиной Бовуар и Шарбонно начали распаковывать криминалистическое оборудование. Старший инспектор посмотрел на траву, потом мягко положил руку на плечо настоятелю и отвел его на несколько шагов от тела.

– Désolé[16], отец Филипп, но давайте отойдем, чтобы не затоптать улики.

– Извините, – пробормотал настоятель, послушно шагая за ним.

Он казался потерянным, выбитым из колеи. Не только из-за мертвого тела, но и из-за присутствия здесь незнакомых людей.

Гамаш поймал взгляд Бовуара и незаметно показал на землю. Бовуар кивнул. Он уже обратил внимание на то, что трава здесь слегка примята. Травинки поникли, словно указывая туда, где лежал мертвец.

Гамаш повернулся к настоятелю. Тот был высок и худощав. Чисто выбрит, как и другие монахи, но на его голове, к которой бритва не прикасалась несколько дней, появилась седая щетина.

Темно-голубые глаза настоятеля встретились с задумчивыми карими Гамаша. Старший инспектор не отвел взгляда, но у него возникло ощущение, что его незаметно обыскивают.

Настоятель снова спрятал руки в рукавах мантии, приняв ту же позу, что и два монаха, которые стояли рядом с телом и, закрыв глаза, молились:

– Радуйся, Мария, благодати полная!

Розарий[17]. Гамаш узнал молитву. Сам мог прочитать ее даже во сне.

– …Господь с Тобою…

– Кто он, отец Филипп?

Гамаш встал так, чтобы сам он мог видеть тело, но чтобы его не видел настоятель. Иногда старший инспектор хотел, чтобы подозреваемые непременно видели мертвеца. Убитого. Он хотел, чтобы вид тела обжигал, терзал, мучил.

Но не сегодня. Он подозревал, что этот тихий человек никогда не забудет такого зрелища. И возможно, доброта станет более короткой дорогой к истине.

– Матье. Брат Матье.

– Регент хора? – уточнил Гамаш. – О-о…

Старший инспектор чуть опустил голову. Смерть всегда означала утрату. Насильственная смерть оставляла громадную брешь. Утрата казалась горше. Но потерять именно этого человека? Арман Гамаш посмотрел на лежащее на земле тело, свернувшееся калачиком. Колени подтянуты к подбородку до упора. Он сделал это перед самой смертью.

Брат Матье. Регент хора в монастыре Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. Человек, чью музыку Гамаш слушал по пути сюда в самолете.

Гамашу казалось, что он знает этого человека. Знаком он с ним, конечно, не был. Никто не видел брата Матье. Не существовало ни его фотографий, ни портретов. Но миллионы людей, включая и Гамаша, считали, что знают его гораздо ближе, чем некоторых своих знакомых.

Это и вправду была большая потеря. И не только для этого отдаленного и замкнутого монастырского сообщества.

– Да, регент хора, – подтвердил настоятель. Он повернулся и посмотрел на лежащего на земле человека. Тихо, почти шепотом

произнес: – И наш приор[18]. – Отец Филипп снова повернулся к Гамашу. – И мой друг.

Он закрыл глаза и замер. Снова открыл глаза. Они у него были голубые-преголубые. Настоятель сделал глубокий вдох. Пытается взять себя в руки, подумал Гамаш.

Он знал это чувство. Когда нужно сделать что-то очень неприятное, мучительное. И сейчас настал такой миг – перед решительным шагом.

Отец Филипп выдохнул и сделал нечто необычное. Он улыбнулся. Легко, почти незаметно. Он посмотрел на Армана Гамаша теплым и открытым взглядом, и старший инспектор вдруг поймал себя на том, что не может сдвинуться с места.

– Все будет в порядке, – сказал отец Филипп Гамашу. – Все будет хорошо, и все, что ни будет, будет хорошо[19].

Совсем не таких слов ждал старший инспектор от настоятеля, и несколько мгновений он просто молча смотрел в эти поразительные глаза.

– Merci. Я верю в это, mon père, – произнес наконец Гамаш. – Но верите ли вы?

– Юлиана Норвичская не стала бы лгать, – ответил отец Филипп, и снова на его лице промелькнула та же улыбка.

– Вероятно, не стала бы, – сказал Гамаш. – Но Юлиана Норвичская писала о любви к Богу, и в ее монастыре не случалось убийств. А у вас, к несчастью, случилось.

Настоятель продолжал смотреть на Гамаша, и в его взгляде не было гнева. Напротив, в нем сохранялась та же теплота. Вот только вернулась усталость.

– Справедливо.

– Прошу меня извинить, отец настоятель.

Старший инспектор обошел настоятеля и, осматривая землю, осторожно зашагал по траве и по цветочной клумбе. К брату Матье.

Там он опустился на колени.

Не протянул руку, не прикоснулся к телу. Только смотрел. Запоминал и впитывал впечатления.

А главное его впечатление состояло в том, что брат Матье умер в мучениях. Многие из тех, рядом с кем Арман Гамаш опускался на колени, умирали настолько быстро, что даже не успевали понять, что с ними случилось.

С приором все обстояло иначе. Он знал, что с ним произошло и что

произойдет.

Гамаш снова перевел глаза на траву. Потом на убитого. Голову монаха раздробили сбоку. Старший инспектор пригляделся. Похоже, убитый получил два-три удара. Достаточно для смертельного ранения. Но не для мгновенной смерти.

Гамаш подумал, что у приора, вероятно, была крепкая голова.

Он скорее почувствовал, чем увидел, как Бовуар опустился на колени рядом с ним. Полицейская лента лежала на траве, огораживая место убийства и след, ведущий к цветочной клумбе.

Настоятель присоединился к двум монахам, и они вместе принялись читать «Радуйся, Мария».

Бовуар достал свой блокнот. Новый блокнот для нового тела.

Сам Гамаш не делал заметок, он предпочитал слушать.

– Что вы думаете? – спросил старший инспектор у Шарбонно.

Глаза капитана расширились.

– Moi?[20]

Гамаш кивнул.

Несколько жутких мгновений капитан Шарбонно не думал ни о чем. Отсутствие мыслей в его голове могло сравниться разве что с таковым у лежащего рядом покойника. Он уставился на Гамаша. Но старший инспектор смотрел на него без малейшего высокомерия и снисходительности, только внимательно. Никакой ловушки или подставы.

Шарбонно почувствовал, как сердце его забилось спокойнее, а мозг стал работать быстрее.

Гамаш ободряюще улыбнулся:

– Не торопитесь. Я бы предпочел услышать взвешенный ответ, а не поспешный.

– …Молись о нас, грешных…

Три монаха распевали молитву, а трое полицейских стояли на коленях перед трупом.

Шарбонно огляделся. Сад был обнесен стеной. Единственный вход или выход – через книжный шкаф. Ни приставной лестницы, ни каких-то других признаков того, что кто-то забирался сюда или выбирался отсюда. Шарбонно взглянул вверх. Сверху сад ниоткуда не просматривался. Никто не мог видеть того, что здесь произошло.

Так что же здесь произошло? Старший инспектор Гамаш интересовался его мнением. Его серьезным, вдумчивым анализом.

«Господи, – безмолвно взмолился Шарбонно, – даруй мне мнение».

Когда утром позвонил инспектор Гамаш и попросил кого-нибудь

из местной полиции встретить самолет и проводить их в монастырь, капитан Шарбонно решил сам встретить гостей. Будучи главой отделения, он мог послать туда любого из своих подчиненных. Но он даже думать об этом не желал.

Он хотел сам заняться этим.

И не только для того, чтобы увидеть знаменитый монастырь изнутри.

Не меньше этого капитан Шарбонно хотел познакомиться со старшим инспектором Гамашем.

– Здесь на траве кровь. – Шарбонно показал на огороженный лентой участок. – И, судя по следам на траве, он прополз несколько футов до этого места.

– Или его протащил убийца, – предположил Гамаш.

– Вряд ли, patron. Тут нет глубоких следов ног на траве или на клумбе.

– Хорошо, – сказал Гамаш, оглядевшись. – Но зачем умирающему человеку ползти сюда?

Все трое снова посмотрели на тело. Брат Матье лежал в позе эмбриона, поджав к груди колени, а руками плотно обхватив обширный живот. Подбородок прижат к груди. Спина – к каменной стене сада.

– Может, он пытался стать меньше? – высказал догадку Бовуар. – Он свернулся, как мяч.

Такое впечатление и в самом деле возникало. Довольно большой черный мяч, остановленный стеной.

– Но почему? – снова спросил Гамаш. – Почему он пополз не к монастырю? Почему в противоположную сторону?

– Может быть, он потерял ориентацию, – сказал Шарбонно. – Двигался скорее инстинктивно, чем осмысленно. Возможно, никакой особой причины и не было.

– Возможно, – кивнул Гамаш.

Все трое продолжали разглядывать тело брата Матье. Капитан Шарбонно скосил глаза на погруженного в размышления Гамаша.

От старшего инспектора его отделяли какие-то дюймы. Шарбонно видел морщины и следы ранения на лице Гамаша. Он даже чувствовал его запах – слабый аромат сандалового дерева и чего-то еще. Розовой воды.

Он, конечно, видел старшего инспектора по телевизору. Несколько месяцев назад Шарбонно даже летал в Монреаль на конференцию, на которой Гамаш был главным докладчиком. Темой конференции стал девиз Квебекской полиции: «Service, Intégrité, Justice»[21].

Эта тема была лейтмотивом всех конференций, которые с годами стали походить на собрания болельщиков и завершались оргией

самовосхваления.

За исключением той, на которой выступал старший инспектор Гамаш. Поначалу Гамаш потряс тысячу полицейских в зале, рассказав о собственных неудачах, о тех делах, которые он мог бы провести лучше. О тех, что вообще провалил.

Кроме того, он четко обозначил неудачи Квебекской полиции в целом. Точно и ясно сказал, в чем полиция не оправдывала, даже предавала доверие квебекцев. Раз за разом. Это было безжалостное обвинение полицейской службы, хотя сам Гамаш и продолжал верить в нее.

И все собравшиеся это поняли.

Арман Гамаш верил в них. Он верил в Квебекскую полицию, в службу и неподкупность.

Он мог работать лучше.

Они все могли работать лучше.

Как отдельные личности и как силовое подразделение в целом.

Когда он закончил, тысячная аудитория поднялась в едином порыве и начала аплодировать. В них словно вдохнули энергию. Их вдохновили.

Но капитан Шарбонно заметил, что несколько офицеров в первом ряду были не в восторге от услышанного. Они встали вместе со всеми. Они тоже хлопали. Да и как они могли не хлопать? Но Шарбонно со своего места сбоку видел, что сердца их не с Гамашем. А где витали их мысли – об этом знал только Бог.

Это были суперинтенданты Квебекской полиции. Руководство. И министр юстиции.

И вот теперь, над телом монаха, Шарбонно захотелось податься вперед и, понизив голос, сказать: «Я не знаю, почему этот человек полз сюда. Но я знаю кое-что, о чем следует знать и вам. У вас в полиции не так много друзей, как вы думаете. Как вы верите».

Он открыл рот, собираясь заговорить, но тут же закрыл его, увидев лицо Гамаша. Его шрамы, его умные голубые глаза.

Шарбонно понял, что этот человек все знает. Старший инспектор Гамаш знает, что его дни в полиции, вероятно, сочтены.

– Так что вы думаете? – снова спросил Гамаш.

– Мне кажется, он знал, что с ним случится.

– Продолжайте, – сказал Гамаш.

– Он сделал все, что в его силах, но было слишком поздно. Бежать он не мог.

– Да, – согласился Гамаш. – Бежать тут некуда.

Несколько секунд они смотрели друг на друга. Понимая друг друга.

– Но почему он не оставил послания? – спросил Бовуар.

– Что вы имеете в виду? – Шарбонно повернулся к младшему из приезжих.

– Он ведь видел убийцу, понимал, что умирает. Ему хватило сил проползти такое расстояние. Почему он не использовал остаток сил, чтобы написать послание? – спросил Бовуар.

Они огляделись, но земля вокруг была истоптана. Не ими, а монахами. Из лучших побуждений или нет.

– Может быть, все проще, – сказал Шарбонно. – Он, вероятно, чувствовал себя как животное. Хотел свернуться в клубок и умереть в одиночестве.

Гамаша переполняло сочувствие к убитому. Умереть в одиночестве, почти наверняка сраженным кем-то, кого он знал, кому доверял. Какое выражение застыло на его лице? Смятение? Не предчувствие близкой смерти, а понимание того, что он погибает от руки брата. Наверное, такое же выражение было на лице Авеля, когда он упал на землю?

Они снова склонились над убитым монахом.

Брат Матье был уже не молод, а сложением напоминал бочку. В еде он себя явно не ограничивал. Если он чем и умерщвлял свою плоть, так это едой. И возможно, вином. Хотя в отличие от пьяниц лицо у него не было ни багровым, ни опухшим.

Приор просто выглядел как человек, который доволен жизнью, но весьма огорчен своей смертью.

– А не получил ли он еще один удар? – спросил старший инспектор. – В живот?

– …И благословен плод чрева Твоего…

Бовуар тоже наклонился над трупом и кивнул:

– Он ухватился руками за живот. Вы думаете, от боли?

Гамаш поднялся и машинально отряхнул землю с колен:

– Оставляю его вам, инспектор.

Он зашагал назад, стараясь ступать по собственным следам.

– Святая Мария, Матерь Божия…

Монахи продолжали читать молитву.

«Когда уже они решат, что хватит? – спросил себя Гамаш. – Сколько раз будет достаточно?»

Он знал, какова его цель: найти того, кто убил брата Матье.

– …молись о нас, грешных…

Но в чем состояла цель трех монахов в черных мантиях?

– …ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Глава пятая

Старший инспектор несколько секунд смотрел на монахов, потом перевел взгляд на Бовуара.

Тот прибавил в весе, но, перестав быть тощим, оставался стройным. Лицо Жана Ги округлилось, тени под глазами исчезли.

Но с ним произошли не только физические перемены: Бовуар выглядел счастливым. Гораздо счастливее, чем когда-либо. И это было не лихорадочное возбуждение наркомана, а уверенное спокойствие. Гамаш знал, что дорога назад долгая и трудная, но Бовуар уже начал двигаться по ней.

Прекратились резкие перемены настроения, вспышки раздражения. Он больше не впадал в ярость и не распускал нюни.

И таблетки перестал принимать. Оксикодон и парацетамол. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но лекарства, предназначенные для облегчения боли, в конечном счете приводили к ее многократному усилению.

Глядя на своего инспектора, Гамаш думал: Господь свидетель, Бовуар страдал от боли и не мог обойтись без таблеток. Но потом он должен был прекратить их принимать.

И он прекратил. Не без посторонней помощи. Гамаш надеялся, что его инспектор не слишком поспешил с возвращением к работе, но он подозревал, что Бовуару сейчас очень нужна его обычная жизнь. Чтобы к нему не относились как к инвалиду.

И все же Гамаш знал, что за Бовуаром нужно приглядывать. Проверять, нет ли в его спокойствии какой-то трещинки.

Ну а пока Гамаш предоставил полицейских самим себе – пусть делают свое дело. Монахам тоже найдется чем заняться – он и их предоставил самим себе.

Нашел он занятие и для себя.

Гамаш оглядел сад.

У него только теперь появилась такая возможность.

Сад был квадратный. Приблизительно сорок на сорок футов. Он не предназначался для занятия спортом или для больших собраний людей. Играть здесь в футбол монахи не могли бы.

Гамаш увидел на земле плетеную корзинку и садовые инструменты. Здесь же, рядом с молящимися монахами, лежал черный медицинский

саквояж.

Старший инспектор двинулся по саду, разглядывая многолетники и травы, все помеченные и поименованные.

Эхинацея, таволга, зверобой обыкновенный, пупавка.

Гамаш плохо разбирался в ботанике, но подозревал, что тут растут не простые травы и цветы, а лекарственные. Он огляделся еще раз.

Все здесь имело свою цель. Все было продумано.

Включая, как он подозревал, и мертвое тело.

Убийство тоже преследовало некую цель. И задача Гамаша состояла в том, чтобы ее обнаружить.

Под кленом в середине сада стояла полукруглая каменная скамья. Почти вся листва с дерева опала. Бóльшую ее часть уже сгребли, но на траве еще лежали остатки осеннего листопада. А несколько листочков, словно оставленная надежда, цеплялись за ветки древа-матери.

В разгар лета клен красовался роскошной кроной, погружавшей сад в пятнистую тень. Лишь на небольшую часть сада беспрепятственно попадали солнечные лучи. Лишь небольшая его часть оставалась в полной тени.

Свет и тень в саду настоятеля уравновешивали друг друга.

Но сейчас, осенью, сад умирал.

Естественный цикл природы. Если бы растения в саду цвели круглый год, это было бы отклонением от нормы, аномалией.

По прикидке Гамаша стены были не менее десяти футов в высоту. Выбраться из сада никто не мог. А единственный путь в сад лежал через спальню настоятеля. Через потайную дверь.

Гамаш оглянулся на здание монастыря. Никто из его обитателей не мог ни войти, ни даже заглянуть в сад настоятеля.

«А они вообще знают, что здесь есть сад? – спросил себя Гамаш. – Возможно ли такое?»

Что, если сад настоятеля не только личный, но еще и тайный?

Отец Филипп раз за разом повторял молитву:

– Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою…

Он стоял, склонив голову, но глаза его оставались приоткрыты. Он наблюдал за полицейскими в саду. А те склонились над Матье. Делали фотографии. Перемещали тело. Ах, как не понравилось бы это Матье, со всей его щепетильностью, аккуратностью.

Умереть под забором.

– Святая Мария, Матерь Божия…

Неужели Матье убит? Отец Филипп машинально читал молитву, пытаясь сосредоточиться на ее простых словах. Он произносил их и слышал братьев-монахов возле себя. Слышал знакомые голоса. Чувствовал их плечи рядом со своими.

Он ощущал солнечные лучи на своей голове, вдыхал терпкий запах осеннего сада.

Но теперь больше ничто не казалось здесь знакомым. Слова, молитва, даже солнце стали чужими.

Матье умер.

«Как я мог не знать об этом?»

– …Молись о нас, грешных…

«Как я мог не знать об этом?»

Эти слова стали его новой молитвой.

«Как я мог не знать, что все это кончится убийством?»

Гамаш описал полный круг по саду и остановился перед молящимися монахами.

Пока он приближался к ним, у него возникло впечатление, что настоятель наблюдает за ним.

Одно не вызывало сомнений: за те несколько минут, что Гамаш провел в саду, настоятель истратил еще больше энергии.

Если назначение молитвы состояло в том, чтобы утешать, то в данном случае это не срабатывало. Но кто знает, в каком состоянии пребывал бы отец Филипп без молитвы? Гамаш подумал, что настоятель может в любую секунду упасть и потерять сознание.

– Прошу прощения, – сказал Гамаш.

Двое монахов перестали читать молитву, но отец Филипп дочитал до конца:

– …Ныне и в час смерти нашей.

Все вместе они нараспев произнесли:

– Аминь.

Отец Филипп открыл глаза:

– Да, сын мой?

«Сын мой» – традиционное обращение священника к прихожанину. Или настоятеля к монаху. Но Гамаш не был ни прихожанином, ни монахом. Почему же отец Филипп обратился к нему так?

Просто по привычке? Или в знак симпатии? Или это что-то другое? Претензия на первенство. Превосходство отца над сыном.

– У меня есть несколько вопросов.

– Да, конечно, – сказал настоятель.

Два других монаха хранили молчание.

– Насколько я понимаю, брата Матье обнаружил один из вас.

Монах справа от настоятеля стрельнул в него глазами, и тот едва заметно кивнул.

– Его нашел я.

Этот монах был меньше ростом, чем отец Филипп, и немного моложе. У него был настороженный взгляд.

– Как вас зовут?

– Симон.

– Расскажите, пожалуйста, mon frère, о том, что случилось сегодня утром.

Брат Симон опять покосился на настоятеля, и тот еще раз кивнул.

– Я вышел в сад после службы первого часа, чтобы навести здесь порядок. И тут увидел его.

– Кого вы увидели?

– Брата Матье.

– Oui, но вы сразу поняли, что это он?

– Нет.

– А что вы подумали?

Брат Симон погрузился в молчание.

– Все в порядке, Симон. Мы должны говорить правду, – сказал отец Филипп.

– Oui, Père Abbé[22]. – Слова настоятеля явно не убедили и не обрадовали монаха. Но он подчинился. – Я подумал, что это отец настоятель.

– Почему?

– Потому что больше здесь никого не бывает. Только он. Да теперь я.

Гамаш несколько секунд обдумывал его слова.

– И что вы сделали?

– Подошел проверить.

Гамаш посмотрел на плетеную корзинку, лежащую на боку, – ее содержимое высыпалось на осенние листья. Посмотрел на брошенные грабли.

– Пошли или побежали?

Монах снова помедлил:

– Побежал.

Гамаш представил себе эту сцену. Монах средних лет, с корзиной. Он готовился поработать здесь, сгрести опавшие листья. Он вошел в тихий

сад, чтобы сделать то, что делал много раз прежде. И тут увидел немыслимое. Человека, лежащего у стены.

Без всяких сомнений – настоятеля.

Что же сделал брат Симон? Бросил свои инструменты и побежал. Со всей быстротой, какую позволяла ему длиннополая мантия.

– Что вы сделали, когда добежали до него?

– Я увидел, что это не отец настоятель.

– Расскажите мне все, что вы сделали после.

– Я опустился перед ним на колени. – Каждое слово причиняло брату Симону боль. То ли из-за воспоминаний, то ли из-за самой необходимости говорить. – Я откинул капюшон, который закрывал его лицо. Вот тогда-то я и убедился, что это не отец настоятель.

Это оказался не настоятель. Вот главное, что имело значение для брата Симона. Не то, кем был убитый, а то, кем он не был. Гамаш внимательно слушал. Слова. Интонацию. Паузы между словами.

И то, что он услышал сейчас в голосе монаха, называлось облегчением.

– Вы прикасались к телу? Перемещали его?

– Я прикоснулся к капюшону и плечам. Тряхнул его. Потом отправился за доктором.

Брат Симон взглянул на третьего монаха.

Тот был немного моложе двух других, ниже и чуть толще. В щетине волос на голове тоже пробивалась седина. А глаза, хотя и грустные, смотрели без тревоги, заметной в глазах двух его собратьев.

– Вы врач? – спросил Гамаш, и монах кивнул.

Он выглядел чуть ли не веселым.

Но Гамаш не принадлежал к числу легковерных людей. Один из братьев Рейн-Мари смеялся на похоронах и плакал на свадьбах. Один их друг всегда смеялся, когда кто-нибудь кричал на него. Смеялся не от смеха, а от избытка эмоций.

Иногда смех и слезы подменяют друг друга. В особенности когда речь идет о людях, не привычных к проявлению эмоций.

Хотя монах-доктор и выглядел почти веселым, он, возможно, скорбел сильнее других.

– Шарль, – представился монах. – Я доктор.

– Расскажите, как вы узнали о смерти приора.

– Когда брат Симон пришел за мной, я работал на скотном дворе. Он отвел меня в сторону и сказал, что произошел несчастный случай…

– Кто-нибудь еще присутствовал при этом?

– Там работали и другие братья, но брат Симон старался говорить тихо. Я думаю, никто, кроме меня, его не слышал.

– Вы и в самом деле решили, что это несчастный случай? – спросил Гамаш у брата Симона.

– Я сомневался и не знал, что еще сказать.

– Прошу прощения, – снова обратился Гамаш к доктору. – Я вас прервал.

– Я побежал в лазарет, схватил свой медицинский саквояж, и мы поспешили сюда.

Гамаш представил себе, как два монаха в черных мантиях бегут по сверкающим коридорам.

– Никого по пути не встретили?

– Ни души, – ответил брат Шарль. – Время рабочее. Все заняты на своих местах.

– Что вы сделали, когда пришли в сад?

– Разумеется, первым делом проверил пульс, но даже если бы я не сразу заметил рану на голове, по глазам было ясно, что он мертв.

– А что вы подумали, когда увидели рану?

– Поначалу я решил, что он свалился со стены, но потом понял, что это невозможно.

– Какие мысли возникли у вас тогда?

Брат Шарль посмотрел на настоятеля.

– Продолжай, – подбодрил его отец Филипп.

– Я подумал, что кто-то ударил его.

– Кто?

– Скажу вас честно, у меня нет никаких догадок.

Несколько секунд Гамаш разглядывал доктора. Он из собственного опыта знал: слово «честно» нередко служит в качестве прелюдии ко лжи. Но Гамаш отбросил эту мысль и обратился к настоятелю:

– Не могли бы мы поговорить с вами наедине?

Настоятель ничуть не удивился. Судя по его виду, больше ничто в мире не могло его потрясти.

– Конечно.

Отец Филипп кивнул двум монахам, перехватив их взгляд. Старшему инспектору стало любопытно, какое послание передал им настоятель. Неужели между монахами, живущими в затворничестве и безмолвии, образуется некая телепатическая связь? Способность читать мысли друг друга?

Если так, то приора Господь обделил этим даром.

Настоятель повел Гамаша к скамье под деревом. Подальше от суеты.

Оттуда они не могли видеть ни мертвого тела, ни здание монастыря. Вместо этого их взору предстала стена, целебные травы и вершины деревьев за стеной.

– Мне трудно поверить, что это случилось, – сказал настоятель. – Наверное, вы постоянно слышите такие слова. Их все говорят, да?

– Большинство. Было бы ужасно, если бы убийство не вызывало потрясения.

Настоятель вздохнул и уставился перед собой. Потом закрыл глаза и поднес тонкие руки к лицу.

Ни рыданий, ни слез, ни даже молитвы.

Только молчание. Длинные изящные пальцы словно маской закрыли лицо. Еще одна стена между ним и окружающим миром.

Наконец он уронил руки на колени. И они безвольно улеглись там.

– Понимаете, он был моим лучшим другом. В монастырях не полагается иметь лучших друзей. Считается, что все мы здесь должны быть равны. Все друзья, но не слишком близкие. Но это, конечно, идеал. Как Юлиана Норвичская, мы стремимся достичь всепоглощающей любви к Господу. Но мы грешны, нам не чуждо ничто человеческое, и иногда мы любим своих собратьев. Сердце не подчиняется правилам.

Гамаш слушал и ждал, стараясь не вкладывать лишнего смысла в то, что слышит.

– Даже не могу вам сказать, сколько раз мы с Матье сидели здесь на скамье. Он – на вашем теперешнем месте. Иногда мы говорили о делах монастыря, иногда просто читали. Он приносил ноты своих песнопений. Я работал или сидел молча, слушая, как он напевает себе под нос. Я думаю, он даже не отдавал себе отчета в том, что напевает или что я его слышу. Но я слышал.

Настоятель перевел взгляд на стену и на верхушки деревьев в лесу, похожие на темные шпили. Какое-то время он молчал, погрузившись в мысли о том, что теперь навсегда ушло в прошлое. Сцена, которую он описал, больше никогда не повторится. То пение, что он слышал, никогда больше не прозвучит.

– Убийство? – прошептал он. – Здесь?

Наконец он вспомнил о Гамаше:

– И вы прибыли сюда, чтобы выяснить, кто из нас его совершил. Старший инспектор – вы так представились? Значит, к нам прибыл начальник?

Гамаш улыбнулся:

– Боюсь, что не самый главный начальник. Надо мной есть другие начальники.

– Как и у всех нас, – сказал настоятель. – Но ваши, по крайней мере, не могут видеть всего, что вы делаете.

– И знать все, что я думаю и чувствую, – подхватил Гамаш. – И я каждый день благодарю Провидение за это.

– Но ни один из ваших начальников не может принести вам душевный мир и спасение.

Гамаш кивнул:

– Вот уж точно.

– Шеф?

В нескольких шагах от них стоял Бовуар.

Извинившись, Гамаш подошел к своему инспектору.

– Мы готовы переместить тело. Но куда его положить?

Гамаш немного поразмыслил, потом посмотрел на двух молящихся монахов и показал на брата Шарля:

– Вот он – доктор. Он скажет, где найти носилки, чтобы перенести тело в лазарет.

Гамаш сделал паузу. Бовуар слишком хорошо знал шефа, а потому ждал дальнейших указаний.

– Убитый руководил здесь хором. – Гамаш снова посмотрел на скрюченное тело брата Матье.

Для Бовуара услышанное стало всего лишь еще одним фактом. Информацией. Но он видел, что для шефа этот факт имеет какой-то смысл.

– Это важно? – спросил он.

– Вполне возможно.

– Это важно для вас, да? – уточнил Бовуар.

– Понимаешь, случилась трагедия, – ответил шеф. – Огромная потеря. Он был гением. По пути сюда я слушал его музыку.

– Я так и думал.

– Ты когда-нибудь слышал его музыку?

– Да как ее не услышать? Года два назад она звучала повсюду. Какую станцию ни включишь, она тут как тут.

Гамаш улыбнулся:

– Ты не большой любитель его музыки?

– Вы шутите? Григорианские хоралы! Группка людей, что поют в один голос без инструментального сопровождения, практически на одной ноте, да еще на латыни! Я просто заходился от восторга.

Старший инспектор улыбнулся словам Бовуара и вернулся

к настоятелю.

– Кто мог это сделать? – спросил вполголоса отец Филипп, когда Гамаш сел на прежнее место. – Я сам все утро думал. – Он повернулся к своему собеседнику. – И как я мог не заметить, что это надвигается?

Гамаш хранил молчание, понимая, что вопрос адресован не ему. Но ответить в конечном счете придется ему. Он понял и еще кое-что.

Настоятель не старался делать вид, что убийство совершил кто-то посторонний. Он не собирался убеждать Гамаша или себя в том, что произошел несчастный случай. Неудачное падение.

Никакой попытки закрыть глаза на страшную истину.

Брата Матье убили. И убил его кто-то из монахов.

Гамаш восхищался способностью отца Филиппа смотреть в лицо самой ужасной правде. И в то же время он недоумевал, почему настоятель так легко согласился с реальностью.

Настоятель заявил, что удивлен случившимся в монастыре. Однако он не делал того, что сделало бы большинство людей. Он не искал другого объяснения, пусть и самого нелепого.

И старший инспектор Гамаш начал спрашивать себя, насколько в самом деле потрясен отец Филипп.

– Брата Матье убили между восемью пятнадцатью, когда закончилась служба, и восемью сорока, когда ваш секретарь нашел тело, – сказал старший инспектор. – Где вы находились в это время?

– Сразу же после службы первого часа я спустился в подвал, чтобы поговорить о геотермальной системе с братом Раймоном. На его попечении хозяйство монастыря. Инженерная часть.

– У вас тут есть геотермальный источник?

– Да. Он обогревает монастырь, а солнечные батареи обеспечивают нас электричеством. Зима на носу, и я хотел убедиться, что с этим все в порядке. Я находился внизу, когда брат Симон нашел меня и сообщил эту прискорбную новость.

– Когда он вас нашел?

– Около девяти, наверное.

– И что вам сообщил брат Симон?

– Только то, что с братом Матье произошел несчастный случай в саду.

– Он сказал, что брат Матье мертв?

– Позже – да. Я бросился в сад, и он со мной. Он сначала нашел доктора, а потом меня. К тому времени они уже знали, что несчастье имело роковой исход.

– Но больше он вам ничего не сказал?

– Что Матье убит?

– Да, что он умер насильственной смертью.

– Мне об этом сообщил доктор. Когда я добрался сюда, доктор стоял у дверей, ждал. Он пытался меня остановить, чтобы я не подходил близко. От него я и узнал, что Матье не просто мертв, что его, судя по всему, убили.

– И что вы ему сказали?

– Не помню точно, но подозреваю, что это были такие слова, которым не учат в семинарии.

Отец Филипп вернулся мыслями назад. Вспомнил, как оттолкнул доктора и на подкашивающихся ногах бросился в дальний угол сада. К тому, что казалось холмиком темной земли. Но на поверку оказалось совсем иным. И он поведал все это крупному, спокойному офицеру Квебекской полиции так, как ему запомнилось.

– Я упал на колени рядом с ним, – продолжил настоятель.

– Вы прикасались к нему?

– Да. К его лицу, к его мантии. Кажется, я ее разгладил. Не знаю почему. Кто бы стал делать такое?

И опять Гамаш словно не услышал вопроса. Время для ответа еще наступит.

– Что делал в вашем саду брат Матье?

– Понятия не имею. Он не ко мне пришел. В этот час меня там никогда не бывает. Я отправляюсь в обход по монастырю.

– Он знал об этом?

– Он ведь мой приор. Как ему не знать?

– Что вы сделали, увидев тело? – спросил Гамаш.

Настоятель нахмурил брови, припоминая:

– Сначала мы помолились. Потом я вызвал полицию. У нас есть только один телефон. Спутниковый. Он не всегда работает, но сегодня утром связь была.

– А вы не думали о том, что, может быть, звонить вообще не стоит?

Вопрос Гамаша удивил настоятеля, и он новыми глазами посмотрел на этого спокойного чужака.

– Со стыдом признаю, что именно такая мысль и посетила меня поначалу. Оставить все между нами. Мы привыкли к автономному существованию.

– Тогда почему позвонили?

– Боюсь, что не ради Матье, а ради других.

– Что вы имеете в виду?

– Матье больше нет. Он уже с Господом.

Гамаш надеялся, что так оно и есть. Что для брата Матье больше не осталось тайн. Он знает, кто забрал его жизнь. И знает теперь, есть ли Бог. И небеса. И ангелы. И даже небесный хор.

Думать о том, что случается с небесным хором, когда появляется еще один регент, не имело смысла.

– Но остальные остаются здесь, – продолжал настоятель. – Я вызвал вас не ради мести или наказания тому, кто убил приора. Что сделано, то сделано. Матье в безопасности. А вот мы – нет.

Гамаш знал, что настоятель говорит истинную правду. Именно такова бывает реакция отца – защитить. Или пастыря, который спасает от хищника свое стадо.

Saint-Gilbert-Entre-les-Loups. Святой Гильберт среди волков. Странное название для монастыря.

Настоятель знал, что в его стаде волк. В черной мантии, с бритой головой, шепчущий тихие молитвы. И отец Филипп вызвал охотников, чтобы они нашли волка.

Бовуар и доктор вернулись с носилками и поставили их рядом с братом Матье. Гамаш встал и подал безмолвный знак. Тело подняли, положили на носилки, и брат Матье в последний раз покинул сад.

Маленькую процессию возглавлял настоятель, за ним шли братья Симон и Шарль. Потом, с носилками, капитан Шарбонно и Бовуар: Шарбонно на передних ручках, Бовуар на задних.

Гамаш, шедший последним, закрыл за собой дверь в виде книжного шкафа.

Они вышли в радужный коридор. Веселые лучи освещали тело и тех, кто его сопровождал. Когда они проходили через церковь, остальные монахи встали со своих мест и цепочкой двинулись следом за Гамашем.

Отец Филипп начал читать молитву. Не розарий – что-то иное. И тут Гамаш понял, что настоятель не читает молитву, а поет. И не просто молитву – песнопение.

Григорианское песнопение.

Постепенно к нему присоединились другие монахи, и звуки их голосов наполнили коридор, слились со светом. Это было бы красиво, если бы среди тех, кто пел слова Господа голосом Господа, не шел убийца.

Глава шестая

Вокруг блестящего смотрового столика стояли четыре человека.

С одной стороны – Арман Гамаш и инспектор Бовуар, напротив них – доктор, а чуть поодаль – настоятель. Брат Матье лежал на столике из нержавеющей стали, его искаженное гримасой ужаса лицо смотрело в потолок.

Другие братья отправились заниматься тем, чем они обычно занимались в такое время. Гамашу было любопытно, чем именно.

По своему опыту он знал, что многие люди в подобных ситуациях совершенно выбиты из колеи. Они цепляются за знакомые запахи, виды и звуки. Словно у них вдруг закружилась голова и они боятся выпасть из знакомого им мира.

Капитан Шарбонно получил приказ искать орудие убийства. Гамаш полагал, что найти его будет нелегко, но предпринять попытку необходимо. Судя по всему, приора убили камнем. Если так, то камень почти наверняка зашвырнули за стену – поди найди его в девственном лесу.

Старший инспектор огляделся. Он предполагал, что лазарет будет плохо оборудованным, даже убогим. Он приготовился к тому, что увидит какую-нибудь средневековую сцену. Операционные столы из каменных глыб с открытыми сливными отверстиями для жидкостей. Деревянные полки с сушеными и измельченными в порошок травами из сада. Хирургические пилы.

Но помещение оказалось оборудованным по последнему слову техники, со сверкающими инструментами, аккуратными шкафчиками, наполненными марлей и бинтами, таблетками и шпателями для языка.

– Вскрытие проведет коронер, – сказал Гамаш доктору. – Мы не хотим, чтобы вы проводили эту процедуру с телом приора. Я попрошу вас только снять с него одежду, чтобы мы могли ее должным образом обыскать. И, кроме того, мне нужно увидеть тело.

– Зачем?

– Чтобы убедиться, что на нем нет других ран или отметин. Чего-то такого, о чем мы должны знать. Чем скорее мы соберем факты, тем быстрее докопаемся до истины.

– Но между фактом и истиной большая разница, старший инспектор, – заметил настоятель.

– И когда-нибудь мы посидим в вашем замечательном садике

и обсудим это, – сказал Гамаш. – Но не сегодня.

Он повернулся спиной к настоятелю, кивнул доктору, и тот приступил к работе.

Мертвец больше не лежал в позе эмбриона. Хотя трупное окоченение уже начинало схватывать мышцы, общими усилиями удалось положить его спиной на стол. Гамаш отметил, что руки приора все еще остаются внутри длинных рукавов его мантии и обхватывают живот, словно он скорчился от острой боли.

Развязав веревку на поясе приора, доктор вытащил его руки из рукавов. Гамаш и Бовуар наклонились над телом, проверяя, не зажато ли что-нибудь в кулаках, нет ли чего под ногтями.

Но они увидели пустые руки, чистые и ухоженные ногти.

Доктор аккуратно положил руки брата Матье по бокам. Но левая соскользнула с металлического стола и повисла. Из рукава что-то вылетело и упало на пол.

Доктор наклонился, чтобы поднять упавший предмет.

– Не прикасайтесь! – резко сказал Бовуар, и доктор замер.

Надев резиновые перчатки, Бовуар поднял с каменного пола лист бумаги.

– Что это? – Настоятель сделал шаг к Бовуару.

Забыв о мертвом теле, доктор перегнулся через стол, привлеченный предметом в руке инспектора.

– Не знаю, – ответил Бовуар.

Доктор обошел стол, и четверо мужчин, собравшись в кружок, уставились на лист бумаги.

Пожелтевший, неправильной формы. Не фабричного производства. Плотнее, чем обычная бумага.

На листке замысловатым почерком были начертаны какие-то слова. Черные каллиграфические буквы. Без особых изысков.

– Не понимаю, что тут написано. Это латынь? – спросил Бовуар.

– Вроде бы.

Настоятель наклонился, прищурился.

Гамаш надел полукруглые очки и тоже склонился над бумагой.

– Похоже на страницу из старинной рукописи, – сказал он наконец и отступил назад.

На лице настоятеля появилось взволнованное выражение.

– Это не бумага. Пергамент. Ягнячья кожа. Видно по текстуре.

– Ягнячья кожа? – спросил Бовуар. – Вы используете ее вместо бумаги?

– Последние несколько сот лет уже не используем. – Настоятель не сводил глаз с листка в руке инспектора. – В тексте, по-моему, мало смысла. Наверное, это латынь, но не псалом, и не часослов, и не какой-то другой из известных мне религиозных текстов. Я могу разобрать только два слова.

– Какие? – спросил старший инспектор.

– Вот, – показал пальцем настоятель. – Похоже на «dies irae».

Доктор издал тихий звук, вроде как хмыкнул. Они посмотрели на него, но он уже замолчал.

– И что это значит? – спросил Бовуар.

– Слова из заупокойной мессы, – ответил настоятель.

– В переводе означает «день гнева», – заметил Гамаш. – «Dies irae, dies illa», – процитировал он. – «День гнева, день скорби»[23].

– Верно, – подтвердил настоятель. – В заупокойной мессе «dies irae» и «dies illa» стоят рядом. Но здесь «dies illa» нет.

– О чем это вам говорит, отец Филипп? – спросил Гамаш.

Поразмыслив, настоятель ответил:

– О том, что тут не заупокойная месса.

– А что думаете об этой записи вы, брат Шарль? – спросил Гамаш.

Доктор сосредоточенно наморщил лоб, глядя на пергамент в руке Бовуара. Потом покачал головой:

– К сожалению, ничего.

– Никто из вас раньше ее не видел? – гнул свое Гамаш.

Доктор посмотрел на настоятеля – тот еще некоторое время разглядывал слова на листке, а после отрицательно помотал головой.

Наступила пауза. Наконец Бовуар показал на лист:

– А это что такое?

И снова все склонились над пергаментом.

Над каждым словом виднелись крохотные чернильные закорючки. Похожие на маленькие волны. Или крылья.

– Я думаю, это невмы, – сказал отец Филипп.

– Невмы? – переспросил Гамаш. – Что такое невмы?

Настоятель посмотрел на него с явным недоумением:

– Знаки музыкальной нотации.

– Я такого никогда не видел, – вставил Бовуар.

– И не могли увидеть. Их не используют уже тысячу лет.

– Не понимаю, – пробормотал Гамаш. – Вы хотите сказать, что этому листку тысяча лет?

– Не исключено, – ответил отец настоятель. – Наверное, именно

поэтому мы и не можем прочесть текст. Возможно, перед нами хорал, в котором используется старая форма латыни.

Но это прозвучало как-то неуверенно.

– Говоря «хорал», вы имеете в виду григорианские песнопения? – спросил старший инспектор.

Настоятель кивнул.

– А здесь не григорианский хорал? – Гамаш показал на лист.

Настоятель снова покачал головой:

– Не знаю. Тут дело в словах. Они на латыни, но они не имеют смысла. Григорианские песнопения следуют очень старым, устоявшимся правилам и почти всегда используют тексты псалмов. А здесь не псалом.

Отец Филипп погрузился в привычное молчание.

Гамаш решил, что в настоящий момент из пожелтевшего листа пергамента больше ничего не вытянешь, и обратился к доктору:

– Прошу вас, продолжайте.

В течение следующих двадцати минут брат Шарль раздевал брата Матье, снимая одежду слой за слоем вопреки трупному окоченению.

Наконец доктор закончил, и на столе осталось лежать обнаженное тело.

– Сколько лет исполнилось брату Матье? – спросил Гамаш.

– Могу показать его историю болезни, – сказал доктор. – Но помнится, что ему было шестьдесят два.

– На здоровье он не жаловался?

– Почти нет. У него несколько увеличена простата, чуть больше нормы содержание простатического антигена, но мы следили за этим. Как видите, у него излишек веса – фунтов тридцать. В основном за счет живота. Но тучностью он не страдал, и я предлагал ему больше заниматься физическими упражнениями.

– Каким образом? – спросил Бовуар. – В фитнес-центр он вряд ли мог записаться. Он что, истовее молился?

– Если и молился, – ответил доктор, – то вряд ли он стал первым, кто решил, что можно похудеть с помощью молитвы. Но вообще-то, зимой мы организуем две хоккейные команды. В НХЛ нас, конечно, не возьмут, но играем мы очень неплохо. И довольно азартно.

Бовуар уставился на брата Шарля, словно тот говорил на латыни. Это было уму непостижимо. Монахи, азартно играющие в хоккей? Он представил их на льду замерзшего озера. Развевающиеся на бегу рясы. Столкновения.

Христианство с бицепсами.

Наверное, эти люди вовсе не такие странные, как ему казалось прежде.

Или же пристрастие к хоккею делает их еще более странными.

– А он? – спросил старший инспектор.

– Что – он? – ответил вопросом на вопрос доктор.

– Стал брат Матье уделять больше времени физическим упражнениям?

Брат Шарль посмотрел на мертвое тело, лежащее на столе, и отрицательно покачал головой, потом встретился взглядом с Гамашем. И снова в глазах монаха засверкали веселые искорки, хотя голос звучал скорбно:

– Приор не принадлежал к тем людям, которые прислушиваются к советам.

Гамаш продолжал смотреть в глаза монаха, и тот, смутившись, закончил:

– В остальном он на здоровье не жаловался.

Старший инспектор кивнул и перевел взгляд на обнаженное тело. Ему хотелось узнать, нет ли раны на животе брата Матье.

Но никакой раны он не увидел – только дряблую, посеревшую кожу. На теле покойника, если не считать раздробленного черепа, не обнаружилось ни одного повреждения.

Гамаш пока не обнаружил той последовательности ударов, что завершились последним и роковым, размозжившим череп приора. Но он их непременно найдет. Такие вещи не происходят ни с того ни с сего. Обязательно отыщутся затянувшиеся ранки, синяки, уязвленные чувства. Оскорбления и унижения.

И тогда старший инспектор возьмет след. И непременно выйдет на того, кто нанес смертельный удар.

Старший инспектор Гамаш посмотрел на лежащий на столе желтый плотный лист пергамента. С завитками – как там они называются?

Невмы.

И с практически нечитаемым текстом.

Кроме двух слов.

«Dies irae».

День гнева. Из заупокойной мессы.

Что пытался сделать приор в час своей смерти? Как он действовал, когда жить ему оставались считаные мгновения? Почему не написал на мягкой земле имя убийцы?

Почему вместо этого брат Матье засунул поглубже в рукав исписанный лист пергамента и свернулся в клубок, защищая его всем телом?

Что говорят эти невмы и словесная бессмыслица? Не слишком много. Если не считать того, что брат Матье умер, пытаясь их защитить.

Глава седьмая

Стул рядом с отцом Филиппом остался незанятым.

Много лет, десятилетий, сидя в общем зале для братии, настоятель видел Матье по правую руку от себя.

Теперь он старался не поворачивать голову вправо. Смотрел прямо перед собой. В лица обитателей монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

А они смотрели на него.

Ждали ответов.

Информации.

Утешения.

Ждали, что он скажет им что-то. Хоть что-нибудь.

Встанет между ними и их ужасом.

А он продолжал смотреть перед собой. Не находил слов. Он накопил их немало за прошедшие годы. Целый склад мыслей, впечатлений и эмоций. Невысказанного.

Но вот когда ему потребовались слова, его склад оказался пуст. Темен и холоден.

На нем не осталось ничего.

Старший инспектор Гамаш подался вперед, уперев локти в потертую столешницу и машинально переплетя пальцы.

Напротив него сидели Бовуар и капитан Шарбонно. Оба с открытыми блокнотами, готовые доложить старшему инспектору о своих находках и наблюдениях.

После осмотра тела Бовуар и Шарбонно опросили монахов, сняли у них отпечатки пальцев, выслушали их первоначальные показания. Наблюдали за реакцией. Собирали впечатления. Знакомились с их приблизительными перемещениями.

Пока они этим занимались, старший инспектор Гамаш обыскал келью убитого. Она была почти точной копией кельи настоятеля. Та же узкая кровать. Тот же комод. Но его алтарь был посвящен святой Цецилии Римской. Гамаш не слышал про эту святую, но сделал себе заметку узнать про нее.

В комоде лежала еще одна мантия, смена нижнего белья, ботинки. Ночная рубаха. Молитвенник и псалмы. И больше ничего. Ни одной личной вещи. Ни фотографии, ни писем. Ни родителей, ни сестер,

ни братьев. Что ж, наверное, его отцом был Господь, а матерью – Богородица. А монахи – братьями. В конечном счете немалая семья.

Но вот кабинет приора оказался настоящей золотой жилой. Правда, там не обнаружилось ничего такого, что могло бы дать подсказку следствию. Ни окровавленного камня, ни записок с угрозами, ни писем. Ни убийцы, готового признаться в преступлении.

Зато Гамаш нашел здесь использованные гусиные перья и чернильницу. Он положил их в целлофановые пакетики и сунул в сумку к другим вещдокам.

Находка показалась ему важной. Ведь текст на том листе старого пергамента, выпавшем из мантии приора, был написан гусиным пером и чернилами. Но чем больше размышлял старший инспектор, тем менее существенной представлялась ему эта связь.

Велика ли вероятность того, что приор, регент, всемирный авторитет в григорианских песнопениях, вдруг решил написать нечто неудобочитаемое? Настоятель и доктор с недоумением смотрели на эти латинские слова и закорючки, называемые невмами.

Это больше напоминало творение малообразованного, неумелого любителя.

К тому же написанное на древней бумаге. Пергаменте. Ягнячьей коже. Растянутой и высушенной, вероятно, много столетий назад. В столе приора обнаружилось много бумаги, но ни кусочка пергамента.

Тем не менее Гамаш уложил в сумку с вещдоками и перья, и чернильницу. На всякий случай.

Еще он нашел нотные записи. Много-много листов музыки.

Книги, наполненные музыкой и историей музыки. Научные труды о музыке. Но музыкальные пристрастия этого истинного католика нельзя было назвать всеохватными.

Потому что приора интересовало только одно: григорианские песнопения.

На стене висел простой крест с распятым Христом. А вокруг распятия и под ним – море музыки.

Вот к чему пылал страстью брат Матье. Не к Христу, а к песнопениям, над которыми тот парил. Возможно, Христос и взывал к брату Матье, но под мелодию григорианских песнопений.

Гамаш прежде и представить не мог, что о хоралах столько написано или что о них можно столько написать. Пока не попал в эту комнату. Старший инспектор устроился за столом и в ожидании Бовуара и Шарбонно принялся читать.

В отличие от кельи, где пахло чистящей жидкостью, в кабинете пахло старыми носками, зловонной обувью и пыльными документами. Приор спал в своей келье, но жил он здесь. И Арман Гамаш начал смотреть на брата Матье просто как на Матье. Монаха. Дирижера. Даже гения. Но в первую очередь – человека.

Шарбонно и Бовуар наконец появились, и старший инспектор отложил книгу в сторону.

– Что вы нашли? – спросил он сначала у Шарбонно.

– Ничего, patron. Точнее, не нашел орудия убийства.

– Неудивительно, – сказал старший инспектор. – Но мы не могли не попытаться. Когда получим доклад коронера, будет ясно, чем его убили – камнем или чем-то другим. А что монахи?

– У всех взяты отпечатки пальцев, – сказал Бовуар. – И мы провели первичный опрос. После службы в семь тридцать они приступают к исполнению своих обязанностей. В монастыре… – Бовуар заглянул в свои записи, – четыре основные сферы деятельности: огород, скотный двор, ремонтные работы, которым конца нет, и готовка. Монахи специализируются в той или иной области, но у них происходит и ротация. Мы выяснили, кто чем занимался в интересующее нас время.

«Хорошо хоть, что время преступления мы знаем совершенно точно, – подумал Гамаш. – Не раньше окончания службы первого часа в четверть восьмого и не позднее восьми сорока, когда брат Симон обнаружил тело».

Двадцать пять минут.

– Есть что-нибудь подозрительное? – спросил он.

Оба полицейских отрицательно покачали головой.

– Все занимались своей работой, – сказал Шарбонно. – У всех есть свидетели.

– Так не бывает, – спокойно возразил Гамаш. – Не убил же брат Матье сам себя. Один из братьев занимался вовсе не тем, что ему поручили. По крайней мере, я надеюсь, что убийства ему не поручали.

Бовуар поднял бровь. Он допускал, что шеф шутит, но, вероятно, эту мысль стоило взвесить.

– Давайте попытаемся взглянуть на дело с другой стороны, – предложил старший инспектор. – Кто-нибудь из монахов говорил вам о каких-либо конфликтах в монастыре? Никто не рассорился с приором?

– Никто, patron, – сказал капитан Шарбонно. – По крайней мере, никто об этом не говорил. Они все казались искренне потрясенными. «Невероятно» – вот слово, повторявшееся постоянно. «Incroyable».

Инспектор Бовуар покачал головой:

– Они верят в непорочное зачатие, в воскресение, в прогулки по воде, в то, что некий старик с бородой парит в небесах и управляет миром, но считают невероятным то, что случилось у них в монастыре?

Гамаш несколько секунд хранил молчание, потом кивнул.

– Занятно, во что люди готовы верить, – согласился он.

И что они готовы совершить ради своей веры.

Как монах-убийца умудряется совмещать преступление и веру? Что в тихие минуты молитвы говорит убийца белобородому старику, парящему в небесах?

Не в первый раз спрашивал себя старший инспектор, почему монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу построили в такой глуши. И почему у него такие толстые стены. И такие высокие. И запертые двери.

Чтобы не впустить внутрь мирские грехи? Или чтобы не выпустить в мир чего-то похуже?

– Значит, монахи утверждают, что никаких конфликтов в монастыре нет, – сказал он.

– Никаких, – ответил капитан Шарбонно.

– Кто-то из них лжет, – заметил Бовуар. – Или лгут все поголовно.

– Есть и еще одна вероятность, – добавил Гамаш. Он подтянул к себе желтый пергамент с середины стола. Несколько секунд разглядывал его. – Может быть, убийство не имеет никакого отношения к приору. Может быть, никаких конфликтов и в самом деле нет. Может быть, его убили из-за этого.

Старший инспектор положил пергамент на стол. И опять представил себе тело таким, каким увидел его впервые. Свернувшееся клубком в темном углу ярко освещенного сада. Тогда он еще не знал, что в центре клубка скрыт лист пергамента. Словно косточка в персике.

Не здесь ли мотив преступления?

– Никто из монахов не заметил ничего странного сегодня утром? – спросил Гамаш.

– Ничего. Все вроде бы делали то, что и должны.

Старший инспектор кивнул и задумался.

– А брат Матье? У него какие обязанности?

– Находиться здесь, в своем кабинете. Работать над музыкой, – ответил Бовуар. – И тут выясняется один интересный факт. Брат Симон, секретарь настоятеля, говорит, что вернулся в кабинет настоятеля сразу после службы первого часа, потом ему нужно было заняться своей работой в animalerie[24]. Но по дороге туда он заглянул к приору.

– Зачем? – Гамаш выпрямился и снял очки.

– Чтобы передать просьбу настоятеля. Судя по всему, тот хотел встретиться с приором утром после одиннадцатичасовой мессы.

Эти слова странно звучали из уст Бовуара. «Настоятель», «приор», «монахи». Ну и ну!

Они уже ушли из словаря квебекцев. Перестали быть частью повседневности. Всего за одно поколение эти слова из уважаемых превратились в нелепые. А вскоре грозили исчезнуть полностью.

«Быть может, Господь на стороне монахов, – подумал Бовуар, – но время – явно нет».

– Брат Симон говорит, что, зайдя к приору передать просьбу настоятеля, он никого здесь не увидел.

– И заходил он сюда приблизительно в двадцать минут девятого, – сказал старший инспектор, делая запись в блокноте. – Интересно, для чего настоятель хотел встретиться с приором?

– А что тут удивительного? – спросил инспектор Бовуар.

– Убитый был правой рукой настоятеля. И мне кажется, что встречи настоятеля и приора должны были происходить регулярно, как у нас с тобой.

Бовуар кивнул. Каждое утро в восемь часов он встречался с шефом, они подводили итоги предыдущего дня и проводили ревизию всех дел, находящихся на расследовании в отделе.

Но вполне вероятно, что в монастыре действовал другой порядок. Да и отец Филипп мало походил на старшего инспектора.

И тем не менее не стоило сомневаться, что настоятель и приор регулярно встречались.

– Из чего следует, – сказал Бовуар, – что настоятель хотел поговорить с приором не о текущих монастырских делах.

– Возможно. Или о чем-то неотложном. Срочном. Возникшем неожиданно.

– Тогда почему не встретиться с приором немедленно? – спросил Бовуар. – Зачем ждать одиннадцатичасовой мессы?

Гамаш задумался.

– Хороший вопрос.

– Если приор не вернулся после службы первого часа к себе в кабинет, то куда он мог пойти?

– Может, он пошел прямо в сад? – предположил Шарбонно.

– Вполне вероятно, – сказал старший инспектор.

– Тогда почему секретарь настоятеля, брат Симон, не видел его? – спросил Бовуар. – В саду или в коридоре.

– Может быть, он и видел, – сказал старший инспектор. Он понизил голос и театральным шепотом сообщил Бовуару: – Может быть, он тебе солгал.

Бовуар ответил ему таким же громким шепотом:

– Монах? Солгал? Кто-то отправится в ад.

Он посмотрел на Гамаша с наигранной озабоченностью и улыбнулся.

Гамаш улыбнулся ему в ответ и потер лицо. Они собрали множество фактов. И наверное, немало вранья.

– Мы все время повторяем имя брата Симона, – сказал Гамаш. – Что мы знаем о его перемещениях сегодня утром?

– Сам он говорит вот что. – Бовуар перевернул несколько страничек в блокноте. – После службы первого часа, в четверть девятого, он вернулся в кабинет настоятеля, и настоятель попросил организовать ему встречу с приором после одиннадцатичасовой мессы. После чего настоятель пошел проверить готовность геотермальной системы, а брат Симон отправился на скотный двор. По пути он заглянул сюда. Приора здесь не оказалось, и брат Симон ушел.

– Факт отсутствия приора его не удивил? – спросил Гамаш.

– Не удивил и не озаботил. Приор, как и настоятель, волен распоряжаться своим временем.

Гамаш задумался на секунду.

– Что делал брат Симон после?

– Минут двадцать он работал на скотном дворе, потом вернулся в покои настоятеля, чтобы поработать в саду. Тогда-то он и обнаружил тело.

– У нас есть уверенность в том, что брат Симон ходил в animalerie? – спросил старший инспектор.

Бовуар кивнул:

– Его показания подтверждаются. Другие монахи видели его там.

– А не мог он уйти оттуда раньше? – спросил Гамаш. – Скажем, в половине девятого?

– Я задавал себе тот же вопрос, – ответил Бовуар, улыбнувшись. – Другие монахи из тех, что там работали, говорят, что это возможно. Они все занимались своими делами. Вот только вряд ли брат Симон успел бы сделать все, что он сделал, за меньшее время. А все свои работы он завершил.

– Какие именно? – спросил Гамаш.

– Выпустил кур из клеток, задал им свежего корма и воды. Почистил клетки. Тут никого не обманешь – нужно дело делать.

Гамаш что-то записал в своем блокноте.

– Когда мы пришли в кабинет настоятеля, дверь была заперта. Она обычно заперта?

Двое младших полицейских переглянулись.

– Не знаю, шеф, – сказал Бовуар и сделал себе заметку на память. – Выясню.

– Хорошо.

Похоже, это был важный вопрос. Если обычно дверь заперта, значит кто-то должен был впустить приора.

– Что еще? – спросил Гамаш, переводя взгляд с Бовуара на Шарбонно.

– Ничего, – ответил Бовуар. – Если не говорить о том, что я пытался наладить связь по этой хреновине, но она не работает. – Он раздраженно махнул рукой в сторону спутниковой тарелки, которую они притащили из самого Монреаля.

Гамаш глубоко вздохнул. Расследование в отдаленных точках всегда страдало из-за отсутствия связи. Они привозили современнейшее оборудование в примитивную среду и почему-то удивлялись, что оно не работает.

– Я еще попробую, – сказал Бовуар. – Телекоммуникационной вышки здесь нет, так что наши сотовые тоже не работают. Но сообщения на «Блэкберри» проходят.

Гамаш посмотрел на часы – начало пятого. По договоренности с лодочником у них оставался почти час. Расследование убийства всегда дело трудоемкое, но тут их подгоняли и особые обстоятельства: приближающийся вечер и договоренность с лодочником.

После захода солнца они окажутся прикованными к монастырю. Вместе с вещдоками и телом. А старший инспектор Гамаш никак не хотел этого.

Отец Филипп осенил собрание крестным знамением. Монахи перекрестились.

Потом настоятель сел. И они сели. Они, как тени, повторяли все его движения. Или как дети, подумалось ему. Более милосердные и, наверное, более прилежные.

Хотя некоторые из монахов были значительно старше настоятеля, они почитали его своим отцом. Вождем.

Он был далеко не уверен, что он хороший вождь. И уж конечно, он хуже Матье. Но никого другого у них теперь не осталось.

– Как вам известно, брат Матье умер, – начал настоятель. – Умер неожиданно.

Но дело обстояло еще хуже. Рождались новые слова. Выстраивались одно за другим. Рвались наружу.

– Его насильственно лишили жизни.

Перед последним словом отец Филипп сделал паузу.

– Убили.

«Давайте будем молиться, – подумал он. – Молиться. Петь. Закроем глаза и будем петь псалмы. Забудемся. Затворимся в наших песнопениях и наших кельях. И пусть полицейские делают свое дело».

Но отступить он уже не мог. Как не мог предложить им петь хоралы. Настало время для простых слов.

– К нам прибыла полиция. С большинством из вас они уже поговорили. Мы должны сотрудничать с ними. У нас не должно быть тайн от них. Это означает, что мы должны допустить их не только в наши кельи и на рабочие места, но и в наши мысли и души.

Произнеся эти необычные здесь слова, он заметил несколько кивков. Потом еще несколько. И на бесстрастных лицах, за которыми скрывалась паника, начало появляться понимание. Даже согласие.

Следует ли сказать больше? «Господь милосердный, – молча взмолился он, – должен ли я сказать больше?» Он и без того уже сказал немало. Нужно ли говорить об остальном? И что-то решать?

– Я отменяю обет молчания.

Раздался всеобщий вздох. Его братьев монахов словно лишили одежды, и они остались обнаженными, беззащитными.

– Это необходимо. Вам разрешается говорить. Не болтать. Не сплетничать. Но помогать этим офицерам найти истину.

Теперь на их лицах появилась тревога. Они не сводили с него глаз. Пытались поймать его взгляд.

И хотя ему было больно видеть их испуганные лица, он понимал, что их страх гораздо более естествен, чем то пустое выражение, которое он видел прежде.

И наконец настоятель сделал последний, необратимый шаг.

– Кто-то в нашем монастыре убил брата Матье, – сказал отец Филипп, чувствуя себя человеком, делающим шаг в пропасть. Он знал: проблема слов в том, что, когда они произнесены, взять их назад уже невозможно. – Кто-то из присутствующих здесь убил брата Матье.

Он хотел утешить их, а на самом деле сделал иное – оголил, погрузил в ужас.

– Один из нас должен признаться в преступлении.

Глава восьмая

Пора было отправляться.

– Вы все взяли? – спросил Гамаш у капитана Шарбонно.

– Все, кроме тела.

– Да, лучше его не забывать, – согласился старший инспектор.

Пять минут спустя двое полицейских вынесли из лазарета укрытое тело брата Матье на носилках. Гамаш перед этим искал доктора, брата Шарля, чтобы сообщить ему, что они забирают тело. Но не нашел. Нигде не было и отца Филиппа.

Он исчез.

Как исчез и секретарь настоятеля, неразговорчивый брат Симон.

Как и все монахи в темных мантиях.

Они все исчезли.

Монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу не только погрузился в тишину, но и опустел.

Когда они проносили тело через Благодатную церковь, Гамаш оглядел просторное помещение. Скамьи пустовали. Длинные скамейки для хора пустовали.

Даже игривый свет исчез. Радуги пропали.

Отсутствие света означало не просто темноту. Весь монастырь помрачнел, словно на исходе дня что-то собиралось. Если свет дарил радость, то сейчас образовавшуюся пустоту заполнило какое-то не менее яркое предчувствие беды.

«Равновесие, – думал Гамаш под отзвук шагов по плиточному полу церкви, когда они сопровождали убитого монаха. – Équilibre[25]. Инь и ян. Рай и ад». Такие противоположности имелись в каждой вере. Антитезы. Они и обеспечивали равновесие.

Прежде был день. А теперь наступал вечер.

Они вышли из церкви в последний длинный коридор. Гамаш видел тяжелую деревянную дверь в конце. Видел чугунную защелку.

Дверь была заперта. Но от кого?

Они добрались до конца, и старший инспектор зашел в маленькую каморку привратника. Но и там было пусто. Никаких следов молодого монаха, брата Люка. Только толстенная книга, которая в действительности содержала нечто большее, чем просто текст, – песнопения.

Музыка осталась, но монах исчез.

– Дверь заперта, шеф, – сказал Бовуар, заглядывая в каморку. – Входная дверь. Ключа тут нет?

Они осмотрели каморку, но ничего не обнаружили.

Шарбонно открыл смотровую щель и выглянул наружу.

– Вижу лодочника, – сообщил он, прижимая лицо к дереву, чтобы лучше видеть. – Лодочник на пристани. Глядит на часы.

Все полицейские тоже взглянули на часы.

Без двадцати пять.

Бовуар и Шарбонно посмотрели на Гамаша.

– Найдите монахов, – велел он. – Я останусь здесь с телом на случай, если вернется брат Люк. Отправляйтесь на поиски раздельно. У нас мало времени.

Неожиданное отсутствие монахов, поначалу казавшееся какой-то странной выходкой, грозило обернуться кризисом. Если лодочник отчалит, то они застрянут в монастыре.

– D’accord[26], – пробормотал Бовуар, хотя, судя по его виду, не ждал ничего хорошего. Вместо того чтобы отправиться назад по коридору, он подошел к шефу и прошептал: – Возьмите мой пистолет.

Гамаш покачал головой:

– Мой монах уже мертв. Угрозы от него никакой.

– Но есть и другие, – возразил Бовуар со всей серьезностью. – Включая того, кто это сделал. И того, кто запер нас здесь. Вы остаетесь один. Вам может понадобиться оружие. Пожалуйста.

– Что же будешь делать ты, mon vieux[27], если попадешь в переделку? – спросил Гамаш.

Бовуар ничего не ответил.

– Пусть уж лучше он останется у тебя. Только не забывай, Жан Ги: ты ищешь монахов, а не охотишься на них.

– Ищу, но не охочусь, – повторил Бовуар с напускной серьезностью. – Я вас понял.

Гамаш быстро прошел вместе с ними до конца коридора. Открыл дверь в церковь и заглянул внутрь. Свет здесь уже не играл – церковь заполнили длинные тени.

– Отец настоятель! – крикнул Гамаш, остановившись в дверях.

Впечатление было такое, будто он бросил внутрь церкви гранату. Властный голос старшего инспектора эхом отдался от каменных стен, усилился. Но Гамаш не вздрогнул от этого громкого звука, напротив, он прокричал снова:

– Отец Филипп!

По-прежнему ничего. Он отошел в сторону, и Бовуар с Шарбонно устремились внутрь.

– Быстро, Жан Ги, – сказал Гамаш пробегающему мимо Бовуару. – И будьте осторожны.

– Oui, patron.

Двое младших полицейских бросились в разных направлениях – Бовуар направо, Шарбонно налево. Гамаш стоял в дверях и смотрел, пока они не исчезли из виду.

– Allô! – снова прокричал Гамаш и прислушался.

Но единственный ответ вернулся к нему эхом собственного голоса.

Старший инспектор Гамаш заклинил церковную дверь, чтобы она не закрылась, а потом пошел по длинному коридору к запертой входной двери. И к телу, которое, словно подношение, лежало перед ней.

Намеренно заходить в тупик – такое противно человеческим инстинктам. Тупик – нечто, откуда нет выхода. Вся его полицейская подготовка, вся интуиция протестовала. Если что-то выскочит на него в коридоре, то выхода у него не будет. Он знал, что Бовуар именно поэтому и предложил ему оружие. Чтобы у него оставался хоть какой-то шанс.

Сколько раз на лекциях в академии, в разговорах с новичками он приказывал им: никогда, ни при каких обстоятельствах не позволяйте загнать себя в тупик.

И тем не менее он шел сюда. «Нужно будет серьезно поговорить с самим собой, – с улыбкой подумал он. – И устроить себе выволочку».

Жан Ги Бовуар вошел в длинный коридор. Точно такой же, как и все другие. Длинный, с высокими потолками и дверью в дальнем конце.

Вдохновленный Гамашем, Бовуар прокричал:

– Bonjour![28] Allô?

Перед тем как дверь закрылась, он слышал голоса шефа и Шарбонно. Произносящие в унисон одно и то же слово: «Allô?»

Дверь закрылась, и все знакомые голоса смолкли. Все звуки смолкли. Наступила тишина. Раздавался только стук Бовуарова сердца.

– Эй? – крикнул он чуть тише.

По обе стороны коридора находились двери. Бовуар поспешил вперед, заглядывая в комнаты. Столовая. Буфетная. Кухня. Нигде ни души. Единственный признак жизни – громадная кастрюля с гороховым супом, кипящим на плите.

Бовуар открыл последнюю дверь слева. И остановился. Замер. Потом

вошел внутрь, и дверь бесшумно закрылась за ним.

Капитан Шарбонно, идя по коридору, открывал одну за другой все двери. Совершенно одинаковые.

Тридцать дверей. По пятнадцать с каждой стороны.

Кельи. Он принялся кричать в каждую дверь: «Эй! Эй!», но вскоре понял, что это бесполезно.

Это явно было спальное крыло. С туалетами и душевыми посредине коридора и кабинетом приора в самом начале.

Большая деревянная дверь в дальнем конце была закрыта.

Кельи пустовали. Он понял это, сделав первые шаги по коридору. Ни одной живой души. Но он предполагал, что тут вполне могут обнаружиться души мертвых.

В первых нескольких кельях Шарбонно задержался, чтобы во исполнение служебного долга заглянуть под кровати, хотя и побаивался того, что может там увидеть.

Двадцать лет прослужил он в полиции. Повидал немало ужасов. Сталкивался со страшными происшествиями. Похищениями детей, нападениями, самоубийствами. Исчезновение двух дюжин монахов было далеко не самым страшным из всего, с чем ему приходилось сталкиваться.

Но уж самым сверхъестественным – точно.

Saint-Gilbert-Entre-les-Loups.

Святой Гильберт среди волков.

Кто дает монастырям такие имена?

– Отец настоятель? – нерешительно позвал Шарбонно. – Кто-нибудь?

Звук собственного голоса поначалу подействовал на него успокоительно. Естественный, знакомый звук. Но каменные стены изменили его. И то, что эхом возвращалось в его уши, казалось не совсем тем, что срывалось с губ. Похожим. Но не тем.

Монастырь изменил его голос. Взял его слова и усилил чувство. Страх. Отчего его голос звучал карикатурно.

Бовуар вошел в маленькую комнату. Здесь, как и в кухне, на плите стояла большая кастрюля, в которой что-то булькало. Вот только варился здесь не гороховый суп.

Запах от варева исходил какой-то горьковатый. Тяжелый. Аромат далеко не приятный.

Бовуар заглянул в кастрюлю.

Потом сунул палец в густую теплую жидкость. Понюхал. Оглянулся –

не видит ли кто – и облизнул.

Испытал облегчение.

В кастрюле оказался шоколад. Темный шоколад.

Бовуар никогда не любил темного шоколада. Считал его каким-то враждебным.

Он оглядел пустую комнату. Нет, не просто пустую. Брошенную. Шоколад в кастрюле тихонько булькал. Словно вулкан, размышлявший, извергнуться ему или нет.

На деревянном столе лежали маленькие горки горошин очень темного шоколада. Длинные ряды холмиков, похожих на крохотных монахов. Бовуар взял одну горошину, покрутил в руке.

Потом положил в рот.

Последние несколько минут Арман Гамаш осматривал коридор. Не спрятали ли монахи ключ где-то здесь? Но он не увидел тут ни растеньица в горшке, ни какого-нибудь коврика из тех, под какими прячут ключи.

Гамаш вынужден был признать, что это самое странное дело из сотен проведенных под его руководством расследований в отделе. Притом что каждому убийству сопутствовали некие странности. Более того, нормальное поведение подозреваемых в убийстве само по себе считалось странностью.

Но никогда на его глазах не исчезало целое человеческое сообщество.

Он подозревал, что они прячутся. В его практике случались попытки побега. Но никогда всеобщего. В монастыре остался всего один монах – тот, что лежал у его ног. Старший инспектор надеялся, что брат Матье по-прежнему является единственным мертвым монахом в монастыре Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Гамаш оставил поиски ключа и взглянул на часы. Время приближалось к пяти. С тяжелым сердцем он открыл смотровую щель и выглянул. Солнце стояло низко над горизонтом, уже касалось верхушек деревьев. Гамаш ощутил запах свежего воздуха, аромат соснового леса. И увидел то, что искал.

Лодочник все еще оставался у пристани.

– Этьен! – позвал Гамаш, приставив рот к щели. – Месье Лего!

Потом посмотрел в щель – лодочник не пошевелился.

Гамаш сделал еще несколько попыток, жалея, что не умеет свистеть таким пронзительным, громким свистом, как умеют другие.

Он пригляделся к лодочнику в лодке и понял, что тот удит рыбу.

Забрасывает блесну, крутит катушку. Забрасывает и крутит.

С бесконечным терпением.

По крайней мере, Гамаш надеялся, что терпение у рыбака бесконечное.

Оставив маленькую щель открытой, он отвернулся от двери и замер. Прислушался. Ничего не услышал. Он утешал себя тем, что, по крайней мере, не слышно лодочного мотора.

Гамаш продолжал вглядываться в коридор, спрашивая себя, куда делись монахи. Куда пропали его офицеры. Он гнал от себя образы, порожденные небольшим, но могущественным генератором, укоренившимся глубоко в его сердце и создающим страшные мысли.

Монстр под кроватью. Монстр в стенном шкафу. Монстр в тени.

Монстр в тишине.

Усилием воли старший инспектор прогнал эти видения, пропустил их мимо, словно они были водой, а он – камнем.

Чтобы чем-то себя занять, он вошел в каморку привратника – всего лишь небольшую нишу в каменной стене, с маленьким окошком, выходящим в коридор, узким столом и деревянной табуреткой.

По сравнению с монахами спартанцы купались в роскоши. Гамаш не увидел здесь никаких украшений, фотографий папы или архиепископа. Или изображений Христа. Или Богородицы. Даже календаря.

Один только камень. И одна-единственная толстая книга.

Гамаш едва мог тут повернуться, ему даже пришла в голову мысль, что придется выходить задом. Он отличался крупной комплекцией, а в те времена, когда возводился монастырь, монахи явно были мельче. Он окажется в дурацком положении, если появятся другие и обнаружат, что его заклинило тут в каморке.

Но этого не случилось, и Гамаш уселся на табуретку и попытался найти удобное положение. Прислонился спиной к одной стене, уперся коленями в другую. Для страдающих клаустрофобией такое место совсем не подходило. Жан Ги впал бы здесь в панику. Как впадал в панику Гамаш, оказавшись на высоком месте. У каждого свои фобии.

Гамаш взял с узкого стола старую книгу. Тяжелую книгу в мягком потрепанном кожаном переплете. Дата на титульном листе отсутствовала, буквы текста посерели. Повыцвели. Текст писался гусиным пером.

Старший инспектор вытащил из своей сумки книжку христианских медитаций, а из нее – лист пергамента, найденный на теле брата Матье и помещенный в эту книжку для лучшей сохранности.

Что, если этот пергамент выдрали из громадного манускрипта, лежащего у него на коленях?

Гамаш надел очки и чуть ли не в сотый раз принялся изучать листок. Снова и снова. Медленно. Пытаясь найти сходство. И различие.

Время от времени он поднимал голову и оглядывал пустой коридор. Прислушивался. Сейчас он хотел увидеть своих людей больше, чем монахов. Он больше не считал нужным смотреть на часы – в этом не было никакого смысла.

Когда Этьен решит уехать, Гамаш не сможет его остановить. Но пока он не слышал звука двигателя.

Гамаш начал листать хрупкие страницы книги.

Она оказалась собранием григорианских песнопений, написанных на латыни, с невмами над словами. Почерковед мог бы сказать больше, но Гамаш исследовал немало писем, а потому тоже имел кое-какой опыт.

На первый взгляд почерк на листочке мало чем отличался от почерка в книге. Простая форма каллиграфии. В отличие от витиеватых каракулей более поздних поколений эти письмена выглядели четкими, аккуратными, изящными.

Но кое-что не совпадало. Малозаметные вещи. Завиток здесь, хвостик на букве там.

Песнопения в книге и на вырванном листке были написаны разными людьми. Это было несомненно.

Гамаш закрыл книгу и занялся пожелтевшим листком. Но теперь он рассматривал не слова, а завитки над ними.

Настоятель сказал, что это невмы. Музыкальная нотация, которая использовалась тысячу лет назад. До появления нот и нотного стана, скрипичного ключа и диеза существовали невмы.

Но что они означали?

Гамаш не знал толком, зачем снова их разглядывает. Не то чтобы он вдруг стал понимать их смысл.

Он целиком и полностью сосредоточился на древних значках, пытаясь понять их, и тут ему почудилось, что он слышит музыку. Он так часто слышал записи григорианских песнопений в исполнении монахов, что эти звуки запечатлелись в его мозгу.

И, глядя на невмы, он слышал их мягкие мужские голоса.

Гамаш медленно опустил страничку, снял очки.

Посмотрел в длинный-длинный коридор. Он по-прежнему слышал пение.

Низкое, монотонное. И оно приближалось.

Глава девятая

Гамаш оставил тело и книгу и пошел на звуки пения, которые привели его в Благодатную церковь. Теперь голоса неслись отовсюду – из стен, пола, балок. Словно само здание состояло из невм.

Старший инспектор озирался на ходу, задерживая взгляд в темных углах церкви, быстро воспринимая все, что доступно глазу. Он дошел почти до самого центра, когда увидел их. И остановился.

Монахи вернулись. Они вереницей выходили из отверстия в стене церкви. Склоненные головы скрыты под белыми капюшонами. Руки скрещены на груди и спрятаны в широких черных рукавах.

Одинаковые. Безликие.

Ни кусочка открытой кожи или волос. Ничто не свидетельствовало о том, что перед ним существа из плоти и крови.

Двигаясь вереницей, монахи пели.

Вот так и звучали невмы, извлеченные из книги.

Знаменитый хор монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу распевал молитвы. Григорианские песнопения. Хотя эти звуки слышали миллионы, но созерцать поющих монахов могли единицы. Да что говорить, насколько было известно старшему инспектору, он первым увидел, как монахи поют в своей церкви.

– Нашел их, – услышал Гамаш у себя за спиной.

Он повернулся, и Бовуар с улыбкой кивнул в сторону алтаря и монахов:

– Можете не благодарить.

Он выглядел так, будто у него гора с плеч свалилась, и Гамаш улыбнулся – он тоже чувствовал облегчение.

Жан Ги остановился рядом со старшим инспектором и посмотрел на часы:

– Пятичасовая служба.

Гамаш покачал головой и чуть не застонал. Какой же он глупец! Каждый квебекец, родившийся до того, как церковь растеряла свой авторитет, знал, что существует пятичасовая служба и любой живой монах к пяти непременно придет в церковь.

Это не объясняло, куда исчезли монахи, но объясняло, почему они вернулись.

– Где капитан Шарбонно? – спросил Гамаш.

– Там. – Бовуар показал в дальний угол церкви, позади вереницы монахов.

– Оставайся здесь, – сказал Гамаш и двинулся в ту сторону, где как раз открылась дверь и появился офицер Квебекской полиции.

Шарбонно выглядел точно так же, как и сам Гамаш, придя в церковь.

Взволнованный, настороженный, подозрительный.

И в последнюю очередь ошеломленный.

Капитан Шарбонно увидел Гамаша и кивнул, потом резво двинулся вдоль стены, огибая монахов, но не сводя с них глаз.

Они занимали свои места у деревянных скамей – в два ряда по обе стороны алтаря.

Наконец свое место занял последний монах.

Настоятель, подумал Гамаш. Он ничем не отличался от остальных в своей простой мантии, подпоясанной веревкой, но старший инспектор знал, что видит отца Филиппа. Его выдавали манеры, движения. Что-то выделяло его.

– Откуда они появились? – спросил вполголоса Шарбонно, подойдя к Гамашу.

– Вон оттуда. – Гамаш показал на стену.

Капитан посмотрел туда, но не увидел ничего, кроме сплошной каменной стены. Он перевел взгляд на Гамаша, но тот ничего не стал объяснять. Не мог объяснить.

– Нам нужно выбираться отсюда, – сказал Бовуар.

Он шагнул было к монахам, но шеф остановил его:

– Подожди немного.

Настоятель занял свое место, и пение смолкло. Монахи остались стоять. Абсолютно неподвижно. Лицом друг к другу.

Полицейские тоже стояли лицом к монахам. Ждали знака от Гамаша. А он смотрел на монахов, на настоятеля. Смотрел пронзительным взглядом. Наконец он принял решение:

– Принесите, пожалуйста, тело брата Матье.

Бовуар удивился, но вышел вместе с Шарбонно, и вскоре они вернулись с носилками.

Тут монахи одним согласованным движением скинули капюшоны с головы, но остались стоять, глядя перед собой.

Нет, догадался Гамаш. Они не смотрят. Глаза у них закрыты.

Они молились. Безмолвно.

– Идемте со мной, – прошептал Гамаш и медленным шагом пошел по самой середине церкви.

Монахи, хотя и пребывали в состоянии транса, не могли не слышать их приближение. Звука их шагов. Наверное, посторонний звук совершенно выбивает их из колеи, догадался старший инспектор.

С момента возведения этих стен более трех веков назад никто не нарушал их службы. Один и тот же привычный ритуал. Знакомый, уютный. Предсказуемый. Приватный. Никогда во время службы они не слышали иных звуков, кроме тех, что производили сами.

До этого мгновения.

Мир нашел их и проник к ним сквозь брешь в толстых стенах. Брешь, пробитую преступлением. Но Гамаш знал, что не он один нарушает святость и приватность их жизни. То же самое сделал и убийца.

Насильственное деяние, совершенное сегодняшним утром в саду, стало причиной многих нарушений их быта. В том числе и появления старшего инспектора из отдела по расследованию убийств.

Гамаш поднялся на две каменные ступени и остановился. Он жестом велел Бовуару и Шарбонно опустить тело на плиточный пол перед алтарем.

Снова воцарилось молчание.

Гамаш прошелся взглядом по рядам монахов – не косит ли кто на него глазом. И конечно, заметил такого.

Секретарь настоятеля. Брат Симон. На его каменном лице застыло строгое, даже высокомерное выражение. Глаза оставались приоткрытыми. Его разум не полностью отдавался молитве, не полностью – Господу. Потом Гамаш увидел, что глаза брата Симона закрылись.

Гамаш знал, что это ошибка. Останься брат Симон с полуоткрытыми глазами, у Гамаша могли бы возникнуть лишь подозрения, но теперь появилась абсолютная уверенность.

Едва заметное движение век выдало брата Симона вернее любого крика.

Перед Гамашем было сообщество людей, общавшихся между собой каждый день и в течение всего дня. Не только словами. Самый крохотный жест имел смысл и значение, которые остались бы незамеченными в бурном и шумливом мире за стенами монастыря.

Да и сам Гамаш ничего такого не заметил бы, не будь он начеку. А сколько он уже упустил?

Все монахи открыли глаза. Одновременно. И уставились. На него.

Гамаш внезапно почувствовал себя выставленным напоказ. Глупое ощущение. Его словно застукали там, где он не должен находиться. Например, в алтаре во время службы. Рядом с мертвецом.

Старший инспектор взглянул на настоятеля – единственного

из монахов, не смотревшего сейчас на него. Его холодные голубые глаза были прикованы к подношению Гамаша.

К брату Матье.

Следующие двадцать пять минут офицеры полиции сидели бок о бок на скамье для прихожан, пока монахи служили вечерню. Вместе с монахами они садились, вставали, кланялись и садились. Снова вставали. И садились. И преклоняли колени.

– Знал бы – поел бы что-нибудь более калорийное, – пробормотал Бовуар, вставая в очередной раз.

Монахи, если не молчали, исполняли григорианские песнопения.

Жан Ги Бовуар снова сел на жесткую деревянную скамью. Он очень редко бывал в церкви. Иногда на свадьбах, хотя квебекцы нынче предпочитали просто жить вместе. Главным образом бывал он в церквях на похоронах. Но и похороны случались все реже, по крайней мере в церквях. Даже пожилые квебекцы, умирая, завещали похоронить их без церковного отпевания, с гражданской панихидой в похоронном бюро.

Воскресить их похоронное бюро, конечно, не могло. Но зато оно их ни разу не обмануло.

«Милостивый Господь, – молча молился Бовуар, – пусть это поскорее закончится».

Потом монахи встали и начали новое песнопение.

«Черт побери!» – подумал Бовуар, вставая на ноги. Рядом с ним встал и шеф, положив свои большие руки на спинку скамьи перед собой. Правая его рука слегка подрагивала. Дрожала чуть-чуть, еле видимо, но заметно у человека столь сдержанного, стоявшего так неподвижно. Шеф не пытался скрыть тремор. Но Бовуар обратил внимание, что капитан Шарбонно скосил глаза на Гамаша и заметил эту красноречивую дрожь.

Знает ли капитан причину этой дрожи?

Его так и подмывало отвести Шарбонно в сторону и устроить взбучку, чтобы не пялился. Он хотел, чтобы капитан знал: эта дрожь – не признак слабости. Напротив.

Но он не сделал этого. Он научился сдержанности у Гамаша.

– Жан Ги, – прошептал Гамаш, не сводя глаз с монахов, – брат Матье был регентом хора, так?

– Oui.

– Кто же дирижирует хором после его смерти?

Бовуар помолчал несколько секунд. Теперь, вместо того чтобы отбывать время, слушая, как тянется бесконечное, невыносимое, скучное

пение, он начал прислушиваться, приглядываться.

На скамьях монахов осталось пустое место. Точно напротив места настоятеля.

Там, судя по всему, прежде стоял, сидел, кланялся и молился человек, который сейчас лежал у их ног. Он вел хор по лабиринтам этих скучных песен.

Бовуар днем забавлял себя мыслью, уж не собственными ли руками сотворил приор насилие над собой. Забил себя камнем до смерти, лишь бы не присутствовать на очередной выносящей мозги мессе.

Только так инспектор удерживался от желания броситься с криком на одну из каменных колонн в надежде, что от удара по лбу он на какое-то время потеряет сознание и не будет слышать этой тягомотины.

Но теперь его жаждущий работы мозг занялся решением задачи.

Гамаш задал ему хороший вопрос.

Кто дирижирует хором сейчас, когда дирижер умер?

– А что, если никто? – прошептал он после двухминутного наблюдения за монахами. – Они, вероятно, знают эти мелодии наизусть. Разве они не повторяют каждый день одно и то же?

Все эти песнопения, на его взгляд, мало чем отличались одно от другого.

Гамаш покачал головой:

– Я так не думаю. Песнопения меняются от мессы к мессе, ото дня ко дню. Дни праздников, дни святых и всякое такое.

– Вы имеете в виду, et cetera?

Шеф слегка улыбнулся и посмотрел на него внимательнее.

– И тому подобное, – сказал Гамаш. – Ad infinitum[29].

– Уже лучше. – Бовуар немного помолчал. – Вы разбираетесь в том, о чем говорите?

– Знаю кое-что, хотя и не много, – признал старший инспектор. – Я знаю достаточно о хорах, чтобы понимать: они не могут дирижировать сами собой, как не может обходиться без дирижера симфонический оркестр, сколько бы раз они ни исполняли ту или иную вещь. Руководитель все равно необходим.

– Разве настоятель не руководит ими? – спросил Бовуар, посмотрев на отца Филиппа.

Старший инспектор тоже остановил взгляд на высоком стройном человеке в монашеской мантии. Кто на самом деле руководит этими монахами? Вот о чем спрашивали себя Гамаш и Бовуар, когда в очередной раз поклонились и сели. Кто руководит ими в эти минуты?

Раздался звон колокола «Ангелус», его низкий, сочный звук разнесся над деревьями и озером.

Вечерня закончилась. Монахи поклонились распятию и гуськом двинулись прочь от алтаря. Гамаш и его люди наблюдали за этим, стоя у своих скамеек.

– Взять ключ у того молодого монаха? – Бовуар показал на брата Люка.

– Через секунду, Жан Ги.

– Но лодочник…

– Если он еще не отчалил, то никуда не денется.

– Откуда вы знаете?

– Потому что его одолевает любопытство, – ответил Гамаш, изучая монахов. – Ты не хочешь подождать?

Монахи спускались со ступеней алтаря и, разделяясь на две вереницы, уходили из церкви вдоль стен. «Да, – подумал Бовуар, стрельнув взглядом в Гамаша, – я подожду».

Теперь, когда монахи опустили капюшоны и подняли голову, Гамаш мог видеть их лица. Одни из них, видимо, недавно плакали, другие выглядели настороженными, третьи – усталыми и взволнованными. У некоторых на лице было написано любопытство, словно перед ними разворачивался спектакль.

Гамаш не вполне доверял своим ощущениям. Столько сильных эмоций рядилось здесь совсем в иные одеяния. Тревога могла выглядеть виной. Облегчение – весельем. Глубокая и безутешная скорбь часто не проявлялась никак. Те, кого мучили сильные страсти, могли выглядеть бесстрастными, лицо не выражало ничего, а в душе бушевали эмоции.

Старший инспектор оглядел эти лица и остановился на двух.

Первый – молодой привратник, впустивший их в монастырь. Брат Люк. Гамаш видел большой ключ на веревке-поясе молодого монаха.

Люк казался самым бесстрастным из всех. Но он явно был расстроен, когда их впускал.

Потом Гамаш обратил взгляд на мрачного секретаря настоятеля. Брата Симона.

Печаль. От монаха исходили волны печали.

Не вина, не скорбь, не гнев или траур. Не ira и не illa.

Чистая печаль.

Брат Симон смотрел на алтарь. На двух все еще остававшихся там людей.

На приора и настоятеля.

По кому он так сильно печалился? По какому человеку? Или он печалится по самому монастырю? Печалится о том, что Сен-Жильбер-антр-ле-Лу потерял больше чем человека. Что он сбился с предначертанного пути.

Отец Филипп помедлил перед большим деревянным крестом, низко поклонился. Он остался один перед алтарем. Если не считать тела приора. Его друга.

Несколько секунд настоятель оставался в поклоне.

Не дольше ли, чем обычно, спрашивал себя Гамаш. Может быть, ему слишком трудно снова распрямиться, повернуться лицом к наступающему вечеру, следующему дню, следующему году, остатку жизни? Может быть, сила тяжести слишком велика для него?

Настоятель медленно выпрямился. Он даже как будто расправил плечи, вытянулся во весь рост.

Потом повернулся и увидел нечто, чего не видел никогда прежде.

Людей на скамьях для прихожан.

Отец Филипп не знал, откуда вообще в Благодатной церкви взялись скамьи для прихожан. Они стояли здесь, когда он появился в монастыре сорок лет назад, и они останутся здесь, когда забудут даже память о нем.

Он никогда не задавался вопросом, зачем в закрытом монастыре эти скамьи.

Настоятель нащупал у себя в кармане четки, и его пальцы задвигались сами по себе. Четки давали ему утешение, которого он тоже никогда не оспаривал.

– Старший инспектор… – сказал он, сходя с алтарных ступеней.

– Отец Филипп… – Гамаш слегка поклонился. – К сожалению, нам придется увезти тело. – Он показал на приора, потом повернулся и кивнул Бовуару.

– Понятно, – кивнул настоятель, хотя прекрасно знал, что ничего не понимает. – Ступайте за мной.

Он подал знак брату Люку, и тот поспешил вперед, а настоятель и старший инспектор направились в сторону коридора, ведущего к запертым дверям. Следом за ними двинулись Бовуар и капитан Шарбонно с носилками.

Бовуар услышал за собой какой-то шаркающий звук и оглянулся.

Монахи, выстроившись в два ряда, шли за ними, словно длинный черный хвост.

– Мы пытались найти вас раньше, отец настоятель, – сказал Гамаш. –

Но не смогли. Где вы пропадали?

– В собрании.

– А где находится собрание?

– Собрание – это и место, и событие, старший инспектор. Зал для собраний расположен вон там. – В последний момент перед выходом в коридор настоятель махнул рукой на стену Благодатной церкви.

– Я видел, как вы оттуда появлялись, – сказал Гамаш. – Но мы искали дверь и не смогли найти.

– Она находится за памятной плитой в честь святого Гильберта.

– Потайная дверь?

На лице настоятеля появилось озадаченное выражение, вопрос Гамаша немного удивил его.

– Потайная не для нас, – ответил он наконец. – Все знают о ней, тут нет тайны.

– Тогда почему эта дверь спрятана?

– Потому что всем, кто должен о ней знать, известно, что она там, – ответил настоятель, глядя не на Гамаша, а на закрытую дверь впереди. – А те, кому не следует о ней знать, не должны ее найти.

– Значит, она скрыта намеренно, – настойчиво продолжал Гамаш.

– Да, намеренно, – согласился настоятель. Они подошли к запертой двери, ведущей в большой мир, и тут отец Филипп взглянул в глаза Гамашу. – Если нам понадобится спрятаться, то у нас есть где.

– Но зачем вам прятаться?

Настоятель едва заметно улыбнулся. В его улыбке был намек на снисходительность.

– Уж вы-то в первую очередь должны это понимать, старший инспектор. Дело в том, что мир не всегда добр. Нам всем иногда необходимо безопасное место.

– Но как оказалось, бояться вам нужно не внешнего мира, а того, что внутри, – заметил Гамаш.

– Да, вы правы.

Гамаш задумался на секунду.

– Значит, вы спрятали дверь в ваш зал для собраний в стене церкви?

– Не я ее там сделал. Монастырь воздвигли задолго до моего появления здесь. Первые монахи. Времена были другие. Жестокие. Тогда монахам и в самом деле приходилось прятаться.

Гамаш кивнул и посмотрел на толстую деревянную дверь перед ними. Выход в большой мир. Дверь оставалась прежней, хотя прошли века.

Он знал, что настоятель прав. В те времена, когда срубили огромное

дерево, из которого сотни лет назад сделали эту дверь, люди запирались на засов не по традиции, а по необходимости. Реформация, инквизиция, междоусобные войны. В те времена католики подвергались преследованиям. А угроза, как и сегодня, нередко таилась внутри.

В Европе в домах священников имелись тайные ходы. Ради возможности спастись выкапывались туннели.

Некоторые спаслись в немыслимой дали – в Новом Свете. Но даже этого было недостаточно. Гильбертинцы[30] ушли еще дальше. Пропали в одном из белых пятен на карте.

Исчезли.

Чтобы появиться более трех столетий спустя. На радио.

Голоса ордена, считавшегося давно исчезнувшим, услышали сначала немногие. Потом – сотни, потом тысячи и сотни тысяч. Благодаря Интернету миллионы людей прослушали необычные короткие записи.

Записи песнопений в исполнении монахов.

Эти записи стали сенсацией. Вскоре григорианские хоралы в их исполнении обрели известность во всем мире. De rigueur[31]. Считалось, что интеллигенция, специалисты и, наконец, простые люди непременно должны слушать эти записи.

Хотя голоса монахов-гильбертинцев звучали повсюду, никто их не видел. Но наконец их нашли. Гамаш помнил собственное удивление, когда стало известно, где живут эти монахи. Он полагал, что они обретаются на каком-нибудь отдаленном холме во Франции или в Испании. В крохотном древнем разрушающемся монастыре. Оказалось – нет. Записи сделал орден монахов, обосновавшийся прямо у него под боком, в Квебеке. И не какой-нибудь известный орден. Не трапписты, не бенедиктинцы, не доминиканцы. Нет. Обнаружение этих монахов удивило даже Католическую церковь. Записи сделал орден монахов, который церковь считала исчезнувшим. Гильбертинцы.

Но они нашлись здесь, в глуши, на берегу далекого озера. Они не исчезли, они исполняли песнопения, столь древние и прекрасные, что сумели разбудить какие-то первобытные чувства в миллионах людей по всему свету.

Люди стали приезжать в монастырь. Одни из любопытства. Другие – отчаянно жаждая обрести тот мир, что вроде бы обрели монахи. Но эти «врата», изготовленные из дерева, срубленного сотни лет назад, выдержали напор. И не открылись чужакам.

Пока не настало сегодня.

Тяжелые двери открылись, чтобы впустить полицейских, а сейчас вот-вот должны были открыться снова, чтобы их выпустить.

Привратник вышел вперед, держа большой черный ключ. По еле заметному знаку настоятеля он вставил ключ в скважину. Легко повернул – и дверь открылась.

Через прямоугольник дверного проема хлынуло заходящее солнце, его красные и оранжевые лучи отражались в спокойной, чистой глади озера. Леса уже погрузились в темноту, низко над водой кружили, перекликаясь, птицы.

Но гораздо более величественное зрелище являл собой перепачканный машинным маслом лодочник. С сигаретой в зубах он сидел на пристани. Удил рыбу.

Он помахал, увидев открывшуюся дверь, и старший инспектор помахал ему в ответ. Потом лодочник поднялся на ноги, повернувшись обширным задом к монахам. Гамаш подал знак Бовуару и Шарбонно, и те с носилками пошли первыми. После чего на пристань двинулись Гамаш с настоятелем.

Остальные монахи остались внутри, сгрудившись у открытой двери. Вытягивали шею, чтобы увидеть, что происходит.

Настоятель поднял голову к небесам, испещренным красными полосами, и закрыл глаза. Не в молитве, подумал Гамаш, но словно наслаждаясь. Получая удовольствие от этих бледных лучей, ласкающих его лицо. Получая удовольствие от неровной, непредсказуемой земли, по которой ступал.

Потом он открыл глаза.

– Спасибо, что не прервали вечерню, – сказал он, не глядя на Гамаша, но продолжая наслаждаться окружающим миром.

– Не за что.

Отец Филипп сделал еще несколько шагов:

– И спасибо, что принесли Матье в алтарь.

– Не за что.

– Не знаю, поняли ли вы, что дали нам возможность прочесть специальную молитву – заупокойную.

– Я сомневался, – признал старший инспектор, тоже любуясь зеркальной гладью озера. – Но мне показалось, что я слышал «Dies irae».

Настоятель кивнул:

– И «Dies illa».

День гнева. День скорби.

– Монахи скорбят? – спросил Гамаш.

Их шаг замедлился, они почти остановились.

Старший инспектор ждал мгновенного ответа, реакции потрясенного человека. Но настоятель задумался.

– Матье не всегда был уживчивым. – Он улыбнулся своим воспоминаниям. – Да и не существует, наверное, людей, всегда и со всеми уживающихся. Мы должны быть терпимыми друг к другу – вот одно из первых правил, которое мы узнаем, становясь монахами.

– А что происходит, если вы нарушаете это правило?

Отец Филипп снова помолчал. Гамаш понимал, что, несмотря на простоту вопроса, ответ на него далеко не прост.

– Подобное нарушение может привести к очень дурным последствиям, – сказал настоятель. Он говорил, не глядя на Гамаша. – Такое случается. Но мы научаемся поступаться собственными чувствами ради большего блага. Мы научаемся жить в ладу друг с другом.

– Но не обязательно любить друг друга, – заметил Гамаш.

Он знал, что и в Квебекской полиции дела обстоят таким образом. Он не любил кое-кого из своих коллег. И знал, что эти чувства взаимны. На самом деле слова «не любил» были эвфемизмом. Это чувство трансформировалось из несогласия в неприязнь, потом – в недоверие. И продолжало усиливаться. Пока не переходило во взаимную ненависть. Гамаш не знал, во что оно будет развиваться дальше, но мог себе представить. Тот факт, что он ходил в подчиненных у таких людей, лишь усугублял ситуацию. Требовал от них, чтобы они хотя бы временно изобрели какой-нибудь способ сосуществования. Либо так, либо разорвать друг друга и саму полицейскую службу в клочья. Подставляя лицо восхитительным солнечным лучам, Гамаш в который уже раз подумал, что подобный вариант развития событий не исключается. И хотя в тишине раннего вечера его служебные заботы казались такими далекими, Гамаш знал, что тишина не продлится долго. Скоро наступит ночь. И лишь глупец встречает ее неподготовленным.

– Кто мог это сделать, отец Филипп?

Они остановились на пристани, наблюдая, как лодочник и полицейские закрепляют укрытое тело брата Матье в лодке, рядом с уловом окуня и форели и извивающимися червями.

И опять настоятель задумался.

– Не знаю. Должен бы, но не знаю.

Он оглянулся. Монахи высыпали за дверь и выстроились полукругом, наблюдая за ними. Брат Симон, секретарь настоятеля, вышел на два шага вперед.

– Бедняга, – еле слышно произнес настоятель.

– Вы о ком?

– Что?

– Вы сказали «бедняга». Кого вы имели в виду? – спросил Гамаш.

– Того, кто сделал это.

– А кто это сделал, отец Филипп?

У Гамаша создалось впечатление, что, произнося слово «бедняга», настоятель смотрел на одного из монахов. На брата Симона. На печального монаха. Того, кто вышел вперед, отделившись от остальных.

Последовало несколько мгновений напряженной тишины – настоятель изучал свою паству, а Гамаш смотрел на настоятеля. Наконец отец Филипп снова перевел взгляд на старшего инспектора.

– Я не знаю, кто убил Матье. – Он покачал головой и устало улыбнулся. – Я и в самом деле поверил, что смогу посмотреть на них сейчас и сказать, кто это сделал. Что он будет чем-то отличаться от остальных. Или от меня. Что я это увижу. – Настоятель издал смешок. – Эго. Гордыня.

– И?.. – спросил Гамаш.

– И ничего не получилось.

– Не переживайте. Со мной такое тоже случается. Я говорю себе, что вот посмотрю на кого-то и сразу же узнаю в нем убийцу. Ничего не выходит, но я не оставляю попыток.

– А что бы вы стали делать, если бы получилось?

– Простите, не понял.

– Что, если бы вы посмотрели на кого-то и признали в нем убийцу?

Гамаш улыбнулся:

– Я бы не стал доверять себе. Наверное, подумал бы, что это лишь мое воображение. И потом, вряд ли мне удалось бы убедить судью, если бы я сказал: «Я просто знаю».

– Вот в чем разница между нами, старший инспектор. Вам в вашей работе нужны доказательства. А мне – нет.

Настоятель снова огляделся, и Гамаш спросил себя, что происходит сейчас между ними: пустячный разговор или что-то более серьезное. Собравшиеся полукругом монахи продолжали смотреть на них.

Один из них убил брата Матье.

– Что вы ищете, отец Филипп? Доказательств вам, может, и не требуется, но без знака не обойтись. Какой знак на их лицах вы пытаетесь найти? Выражение вины?

Настоятель покачал головой:

– Я не искал вину. Я искал боль. Вы хоть представляете себе, как он страдал, пойдя на убийство? И как он страдает сейчас?

Старший инспектор снова пробежал взглядом по их лицам, наконец посмотрел на человека, стоявшего рядом с ним. И Гамаш действительно увидел боль на лице одного из монахов. На лице отца Филиппа. Настоятеля.

– Вы знаете, кто убийца? – снова спросил Гамаш тихим голосом. Таким тихим, что его слышали только настоятель и свежий осенний воздух. – Если знаете, то должны мне сказать. Я ведь так или иначе его найду. Это моя работа. Но процесс ужасен. Ужасен. Вы не представляете, какие подспудные страсти он может разбудить. А когда пойдет настоящая работа, она уже не остановится, пока убийца не будет найден. Если в ваших силах избавить от страданий невинных людей, я прошу вас сделать это. Скажите мне, кто он, если знаете.

Эти слова снова приковали внимание настоятеля к крупному человеку, стоящему перед ним. Легкий ветерок шевелил седеющие волосы, чуть вьющиеся за ушами старшего инспектора. Но в остальном Гамаш оставался неподвижен. И тверд.

Его темно-карие глаза смотрели задумчиво.

С добротой.

И отец Филипп поверил Гамашу. Старшего инспектора привезли в монастырь, допустили внутрь, чтобы он нашел убийцу. Чего всегда и ждали от старшего инспектора. И он почти наверняка хорошо знал свое дело.

– Я бы сказал вам, если бы знал.

– Мы готовы! – крикнул Бовуар с лодки.

– Bon.

Гамаш еще несколько секунд смотрел в глаза настоятеля, потом повернулся и увидел, что лодочник держит в мощной руке шнур, готовясь запустить двигатель.

– Капитан Шарбонно? – Гамаш жестом пригласил местного полицейского занять место в лодке.

– Нам бы хотелось сохранить конфиденциальность, – сказал Филипп.

– Боюсь, что не получится, отец. Новость, как и всегда, будет распространяться независимо от нас, – ответил Гамаш. – Может быть, вам самому следовало бы сделать заявление.

Он увидел отвращение на лице настоятеля и понял, что ничего подобного тот делать не будет.

– Au revoir, старший инспектор, – сказал отец Филипп, протягивая

руку. – Спасибо за вашу помощь.

– Не за что, – ответил Гамаш, отвечая на рукопожатие. – Но это еще не конец.

По кивку Гамаша лодочник дернул шнур, и мотор заурчал.

Бовуар бросил канат в лодку, и она отчалилила. Гамаш и Бовуар остались на пристани.

– Вы остаетесь? – недоуменно спросил настоятель.

– Да, мы остаемся. Либо я остаюсь с убийцей, либо вся наша работа теряет смысл.

Бовуар стоял рядом с Гамашем, и они вдвоем наблюдали, как маленькая лодка бежит по бухточке, залитой лучами заходящего солнца, и исчезает за поворотом.

Двое полицейских оставались на пристани, пока не стих звук двигателя.

Потом они повернулись спиной к большому миру и последовали за фигурами в мантиях в монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Глава десятая

Начало вечера Бовуар провел, оборудуя оперативный штаб в кабинете приора. Тем временем старший инспектор Гамаш читал протоколы допросов, а кое с кем из монахов поговорил подробнее.

Перед его мысленным взором стала вырисовываться картина. Насколько она точна, он не мог сказать, но картина получилась ясная, и, как ни удивительно, не обнаружилось никаких расхождений между показаниями монахов.

После пятичасовой утренней службы они позавтракали и подготовились к дневным трудам. В семь тридцать пришли на службу первого часа. Она закончилась в четверть девятого. И начался рабочий день.

Работу они выполняли самую разную, но для каждого она день ото дня по большей части оставалась неизменной.

Они трудились в саду или на скотном дворе. Делали уборку в монастыре, работали в архивах, занимались ремонтом. Готовили еду.

Каждый из монахов, как выяснилось, специализировался в своей области, будь то повар, садовник, инженер или историк.

И все они без исключения были великолепными музыкантами.

– Как так получается, Жан Ги? – спросил Гамаш, отрываясь от своих записей. – Они все замечательные музыканты.

– Вы меня спрашиваете? – раздался голос Бовуара из-под стола: он пытался подключить к сети ноутбук. – Может, простое везение?

– Простое везение будет, если тебе удастся подключить эту штуку, – сказал старший инспектор. – Мое мнение таково, что здесь работает что-то вроде агентства по найму.

– Надеюсь, вы не имеете в виду «божественное».

– Не совсем, хотя я бы и его не исключал. Нет, я думаю, что они получили приглашение.

Бовуар высунул из-под стола голову с темными растрепанными волосами:

– Что, как хоккейные игроки?

– Как ты, например. Я нашел тебя в хранилище улик. Помнишь, как ты там бездельничал?

Бовуар никогда не забывал этого. Его изгнали в подвал, потому что никто не хотел с ним работать. Нет, не из-за его некомпетентности – из-за

несносности. Хотя Бовуар предпочитал думать, что ему просто завидовали.

Его отправили в хранилище улик, потому что он мог работать только с мертвыми вещами.

Начальство хотело, чтобы он уволился. Ждало, что уволится. И, откровенно говоря, он уже созрел для увольнения, но тут появился старший инспектор Гамаш, которому для следствия понадобился какой-то из вещдоков в хранилище. А нашел он там агента Жана Ги Бовуара.

И пригласил его принять участие в расследовании.

Бовуар никогда не забудет того дня. Он взглянул тогда в глаза Гамашу, и дурацкая острота замерла у него на губах. Его так часто обдуривали, обманывали, оскорбляли, запугивали. Он не позволял себе надеяться, что сейчас с ним не разыгрывают очередную шутку. Новый поворот жестокости. Потому что Бовуар чувствовал, что умирает здесь, в подвале. А ведь он всегда мечтал быть офицером Квебекской полиции. И с каждым днем его мечта таяла.

Но вот пришел этот крупный человек со спокойными манерами и предлагает забрать его отсюда.

Спасти. Хотя они и не знакомы.

И агент Бовуар, поклявшийся никому больше не доверять, поверил Арману Гамашу. Это случилось пятнадцать лет назад.

Неужели эти монахи тоже получили предложение? Неужели их кто-то нашел? Даже спас? И привез сюда?

– Значит, вы считаете, что кто-то заманил их в этот монастырь? – спросил Бовуар, вылезая из-под стола и отряхивая брюки.

Гамаш улыбнулся и посмотрел на Бовуара поверх своих полукруглых очков:

– У тебя удивительный дар во всем находить что-то подозрительное, даже зловещее.

– Merci. – Бовуар плюхнулся на жесткий деревянный стул.

– Работает? – Гамаш кивнул на ноутбук.

Бовуар нажал несколько клавиш:

– Ноутбук работает, но в Интернет выхода нет.

Он продолжал без толку насиловать мастер подключения к Интернету.

– А не помолиться ли тебе? – предложил Гамаш.

– Я собирался помолиться, чтобы тут что-нибудь превратилось в еду. – Бовуар оставил попытки подключиться к Интернету. – Как вы думаете, когда у них обед?

Потом он вспомнил кое о чем и достал из кармана маленький пакетик вощеной бумаги. Положил его на стол и развернул.

– Это что? – спросил его шеф, приглядываясь.

– А вы попробуйте.

Гамаш взял шоколадную горошину своими длинными пальцами – она казалась в них микроскопической – и отправил в рот. Бовуар улыбнулся, увидев удивление и удовольствие на лице Гамаша.

– Черничный вкус?

Бовуар кивнул:

– Да, такие маленькие лесные ягоды. В шоколаде. У них тут поточное производство. Я нашел шоколадный цех, пока искал монахов. Похоже, эта находка получше, чем монахи.

Гамаш рассмеялся. Они вместе съели несколько шоколадных конфет. Гамаш не мог не признать, что ничего вкуснее в жизни не ел, а шоколад он любил и пробовал его немало.

– Какова вероятность того, что у всех двадцати четырех монахов, у всей честной компании, случайно оказались хорошие голоса?

– Очень низкая.

– И не просто хорошие голоса – великолепные. Причем такие, которые подходят друг к другу, сочетаются.

– Их, наверное, научили, – предположил Бовуар. – Их дирижер, убитый.

– Но ему требовался исходный материал. Я в музыке не эксперт, но даже я знаю, что выдающийся хор – не просто собрание прекрасных голосов. Голоса должны быть определенные, дополняющие друг друга. Гармоничные. Эти монахи оказались здесь не случайно. Я думаю, их специально подбирали для исполнения хоралов.

– Наверное, их специально вывели, – тихо произнес Бовуар, округлив глаза в притворном ужасе. – Наверное, тут какой-то заговор Ватикана. Может, такая музыка позволяет внедряться в мозги людей. Заманивать их назад, в церковь. Зомбировать.

– Боже мой, какая блестящая гипотеза! И такая очевидная. – Гамаш восторженно посмотрел на Бовуара.

Бовуар рассмеялся:

– Значит, вы думаете, что монахи специально отбирались?

– Не исключено. – Старший инспектор поднялся на ноги. – Продолжай работать в этом направлении. Хорошо бы все же установить связь с внешним миром. Я пойду поговорю с привратником.

– Почему с ним? – спросил Бовуар.

– Он здесь самый молодой и, вероятно, приехал самым последним.

– А убийства происходят, когда что-то меняется, – заметил Бовуар. –

Что-то спровоцировало убийство брата Матье.

– Оно наверняка вызревало какое-то время. Большинство убийств зреет годами. Но в конечном счете кто-то или что-то нарушает равновесие.

Этим и занимался Гамаш со своей командой. Они просеивали множество событий, чтобы найти одно, нередко очень незначительное с виду. Слово. Взгляд. Оскорбление. Ту последнюю каплю, что переполнила чашу. Что-то превратившее человека в убийцу. Но чтобы превратить в убийцу монаха, наверняка требовалось больше времени.

– А каково было самое последнее изменение? – спросил Гамаш. – Скорее всего, прибытие брата Люка. Вероятно, оно каким-то образом нарушило равновесие, гармонию в монастыре.

Шеф закрыл за собой дверь, и Бовуар вернулся к работе. Пока он пытался сообразить, какие тут нелады с соединением, мысли его вернулись к хранилищу вещдоков. К его аду. Но еще он думал о двери с надписью «Porterie»[32].

И о молодом человеке, сосланном туда.

Может, его ненавидели? Наверно, ненавидели, если упрятали в эту каморку. Все остальные работы в монастыре имели какой-то смысл. Кроме этой. Зачем у дверей, которые никогда не открываются, сажать привратника?

Гамаш шел по коридорам, то и дело встречая монахов. Он уже начал узнавать их, хотя пока не мог связать имена и лица.

Брат Альфонс? Брат Фелисьен?

На лицах монахов всегда отражалось спокойствие, руки они держали в рукавах, и Гамаш уже понял, что таковы монастырские правила. Встречаясь с ним, они неизменно ловили его взгляд и кивали. Кое-кто отваживался на едва заметную улыбку.

На расстоянии все они казались умиротворенными. Сдержанными.

Но в тот миг, когда они проходили мимо, Гамаш видел тревогу в их глазах. Мольбу.

О чем они молили? Чтобы он поскорее уехал? Остался? Помог? Или не вмешивался?

Когда он только появился здесь – всего несколько часов назад, – монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу предстал перед ним тихой гаванью. Местом умиротворения. Он казался удивительно прекрасным. Его аскетичные стены не обдавали холодом, а успокаивали. Дневной свет, преломленный старинным стеклом, разлагался на красный, фиолетовый, желтый. На отдельные цвета. Но все вместе они создавали какой-то

головокружительный эффект.

Как и сам монастырь. Он состоял из отдельных личностей. Каждый монах сам по себе был человеком исключительным, а вместе они становились блестящими.

Кроме одного. Тени. Наверное, необходимой, чтобы оттенять свет.

Проходя по Благодатной церкви, Гамаш встретил еще одного монаха.

Брат Тимоте? Брат Гийом?

Они обменялись кивками, и опять Гамаш уловил какое-то просительное выражение во взгляде безымянного монаха.

Наверное, каждый из них молил о чем-то своем, непохожем на желания других, обусловленные особенностями личности и характера.

Этот монах – брат Жоэль? – явно хотел, чтобы Гамаш убрался. Не потому, что боялся, а потому, что Гамаш превратился в ходячий билборд, рекламирующий убийство приора. И их несостоятельность как сообщества.

Они годились только на одно – служить Господу. Но монастырь пошел в противоположном направлении. И Гамаш стал тем восклицательным знаком, который заставил их посмотреть правде в глаза.

Старший инспектор повернул направо и двинулся по длинному коридору к закрытой двери. Он начинал ориентироваться в монастыре, даже чувствовать себя здесь как дома.

Монастырь имел форму креста с Благодатной церковью в центре.

Снаружи уже стемнело. Коридоры едва освещались. Возникало впечатление, что время уже к полуночи, но часы Гамаша показывали, что еще нет и половины шестого.

Дверь с надписью «Porterie» была закрыта. Гамаш постучал.

Подождал.

Изнутри раздался какой-то тихий звук. Шелест перевернутой страницы. Потом опять тишина.

– Я знаю, что вы здесь, брат Люк, – тихо произнес Гамаш, стараясь не походить на страшного серого волка.

Снова послышался шелест бумаги, и наконец дверь открылась.

Брат Люк был молод. Ему, вероятно, не исполнилось и двадцати пяти.

– Oui? – сказал монах.

И тут Гамаш понял, что впервые этот мальчик обратился непосредственно к нему. Пусть и одним коротким словом. Но Гамаш услышал, что голос у брата Люка насыщенный и бархатистый. Почти наверняка великолепный тенор. Если сам брат Люк казался худосочным, то сказать то же самое про его голос было никак нельзя.

– Мы могли бы поговорить? – спросил Гамаш.

Его собственный голос звучал ниже, чем у молодого монаха.

Брат Люк стрельнул глазами в одну, другую сторону, потом за плечо Гамаша.

– Я думаю, нас никто не услышит, – сказал старший инспектор.

– Oui, – повторил монах, сложив руки перед собой.

Это выглядело пародией на позу других монахов. В брате Люке не чувствовалось спокойствия. Молодой монах словно разрывался между двумя чувствами: он боялся Гамаша и в то же время испытывал облегчение, увидев его. Брат Люк хотел, чтобы старший инспектор ушел – и чтобы остался.

– Меня уже допрашивали, месье.

Его голос звучал прекрасно даже в разговорной речи. Какое же расточительство скрывать его за обетом молчания!

– Я знаю, – сказал Гамаш. – Я читал протокол. Вы находились здесь, когда нашли тело брата Матье.

Люк кивнул.

– Вы поете? – спросил старший инспектор.

В любой другой ситуации задавать такой вопрос подозреваемому было бы нелепо. Но не здесь.

– Мы все поем.

– Как давно вы в Сен-Жильбере?

– Десять месяцев.

Монах ответил не сразу, и Гамаш почувствовал, что молодой человек мог бы сказать ему, сколько дней, часов и минут прошло с того дня, когда за ним закрылась эта тяжелая дверь.

– Почему вы приехали сюда?

– Из-за музыки.

Гамаш не мог понять, намеренно ли брат Люк так лаконичен, или же молчание стало для него естественным состоянием, а речь – нет.

– Не могли бы вы отвечать подробнее, mon frère?

На лице брата Люка появилось раздражение.

Молодой человек, скрывающий вспыльчивый характер под мантией монаха. Столько всего таится в молчании! Но Гамаш знал, что большинство эмоций все равно прорывается наружу, в особенности гнев.

– Я слышал записи, – проговорил Люк. – Песнопения. Я готовился поступить в другой орден – на юге, у границы. У них тоже есть песнопения. Но не такие.

– Какие?

– Трудно сказать, в чем различие. – Выражение лица брата Люка изменилось, как только он подумал о музыке. То спокойствие, какое он выказывал прежде, было неискренним. – Услышав пение монахов из Сен-Жильбера, я понял, что ничего подобного в жизни не слышал. – Люк искренне улыбнулся. – Наверно, я должен бы сказать, что приехал сюда, чтобы быть ближе к Богу, но Бога я могу найти в любом монастыре. А вот таких песнопений ни в каком другом монастыре не найдешь. Только здесь.

– Смерть брата Матье, наверное, большая потеря.

Парень открыл было рот, но тут же закрыл. Его подбородок чуть отвис, эмоции почти прорвались наружу.

– Вы и представить себе не можете.

– Приор стал одной из причин, по которой вы приехали сюда?

Брат Люк кивнул.

– Вы останетесь? – спросил Гамаш.

Брат Люк опустил глаза на руки, теребившие мантию:

– Я не знаю, куда мне еще податься.

– Монастырь стал вашим домом?

– Мой дом – песнопения. А их дом здесь.

– Музыка настолько важна для вас?

Брат Люк наклонил голову и внимательно посмотрел на старшего инспектора:

– Вы когда-нибудь влюблялись?

– Влюблялся ли? – переспросил Гамаш. – Я и сейчас влюблен.

– Тогда вы меня поймете. Когда я услышал первую запись, я влюбился. У одного из монахов в моем прежнем монастыре оказался этот диск. Первые записи появились года два назад. Он зашел ко мне в келью и дал послушать. Мы оба пели в монастырском хоре, и ему хотелось узнать мое мнение.

– Каким же оно было, ваше мнение?

– Никаким. В первый раз в жизни у меня не возникло никаких мыслей. Одни чувства. Как только у меня выдавалось свободное время, я снова и снова слушал запись.

– И что с вами произошло?

– Что произошло с вами, когда вы влюбились? Разве вы в состоянии объяснить такое? Эта музыка заполнила пустые пространства, а я прежде даже не подозревал, что они пусты. Она излечила меня от одиночества, хотя я и не подозревал, что одинок. Она дала мне радость. И свободу. Вот это и есть самое удивительное. Я почувствовал себя порабощенным

и одновременно свободным.

– Вы ощутили экстаз? – спросил Гамаш, взвесив слова монаха. – Некое духовное переживание?

И опять брат Люк посмотрел на старшего инспектора:

– Не какое-то духовное переживание. Я испытывал их и прежде. Мы здесь все их испытывали, иначе не стали бы монахами. Это было вполне определенное духовное переживание. Не имеющее ничего общего с религией и с церковью.

– Что вы имеете в виду?

– Я встретился с Господом.

Гамаш позволил этим словам отзвучать.

– В музыке? – спросил он.

Брат Люк кивнул. Слов ему не хватило.

Жан Ги посмотрел на скринсейвер ноутбука. Потом на портативную спутниковую тарелку, которую они всегда брали с собой в такие глухие, отдаленные места.

Иногда она работала, иногда – нет.

Почему она работала, а почему нет, было для Бовуара великой тайной. Соединения он всегда делал одинаковые. Настройки тоже. Из раза в раз, во всех расследованиях.

А потом ждал, когда случится неизбежное. Или не случится.

– Merde[33], – пробормотал он.

Но пока еще у него оставался шанс. Он мог попытаться воспользоваться своим смартфоном «Блэкберри».

Он открыл дверь кабинета приора, выглянул. Никого не увидел.

Бовуар сел и большими пальцами обеих рук старательно набрал послание. Если раньше его электронные письма содержали по одному слову или знаку, то теперь – целые предложения. Он писал «вспять», а не «вс5». Никогда не пользовался смайликами или винками, предпочитал передавать свои чувства словами.

И делал это легко. С Анни. Его ощущения были неизменно ясными и очень простыми.

Он чувствовал себя счастливым. Он ее любил. Он скучал по ней.

И потом, если бы он и хотел использовать сокращения и символы, то еще никто не придумал таких, которые передали бы его чувства. Даже слова для этого плохо подходили. Но ничего лучше слов у Жана Ги не имелось.

Каждая буква, каждый пробел приближали его к ней и давали ему

не только радость, но и наслаждение.

Анни увидит то, что он создал для нее. Что написал.

Он писал, что любит ее. Писал, что тоскует без нее.

И она писала ему. Не просто ответы, но и собственные послания. О том, как провела день. Такой наполненный. И все же пустой – без него.

Она обедала с матерью, но все-таки дождется возвращения отца, чтобы рассказать обо всем им обоим одновременно.

«Возвращайся скорее», – писала она. «Я скучаю», – писала она. «Я тебя люблю», – писала она.

И он чувствовал ее присутствие. И ее отсутствие.

– И тогда вы приехали в монастырь Сен-Жильбер, – сказал Гамаш.

– Да, если говорить кратко, – ответил брат Люк. – Но у церкви все долго.

Он казался расслабленным, но, отклонившись от разговора о музыке, снова насторожился.

– Какова же полная версия ответа?

– Чтобы найти тех, кто делает эти записи, потребовалось какое-то время. Я думал, их орден расположен где-то в Европе.

– И все равно готовы были поехать туда?

– Если бы ваша любимая женщина жила во Франции, разве вы бы туда не поехали?

Гамаш рассмеялся. Молодой монах уложил его на лопатки. Точным, выверенным броском.

– Моя жена, – сказал старший инспектор. – Ради нее я отправился бы и в ад.

– Надеюсь, такой необходимости не будет.

– Она жила в районе Ошлага-Мезонёв[34]. Так вам, значит, пришлось поискать?

– Я обзавелся только компакт-диском, но без всяких исходных данных. Он у меня до сих пор лежит где-то в келье.

Гамаш тоже купил этот диск около года назад. И он тоже искал на нем выходные данные – хотел узнать про поющих монахов. Но ничего не нашел. Только перечень песнопений. На обложке компакт-диска было изображение идущих монахов в профиль. Изображение стилизованное, одновременно очень абстрактное и очень традиционное. Никаких сведений об авторах. У компакт-диска не было даже названия.

Диск выглядел и был любительским. Звук отдавался эхом и вибрировал.

– Как же вы про них узнали?

– Как и все остальные, я услышал по радио, что их нашли журналисты. Я никак не мог поверить. Все в моем монастыре были поражены. Не только потому, что поющие монахи оказались квебекцами, но главным образом потому, что они – гильбертинцы. Среди действующих орденов они не числятся. Согласно церковным архивам, гильбертинцы вымерли или погибли четыреста лет назад. Гильбертинских монастырей больше не существует. По крайней мере, все так считали.

– Но как вы здесь очутились? – гнул свое Гамаш.

Исторический экскурс он мог совершить и позднее.

– Отец настоятель посетил мой монастырь и услышал, как я пою… – Брат Люк неожиданно сконфузился.

– Продолжайте, – сказал Гамаш.

– У меня необычный певческий голос. С редким тембром.

– В чем это выражается?

– В том, что он подходит практически для любого хора.

– Вы гармонично сочетаетесь с остальными?

– Мы все поем одновременно одну и ту же ноту. Но разными голосами. Мы не то что гармонично сочетаемся друг с другом – мы во время пения должны пребывать в гармонии.

Гамаш задумался на секунду о тонкости различия, затем кивнул.

– Я и есть гармония.

Эти слова прозвучали так неожиданно, что старший инспектор вперился взглядом в молодого человека, облаченного в монашескую мантию. В человека, сделавшего такое тщеславное заявление.

– Как? Простите, но о чем вы?

– Поймите меня правильно: я вовсе не обязателен для хора. Компакт-диск тому доказательство.

– Тогда что же вы хотели сказать? – Старший инспектор подумал, что после такого заявления произносить слова смирения поздновато.

– Любой хор будет звучать лучше с моим участием.

Гамаш понял, что в словах молодого монаха нет ни гордыни, ни хвастовства. А только простая констатация факта. Монахи, наверное, научаются признавать не только свои неудачи, но и таланты. И не притворяются из ложной скромности, будто у них этих талантов нет.

Этот юноша не скрывал своего дара. И в то же время он скрывал свой голос. Приняв обет молчания. В монастыре, столь далеком от цивилизации. От публики.

Если только…

– Значит, на первом компакт-диске нет вашего голоса?

Люк отрицательно покачал головой.

– Но планировалось ли сделать другие записи?

Помолчав, брат Люк ответил:

– Oui. Брат Матье горел этим желанием. Он уже подобрал все песнопения для диска.

Гамаш вытащил из сумки лист пергамента:

– И здесь одно из них?

Монах взял лист у старшего инспектора. Сосредоточился. Замер без движения. Нахмурил брови. Наконец он покачал головой и вернул лист Гамашу:

– Не могу вам сказать, что я здесь вижу. Но могу сказать, чего не вижу. Не вижу григорианского хорала.

– Почему вы так уверены?

Люк улыбнулся:

– Песнопения пишутся по строгим правилам. Как сонет или хайку. Что-то вы должны делать, что-то – нет. Григорианским песнопениям свойственны строгость и простота. Готовность подчиняться правилам. И вдохновение, позволяющее подняться над ними. Вызов состоит в том, чтобы соблюдать правила и одновременно выходить за их ограничения. Петь Господу и одновременно не выставлять напоказ собственное «я». А это… – он показал на лист в руке Гамаша, – это просто чушь.

– Вы имеете в виду слова?

– Я не понимаю слов. Я говорю о ритме, метре. Он не отвечает требованиям. Слишком быстрый. Ничего похожего на григорианские песнопения.

– Но здесь есть эти завитушки. – Гамаш показал на значки над словами. – Невмы, верно?

– Да. Они-то меня и беспокоят.

– Беспокоят, брат Люк?

– Автор хотел, чтобы это выглядело как григорианское песнопение. По внешнему виду оно и есть песнопение. Но только самозваное. Где вы его нашли?

– На теле брата Матье.

Люк побледнел. Гамаш знал, что человек, как бы ни старался, не способен произвольно бледнеть и произвольно краснеть.

– О чем это вам говорит, брат Люк?

– О том, что приор умер, пытаясь защитить то, что ему дорого.

– Это? – Гамаш приподнял руку с листком.

– Нет, вовсе нет. Вероятно, он взял эту бумажку у кого-то. У кого-то, кто пытался превратить песнопения в шутку. Пытался сделать из них омерзение.

– Вы думаете, это был акт кощунства?

– Тот, кто это написал, достаточно хорошо знаком с григорианскими песнопениями, чтобы высмеивать их. Да, он сделал это осмысленно, как акт кощунства.

– Вы сказали, что автор достаточно хорошо знаком с песнопениями? Кто это, на ваш взгляд? – Гамаш посмотрел на молодого монаха.

Брат Люк не ответил.

Гамаш немного подождал, потом заговорил. Он знал, что иногда молчание бывает полезной тактикой, гораздо более действенной и угрожающей, чем обвинения и оскорбления. Но у здешних монахов молчание превратилось в утешение. Зато произнесенное вслух слово их почти пугало.

– Кто так сильно ненавидел брата Матье, что не остановился перед тем, чтобы высмеять дело его жизни? Кто ненавидел его настолько, чтобы убить?

Люк хранил молчание.

– Если все здешние монахи любят песнопения, то почему один из них издевается над ними? Создает то, что вы называете омерзением?

Гамаш поднял пергамент и чуть подался вперед. Люк слегка отпрянул, но тут же уперся в стену.

– Не знаю, – ответил он. – Знал бы – сказал.

Пристально посмотрев на брата Люка, старший инспектор решил, что тот, вероятно, говорит правду. Он любил песнопения и явно восхищался приором и уважал его. Брат Люк не стал бы защищать того, кто мог убить и приора, и песнопения. Пусть молодой монах не знает, кто убийца, но подозрения у него могут быть. Как сказал ранее отец Филипп, Гамашу требовались доказательства, а монаху – только вера. Верит ли брат Люк, что ему известно, кто убил приора и высмеивал песнопения? И неужели он настолько самонадеян, что считает, будто сможет разобраться с этим без посторонней помощи?

Продолжая смотреть в глаза монаху, старший инспектор жестко сказал:

– Вы должны помочь мне найти того, кто это сделал.

– Я ничего не знаю.

– Но подозреваете.

– Нет, неправда.

– Молодой человек, по этим коридорам ходит убийца. Здесь вместе

с нами заперт душегуб. Вместе с вами.

В глазах Люка промелькнул страх. Этот юноша целыми днями сидит один, и у него на поясе висит единственный ключ во внешний мир. Если убийца надумает бежать, то ему придется в буквальном смысле переступить через труп брата Люка. Понимает ли это молодой монах?

Старший инспектор слегка откинулся назад:

– Расскажите мне, что знаете.

– Я знаю только то, что не все довольны сделанной записью.

– Новой? Той, которую собирался сделать приор?

Брат Люк помолчал, потом отрицательно покачал головой.

– Прежней? Первой?

Брат Люк кивнул.

– И кто же?

На лице брата Люка появилось несчастное выражение.

– Ты должен сказать мне, сынок, – проговорил Гамаш.

Люк подался вперед. Чтобы прошептать. Его глаза обшаривали темный коридор. Гамаш тоже подался вперед. Чтобы услышать.

Но не успел брат Люк произнести и слово, как глаза его широко распахнулись.

– Вот вы где, месье Гамаш. Ваш инспектор сообщил, где вас искать. Я пришел пригласить вас на обед.

В нескольких футах от каморки стоял брат Симон, секретарь настоятеля. Руки спрятаны в рукавах, голова смиренно склонена.

Слышал ли он их разговор?

Глаза монаха-секретаря, похоже, никогда не закрывались полностью. Он видел все, да и слышал, наверное, тоже.

Глава одиннадцатая

Двое монахов принесли из кухни миски с молодой некрупной картошкой, сбрызнутой маслом и посыпанной луком. За этим последовали брокколи, пирог из тыквы и мясная запеканка. На длинном трапезном столе лежали доски для нарезки хлеба с теплыми французскими батонами – багетами. Монахи, сидевшие на длинных скамьях, молча передавали туда-сюда тарелки с сырами и маслом.

Но брали они очень помалу. Передавали миски и хлеб, но себе брали чисто символические порции.

У них отсутствовал аппетит.

Бовуар почувствовал себя в затруднительном положении. Ему хотелось положить себе в тарелку побольше всего, целую гору, чтобы за ней никого не видеть. Он хотел соорудить алтарь из пищи, а потом съесть его. Весь.

Когда до него дошло первое блюдо с запеканкой, пахучий сыр и тарелка с луком-пореем с ломкими, крошащимися верхушками, Бовуар оценил скромное количество еды на тарелках других монахов.

Затем загреб черпаком, сколько поместилось, и положил на свою тарелку.

«А ну, попробуй отбери», – подумал Бовуар. Судя по мрачному виду монахов, они вполне могли попытаться это сделать.

Настоятель нарушил тишину молитвой. После раздачи еды поднялся другой монах и подошел к аналою, откуда принялся читать из молитвенника.

В остальном же никто не произнес ни слова.

Ни слова о бреши, образовавшейся в их рядах. Об отсутствующем монахе.

Но брат Матье очень даже присутствовал, незримо витал над ними, как призрак. Пользуясь молчанием, он увеличивался в размерах, пока не заполнил собой все помещение.

Гамаш и Бовуар сидели не рядом. Их посадили по разным концам стола, словно детей, которым нельзя доверять.

К концу трапезы старший инспектор сложил салфетку и поднялся.

Брат Симон, сидевший напротив него, сделал движение, поначалу едва заметное, потом более энергичное, давая понять Гамашу, что он должен сесть.

Гамаш встретился взглядом с монахом и тоже сделал движение,

означавшее, что он понял знак, но все равно будет делать то, что ему нужно.

На другом конце стола Бовуар, увидев, что его шеф поднялся, тоже встал на ноги.

За столом воцарилась полная тишина. Прекратилось даже позвякивание приборов. Все вилки и ложки легли на стол или замерли в воздухе. Все глаза устремились на старшего инспектора.

Он медленно подошел к аналою и оглядел стол. Двенадцать монахов с одной стороны, одиннадцать с другой. Помещение и сообщество оказались разбалансированными.

– Меня зовут Арман Гамаш, – начал он в гробовой тишине. – Кое с кем из вас я уже знаком. Я старший инспектор отдела по расследованию убийств Квебекской полиции. Это мой заместитель, инспектор Бовуар.

Монахи, кажется, заволновались. И рассердились. На него.

Гамаш давно привык к подобным переменам. Монахи пока не готовы были обвинять убийцу в том, что их жизнь пошла кувырком, и поэтому винили полицию. И Гамаш почувствовал прилив симпатии к ним.

Если бы они только знали, как плохо все повернется…

– Мы прибыли, чтобы расследовать то, что случилось здесь сегодня утром. Убийство брата Матье. Мы благодарны вам за гостеприимство, но нам нужно нечто большее. Нам нужна ваша помощь. Я подозреваю, что тот, кто убил приора, не имел намерений причинить душевные страдания остальным. – Гамаш помолчал. Его голос стал дружелюбнее. Участливее. – Но в ходе нашего расследования вам не избежать душевных страданий, сильных страданий. То, что вы хотели бы сохранить в этих стенах, будет вынесено на публику. Взаимоотношения. Разлады. Все ваши тайны всплывут на поверхность, по мере того как мы с инспектором Бовуаром будем приближаться к истине. Я бы и рад уберечь вас от лишних переживаний, но это невозможно. Вам ведь тоже хотелось бы, чтобы брат Матье сидел сейчас с вами за обеденным столом.

Но, не успев произнести эти слова, Гамаш спросил себя, не ошибается ли он.

Хотели бы они, чтобы брат Матье снова оказался с ними? Или они хотят, чтобы он оставался мертвым? Он видел здесь искреннюю боль. Монахи были выбиты из колеи. Сильно расстроены.

Но о чем они скорбят на самом деле?

– Мы все знаем, что убийца сейчас находится среди нас. Он разделял с нами стол, преломлял хлеб. Слышал молитвы и даже сам молился. Я хочу сказать ему несколько слов.

Гамаш сделал паузу. Нет, он не любил никаких мелодраматических жестов, лишь надеялся, что его слова пробьют броню, в которую облачились монахи, – эти плащи молчания, благочестия и повседневности. Он предполагал пробиться через все это, дойти до их душ. До мягкой сердцевины.

– Полагаю, вы любите свой монастырь и не желаете вреда собратьям-монахам. Это никогда не входило в ваши намерения. Но как бы ни были деликатны мы с инспектором Бовуаром, ущерб монастырю будет нанесен немалый. Расследование убийства – катастрофа для всех, кто вовлечен в процесс. Если вы думаете, что убийство – худшее, что могло случиться, и оно уже позади, то вы ошибаетесь.

Гамаш говорил тихо, но властным, непререкаемым тоном. Казалось, что его устами глаголет истина.

– Но есть один способ предотвратить неизбежное. Всего один. – Гамаш сделал паузу. – Вы должны сознаться.

Он ждал, ждали и они.

Раздалось покашливание, и все глаза устремились к настоятелю, который поднялся на ноги. Глаза остальных монахов округлились от потрясения. Брат Симон тоже стал подниматься, но настоятель едва заметным жестом велел ему оставаться на месте.

Отец Филипп повернулся к своим собратьям. Если напряжение и прежде было велико, то теперь в воздухе словно затрещали грозовые разряды.

– Нет, – сказал настоятель, – мне сознаваться не в чем. Я хочу поддержать старшего инспектора. Я прошу, умоляю того, кто это сделал, сознаться.

Никто не шелохнулся, никто не произвел ни звука. Настоятель обратился к Гамашу:

– Мы будем сотрудничать с вами, старший инспектор. Я снял с них обет молчания. Возможно, вы почувствуете склонность монахов к молчанию, но оно больше ни для кого здесь не обязательно.

Он обвел взглядом остальных:

– Если кто-то из вас владеет важной для следствия информацией, вы не должны держать ее при себе. Никакие нравственные или духовные ценности не обязывают вас защищать виновного. Вы должны сообщить старшему инспектору все, что вам известно. Поверьте, они с инспектором Бовуаром разберутся, что имеет значение, а что – нет. Они знают свое дело. Мы молимся, работаем и созерцаем Бога. И поем во славу Бога. А эти люди, – он показал на Гамаша и Бовуара, – находят убийц.

Голос его звучал спокойно, буднично. Немногословный настоятель поймал себя на том, что произносит такие слова, как «убийцы». И продолжил:

– Наш орден прошел испытание столетиями. И вот перед нами еще одно. Истинно ли мы веруем в Господа? Верим ли мы в то, что говорим и поем? Или же мы верим потому, что нам так удобнее? Неужели в нашем замечательном уединении вера ослабела? И, сталкиваясь с каким-либо вызовом, мы выбираем самый легкий путь. Совершаем ли мы грех, продолжая молчать? Если наша вера истинна, то мы должны иметь мужество признаваться в своих грехах. Мы не должны защищать убийцу.

Один из монахов встал и поклонился настоятелю:

– Вы говорите, mon père, что наш орден прошел испытание временем, и это правда. Нас преследовали, изгоняли из наших монастырей. Заключали в узилища и сжигали. Мы оказались на грани исчезновения. Нас вынудили скрываться. И кто это делал? Власти, люди вроде них. – Он махнул в сторону Гамаша и Бовуара. – Они тоже заявляли, что действуют в интересах так называемой истины. Этот человек даже признал, что ради истины он разрушит покой нашего монастыря. И вы просите нас помогать им? Предоставлять им кров? Делить с ними трапезу? Мы не можем посетовать на отсутствие мужества, отец настоятель. А вот на отсутствие здравомыслия – да.

Монах принадлежал к молодому поколению братии – ему было лет сорок. Говорил он уверенным голосом, разумно, убедительно. Некоторые монахи кивали. А некоторые – их было немало – прятали глаза.

– Вы просите нас доверять им, – сказал монах. – Но почему?

Он сел.

Те братья, кто не рассматривал увлеченно стол перед собой, перевели взгляд с монаха, закончившего речь, на настоятеля и наконец – на Гамаша.

– Потому, брат, что у вас нет выбора, – сказал старший инспектор. – Как вы сказали, мы уже здесь. Дверь закрылась за нами, и последствия не подлежат сомнению. Мы с инспектором Бовуаром найдем того, кто убил брата Матье, и передадим в руки правосудия.

Послышался чей-то тихий смешок.

– Не Божественного правосудия, но все же лучшего из имеющихся на сегодняшний день в мире, – продолжил Гамаш. – Правосудия, установленного вашими согражданами-квебекцами. Потому что, нравится вам это или нет, вы не являетесь гражданами некоего возвышенного уровня бытия, не находитесь в юрисдикции некой священной власти. Мы все тут – вы, я, настоятель, лодочник, который доставил нас сюда, – граждане

Квебека. И мы подчиняемся законам нашей земли. Вы, конечно, можете также следовать нравственным законам вашей веры. Но я уверен, что эти законы одинаковы.

Гамаша охватило нескрываемое раздражение. Не потому, что ему бросили вызов, а из-за этой заносчивости, из-за этого высокомерного заявления о превосходстве и мученичестве, принятом на себя монахами. И ведь остальные поддержали этого монаха.

Правда, не все. Гамаш с неожиданной ясностью понял, что высокомерный монах оказал ему огромную услугу. И показал то, что прежде старший инспектор лишь неуверенно прозревал.

Монастырь превратился в разделенное сообщество, по дому монахов прошла трещина. И случившаяся трагедия не соединила их, а, напротив, только усугубила раскол. Гамаш знал: что-то обитает в образовавшейся расселине. И когда они с Жаном Ги вытащат это на свет божий, почти наверняка окажется, что оно не имеет никакого отношения к вере. Или к Богу.

Они оставили монахов в ошеломленном и таком привычном для них молчании и направились к Благодатной церкви.

– Ну вы и распалились, – сказал Бовуар, еле поспевая за широко шагающим Гамашем.

– Слава богу, ничего не сжег, – улыбнулся шеф. – Кажется, Жан Ги, мы очутились в единственном монастыре на земле, где не производят алкоголя.

Бовуар прикоснулся к руке шефа, чтобы замедлить его шаг, и Гамаш остановился посреди коридора.

– Вы, старый пройд…

Встретив взгляд Гамаша, Бовуар прервал себя на полуслове, но тоже улыбнулся.

– Значит, вы просто блефовали, – сказал он, понизив голос. – Я о вашей вспышке ярости. Вы хотели показать заносчивому монаху, что в отличие от настоятеля не позволите обращаться с собой как с половой тряпкой.

– Не то чтобы блефовал, но в общем ты прав. Я хотел показать другим, что этому монаху можно противостоять. Как его, кстати, зовут?

– Брат Доминик? Брат Дона́? Как-то так.

– Ты не знаешь, да?

– Совершенно запутался. Они все для меня на одно лицо.

– Узнай, пожалуйста.

Они двинулись дальше, сбавив скорость. Когда дошли до Благодатной

церкви, шеф остановился, оглянулся и, увидев, что коридор пуст, пошел по центральной оси церкви. Бовуар шествовал сбоку от него.

Они прошли мимо скамей, поднялись по ступеням, пересекли алтарь, и Гамаш сел на передней скамье для хора. На место приора. Гамаш это знал, потому что во время вечерни место пустовало. Оно находилось точно напротив места настоятеля. Бовуар сел рядом с шефом.

– Вы чувствуете, как на вас нисходит песня? – прошептал он, и Гамаш улыбнулся:

– Главная причина, почему я на них поднажал, заключается в том, что мне хотелось увидеть, как они будут себя вести. Их реакция показалась мне занятной. Ты так не считаешь, Жан Ги?

– Занятно, что монахи проявили такое самодовольство? Я предупрежу прессу.

Как и многие квебекцы его поколения, Гамаш не испытывал потребности в церкви. Она не стала частью его жизни, в отличие от прежних поколений. Католическая церковь не просто присутствовала в жизни его родителей, бабушек и дедушек – она главенствовала в их укладе. Священники говорили им, что нужно есть, что делать, за кого голосовать, что думать. Во что верить.

Церковь говорила им, что они должны больше рожать. Держала их в вечной беременности, бедности и невежестве.

Их били в школах, бранили в церкви, обманывали.

А когда после многих поколений покорности они наконец отвернулись от церкви, та обвинила их в неверности. Пригрозила им вечным проклятием.

Нет, Бовуар ничуть не удивился, что у монахов под внешним благочестием скрывалось лицемерие.

– Занятным мне показалось то, что они разделены, – сказал старший инспектор.

Его тихий голос эхом разнесся по церкви. Он понял, что они сидят в месте наилучшего восприятия. В самом его средоточии. Именно там, где стояли скамьи. Благодатная церковь создавалась для голосов. Она ловила их и отражала под идеальными углами. И даже шепот разносился отсюда по всей церкви.

Превращение, подумал Гамаш. Но не воды в вино, а шепота в слышимые слова.

Вот еще одно любопытное соображение: орден, принявший обет молчания, создал такое чудо акустики.

Это место плохо подходило для приватных разговоров. Но старшего

инспектора не волновало, слышат их или нет.

– Да, это бросается в глаза, – согласился Бовуар. – Внешне они такие спокойные, мирные, но скрывают в себе гнев. А тот монах просто ненавидит настоятеля.

– Хуже того, он его не уважает, – сказал Гамаш. – Бывает, что ты не дружишь с начальником. Но как минимум ты должен его уважать. Доверять ему. А тут просто открытое неповиновение. Публичное обвинение настоятеля в ошибке.

– Возможно, он в чем-то прав, – заметил Бовуар.

– Не исключено.

– И это сошло монаху с рук – настоятель его никак не одернул. А что бы сделали вы?

– Позволил бы я кому-то оскорблять меня? Ты явно ходишь в шорах. Такое происходит постоянно.

– Но если бы так поступил кто-нибудь из ваших подчиненных?

– Такое тоже бывало, и ты это знаешь. И я не увольняю их тут же. Я хочу знать, в чем причина. Для меня гораздо важнее добраться до корней.

– А какова причина в данном случае, по вашему мнению?

Хороший вопрос. Его задавал себе и сам Гамаш, когда, покинув трапезную, шел к церкви.

Было очевидно, что монастырь разделился. Что свершившееся убийство – не изолированное событие, а всего лишь последнее в ряду событий, развивающихся по нарастающей.

На приора напали, размозжили ему камнем голову.

Настоятель тоже стал объектом нападения. Словесного.

Одно убило мгновенно, другое убивало медленно. Возможно, и настоятель, и приор были жертвой одного и того же человека. Интересно, находились ли они по одну сторону границы? Или по разные? Гамаш перевел взгляд на место настоятеля, расположенное напротив.

Два человека одного возраста десятилетиями смотрели друг на друга.

Один возглавлял монастырь, другой – хор.

Когда утром в саду Гамаш отвел настоятеля в сторону для приватного разговора, у него создалось впечатление, что настоятель и приор были очень близки.

Близки той близостью, что официально не одобрялась церковью.

Гамаш не видел тут проблем. Напротив, он мог их понять и даже удивился бы, если бы монахи не находили утешения друг в друге. Он принимал такие отношения как нечто абсолютно естественное. Но ему хотелось знать, что послужило причиной раскола. С чего началась трещина.

Какой удар, слабый или нет, положил начало войне.

И еще он хотел знать, какие позиции занимали настоятель и приор. Шли ли они рука об руку? Или порознь?

Мысли старшего инспектора вернулись к словам молодого монаха, сказанным перед самым появлением брата Симона. Гамаш рассказал Бовуару об их разговоре.

– Значит, не все одобряли эту запись, – заметил Жан Ги. – Интересно почему? Она пользовалась огромной популярностью. Заработала для монастыря, наверное, целое состояние. Да так оно и есть. Новая крыша, новый водопровод. Геотермальная система. Просто невероятно. Как ни замечательны эти шоколадные конфетки, на доход от них не заработаешь на систему отопления.

– И брат Матье явно собирался сделать новую запись, – сказал Гамаш.

– Вы думаете, его убили, чтобы не допустить этого?

Гамаш немного помолчал, потом медленно повернул голову. Почуяв настороженность шефа, Бовуар тоже вгляделся в темноту. Благодатная церковь освещалась лишь свечами на стенах за алтарем. Все остальное погрузилось в темноту.

Но в темноте возникли какие-то небольшие белые пятна. Похожие на маленькие кувшины.

Постепенно очертания становились четче. И оказалось, что это монашеские одеяния. Белые капюшоны монахов.

Братья вернулись в церковь и теперь стояли в темноте. Смотрели.

И слушали.

Бовуар взглянул на Гамаша. На лице старшего инспектора гуляла слабая улыбка, заметная лишь тому, кто сидел рядом. А глаза его горели.

«Он не удивлен, – подумал Бовуар. – Нет, дело тут в другом. Он хотел, чтобы они пришли. Чтобы услышали наш разговор».

– Вы, старый пройд… – прошептал Бовуар, прикидывая, слышат ли монахи и эти его слова.

Глава двенадцатая

Бовуар лежал в кровати и чувствовал себя на удивление удобно. Жесткий односпальный матрас. Мягкие фланелевые простыни. Теплое одеяло. Сквозь открытое окно в комнату проникал свежий воздух, и Бовуар ощущал запах леса и слышал, как озерная вода плещет о скалистые берега.

В руке он держал смартфон. Ему пришлось отключить лампу для чтения, чтобы зарядить аккумулятор. Справедливый обмен. Свет на слова.

Он мог бы оставить телефон в кабинете приора, включить зарядное устройство в удлинитель.

Мог бы. Но не стал этого делать.

Ему захотелось узнать время, и он стукнул по клавише пробела своего спящего «Блэкберри», тот проснулся и сообщил ему, что пришло послание, а времени сейчас 9:33.

Послание пришло от Анни. Она вернулась с обеда у матери.

Это было веселое, многословное сообщение, и Жан Ги поймал себя на том, что с головой ушел в ее слова. Соединился с ней. Сидел рядом с ней и мадам Гамаш, ел омлет с салатом. Говорили о делах. Рейн-Мари сообщила дочери, что отец уехал в командировку. В отдаленный монастырь. Тот монастырь, что выпустил записи с песнопениями.

И Анни пришлось притворяться, что она слышит об этом впервые.

Она чувствовала себя ужасно, но эта таинственность доставляла ей удовольствие. И все же ей так хотелось рассказать все матери!

Бовуар уже написал Анни, когда пришел в свою спальню. То есть келью. Рассказал ей обо всем. О монастыре, музыке, записи, убитом приоре, оскорбленном настоятеле. Он старался, чтобы его слова не звучали легковесно или шутливо.

Он хотел, чтобы она почувствовала атмосферу. Хотел передать ей свои ощущения.

Он рассказал ей о бесконечных молитвах. Вечером в четверть восьмого началась еще одна служба. Послеобеденная. Но прежде монахи выслушали их с Гамашем разговор в Благодатной церкви.

Когда появились монахи, отец Анни встал, чуть поклонился, приветствуя их, и двинулся прочь. Размеренным шагом прошел по алтарю и через заднюю дверь проследовал к кабинету приора. Бовуар шагал бок о бок с шефом.

Пока они не вышли в коридор и не закрыли за собой дверь, Бовуар ощущал на себе взгляды монахов.

Он рассказал Анни о том, что он чувствовал тогда. А еще о том, что они вернулись в кабинет и следующие полчаса он провел в борьбе с ноутбуком, а ее отец тем временем разбирал бумаги приора.

Потом они услышали пение.

Когда они только приехали в монастырь, песнопения навевали на Бовуара одну лишь скуку. Теперь, сообщал он Анни, у него от этих песенок мурашки бегут по коже.

«А после, – отстучал Гамаш, – мы с Жаном Ги отправились в церковь. Еще одна служба. Называется повечерие. Нужно достать расписание всех их служб. Я тебе писал о чернике? Ах, как она тебе понравится, Рейн-Мари. Монахи покрывают ягоды приготовленным вручную темным шоколадом. Я тебе привезу, если останется. Боюсь, что Жан Ги слопает все. Я же, как всегда, являю собой образец сдержанности. Самоограничение, c'est moi»[35].

Он улыбнулся, предвкушая удовольствие жены, наслаждающейся шоколадными конфетками. Гамаш представил ее в их доме. Он знал, что на обед приходила Анни. Расставшись с Дэвидом, она каждую субботу обедала с ними. Сейчас она, наверное, уже ушла, и Рейн-Мари сидит в гостиной у огня, читает. Или сидит в комнате, где телевизор (в бывшей комнате Даниеля), и смотрит. Теперь там, помимо телевизора, стояли книжный шкаф и удобный диван с кипами газет и журналов.

«Пойду посмотрю Ти-ви-пять, – говорила она. – Документальный фильм о грамотности».

Но несколько минут спустя он слышал ее смех, шел по коридору и обнаруживал, что Рейн-Мари смеется над какой-то глупейшей квебекской комедией. Он тоже садился перед телевизором, и вскоре они оба начинали смеяться над грубоватым заразительным юмором.

Да, она наверняка сидит сейчас перед телевизором и смеется.

При этой мысли Гамаш улыбнулся.

«Я тебе клянусь, – писал Бовуар, – эта служба длилась целую вечность. И они поют каждое слово. Тянут и тянут. Мы тут даже подремать не успеваем. Они заканчивают одну службу и сразу начинают другую. Твой отец все время с ними. Мне кажется, он получает удовольствие. Такое возможно? Или он пытается насолить мне? Да, кстати, должен тебе рассказать, что он сделал с монахами».

«Повечерие прошло прекрасно, Рейн-Мари. Они его пропели от и до. Сплошной григорианский хорал. Представь себе Сен-Бенуа-дю-Лак[36], только еще красивее. Очень умиротворяет. Я думаю, частично это объясняется убранством церкви. Она такая простая. Без всяких украшений. Только большая памятная плита с описанием жизни святого Гильберта. А за доской потайная дверь».

Гамаш представил себе памятную плиту и потайной зал за дверью. Подумал, что нужно нарисовать план монастыря.

Затем он вернулся к своему посланию:

«Во время последней службы дня церковь погружается почти в полную темноту – только на стене за алтарем горят несколько ламп. Вероятно, лампы пришли на смену прежним факелам или свечам. Мы с Жаном Ги сидели на своей скамье в темноте. Можешь себе представить, сколько удовольствия получил Жан Ги. Из-за его смешков и хмыканья я почти не слышал пения.

С этими монахами явно что-то не так. Между ними какая-то вражда. Но когда они поют, то обо всем забывают. Они словно уходят в другое место. Более глубокое. Где нет разлада. Где царят согласие и мир. Наверное, там нет веселья. Но есть свобода. Они свободны от мирских забот. Тот молодой монах, брат Люк, описал это как отказ от всех мыслей. Интересно, можно ли это назвать свободой?

Но в любом случае песнопения прекрасны. Представляешь, каково это – услышать их вживую? Удивительно. А ближе к концу они начали постепенно гасить лампы, пока не наступила полная темнота. И из нее, будто свет, рождались их голоса.

Волшебно. Жаль, что тебя нет со мной».

«А потом, Анни, все это наконец завершилось. Когда свет снова зажегся, монахи уже куда-то подевались. Но один из них, хитрюга брат Симон, подошел к нам и сообщил, что пора спать. Мы вольны делать что хотим, но они все отправляются по своим кельям.

Твой отец, похоже, не имел ничего против. Мне кажется, он хотел, чтобы они всю ночь напролет думали об убийстве. Беспокоились.

Я нашел еще шоколадные конфетки с черникой и принес их в мою келью. Оставлю немного для тебя».

«Скучаю без тебя, – написал Арман. – Приятных тебе сновидений,

mon coeur»[37].

«Скучаю без тебя, – написал Жан Ги. – Merde! Все шоколадки исчезли! Не пойму, куда они делись».

Потом он перевернулся на другой бок, удерживая смартфон в руке. Но прежде отстучал в темноте последнее послание дня.

«Je t'aime».

Он тщательно завернул шоколадные конфетки и положил их в тумбочку. Для Анни. Потом закрыл глаза и крепко уснул.

«Je t'aime», – написал Гамаш и положил «Блэкберри» на прикроватный столик.

Старший инспектор Гамаш проснулся. Было еще темно, даже предрассветные птицы пока молчали. Кровать нагрелась под его телом, но стоило ему на миллиметр передвинуть ногу, как он попадал на холодную территорию.

Нос у него замерз. В остальном же он ощущал приятное тепло.

Он проверил время.

Десять минут пятого.

Что-то разбудило его? Какой-то звук?

Он прислушался. Представил себе монахов в крохотных кельях. Словно пчелы в сотах.

Спят ли они? Или кто-то из них не спит? Лежит всего в нескольких футах от Гамаша. Не может уснуть. Слышит громкий шум в ушах. Звуки и картины убийства не дают ему покоя.

Одному из монахов уж точно никогда больше не придется спать спокойно.

Если только…

Гамаш сел в кровати. Он знал, что убийца спит спокойно только в двух случаях. Если у него нет совести. Или если у него есть совесть и эта совесть и подтолкнула его к убийству. Нашептывала ему на ухо, подсказывала планы.

Как сумел этот человек, монах, убедить себя, что убийство не преступление, даже не грех? Как он может спать, если не спит Гамаш? Ответ один: он считает убийство оправданным.

Смерть по законам Ветхого Завета.

Побивание камнями.

Око за око.

Убийца мог считать, что совершает праведное дело. Если не в глазах людей, то в глазах Бога. Возможно, именно это напряжение Гамаш и чувствовал в монастыре. Напряжение не оттого, что случилось убийство, а оттого, что полиция дознается, кто его совершил.

За обедом один из монахов обвинил настоятеля в ошибке. Не в том, что он не смог предотвратить убийство, а в том, что вызвал полицию. Что, если тут не только обет молчания, но и заговор молчания?

Сон у старшего инспектора как рукой сняло.

Он спустил ноги с кровати, нашарил тапочки, надел халат, взял фонарик и очки и вышел из кельи. Не включая фонарика, постоял пару секунд посреди длинного коридора, посмотрел в одну сторону, в другую.

По обеим сторонам коридора шли ряды дверей, каждая вела в келью. Свет из-под порожков не проникал. Как и звук.

Здесь царили темнота и тишина.

Гамаш много раз ходил с детьми в павильоны смеха. Заглядывал в комнаты кривых зеркал, видел оптические иллюзии, создававшие впечатление, что вы стоите на наклонном полу, хотя тот оставался горизонтальным. Еще он бывал в темной комнате в парке развлечений, куда не проникали ни свет, ни звук.

Он помнил, как Анни крепко держалась за него своей ручонкой, как Даниель, невидимый в темноте, звал его, пока Гамаш не нашел своего сыночка и не прижал к себе. Самое сильное воздействие произвела именно эта комната, она ввергла детей в ужас, и они цеплялись за отца, пока он не вывел их на свет божий.

Именно такое ощущение оставлял сейчас монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. Место, где все искажено и где вы лишены зрения и слуха. Место беспробудной тишины и беспробудной тьмы. Где шепот превращается в крик. Где убивают монахов, где внешний мир заперт, словно он в чем-то провинился.

Монахи так давно жили в монастыре, что привыкли к нему. И все искажения они принимали за норму.

Старший инспектор глубоко вздохнул и взял себя в руки. Вероятно, он чересчур впечатлителен, оттого-то темнота и тишина так воздействуют на него. Еще более вероятно, что восприятие монахов вовсе не искажено, а проблема в нем самом.

Еще несколько секунд – и Гамаш привык к отсутствию звуков и света.

Направляясь к Благодатной церкви, он убеждал себя, что в монастыре нет ничего угрожающего. Ничего угрожающего. Полный покой.

Он улыбнулся этой мысли. Неужели покой и тишина стали такой

редкостью, что когда ты их наконец находишь, то принимаешь за нечто невероятное и неестественное? Похоже, так оно и есть.

Старший инспектор на ощупь прошел вдоль каменной стены до входа в Благодатную церковь. Открыл тяжелую деревянную дверь и беззвучно закрыл ее за собой.

Здесь стояла такая полная темнота и тишина, что у него возникло неприятное ощущение, будто он парит и падает.

Гамаш включил свой мощный фонарик. Луч прорезал тьму, помедлил на алтаре, на скамьях, на каменных колоннах. Это была не просто утренняя прогулка человека, страдающего бессонницей. У этой прогулки имелась цель. И Гамаш легко обнаружил ее на восточной стене церкви.

Луч его фонаря высветил огромную памятную плиту с рассказом о жизни святого Гильберта.

Гамаш провел по плите свободной рукой. Он искал защелку, ручку, чтобы войти в зал для собраний братии. Наконец он нашел то, что искал, нажав на изображение двух спящих волков, вытравленное в верхнем левом углу. Каменная дверь открылась, и Гамаш посветил фонариком внутрь.

Он увидел небольшую прямоугольную комнату без окон и стульев, хотя вдоль стен проходила каменная скамья. В остальном комната оставалась абсолютно голой, пустой.

Порыскав для вящей уверенности лучом фонарика по углам, Гамаш вышел и закрыл дверь. Спящие волки вернулись на свое место, а старший инспектор надел очки и принялся изучать то, что написано на плите. Жизнь Гильберта Семпрингхемского.

Судя по всему, святой Гильберт не являлся покровителем какой-либо деятельности. Не упоминалось и о каких-то чудесах, сотворенных им. Кажется, единственное, что он сделал, – это создал орден, дал ему свое имя и умер в 1189 году в возрасте ста шести лет.

Сто шесть лет. Гамашу это показалось сомнительным, хотя вполне могло оказаться правдой. В конце концов, если бы тот, кто изготовил эту плиту, хотел солгать или преувеличить, он наверняка выдумал бы что-нибудь более сто́ящее, чем возраст Жильбера. Например, его деяния.

Если что и могло усыпить старшего инспектора, то лишь чтение жизнеописаний святых.

Зачем кому-то могло понадобиться основывать орден?

Потом он вспомнил про музыку, григорианские хоралы. Брат Люк говорил о них как о чем-то уникальном. Но на памятной плите Гамаш не нашел ни слова о песнопениях или музыке. Похоже, они не были призванием святого Гильберта. Ни разу за свои сто шесть лет Гильберт

не испытал вдохновения и не написал песню.

Гамаш еще раз осмотрел плиту в поисках чего-то малозаметного. Чего-то, что он мог пропустить.

Он провел ярким лучом по вырезанным словам, прищурился, взглянул на плиту с одной стороны, с другой. Может быть, какой-то символ недостаточно глубоко вытравлен в бронзе. Или износился за столетия. Нотный стан. Скрипичный ключ. Невма.

Но ничего такого он не увидел. Абсолютно ничего, что говорило бы о достижениях гильбертинцев в чем-либо, включая григорианские песнопения.

Кроме надписи, на памятной плите обнаружилось одно изображение. Спящие волки, свернувшиеся в один клубок.

Волки, подумал старший инспектор, отходя от стены и засовывая очки в карман халата. Волки. Что он знает о волках из Библии? Что они символизируют?

Были Ромул и Рем. Их спасла волчица. Вскормила своим молоком. Но это из римской мифологии, не из Библии.

Волки.

Большинство библейских образов носило более безобидный характер. Но степень безобидности, конечно, зависела от того, как вы смотрите на жизнь. Овец и рыб убивали постоянно. А волки принадлежали к более агрессивному виду. Они чаще сами убивали.

Этот образ казался странным не только на памятной плите, но и в самом названии монастыря. Saint-Gilbert-Entre-les-Loups. Святой Гильберт среди волков.

Тем более странно, что святой Гильберт прожил ничем не примечательную, хотя и долгую жизнь. Каким образом возникла эта ассоциация с волками?

Старшему инспектору пришла в голову лишь поговорка «волк в овечьей шкуре»[38]. Но разве это из Библии? Он, вообще-то, думал, что да, но теперь начал сомневаться.

«Волк в овечьей шкуре».

Возможно, монахи этого монастыря уподобляются овцам. Этакая смиренная роль. Следуйте правилам. Подчиняйтесь пастырю. Работайте, молитесь и пойте. Надейтесь на мир и покой, на то, что вас не тронут за этими запертыми дверями. Молитесь Господу – вот все, что вам нужно знать.

Всем, кроме одного. Не проник ли в овчарню волк? В длинной черной мантии с белым капюшоном и веревкой вместо пояса. Кто он – убийца

или жертва? Волк ли убил монаха или монах – волка?

Гамаш вернулся к плите. Он вдруг понял, что не уделил должного внимания нижней части надписи. Там имелось примечание, которое он лишь бегло просмотрел. В конце концов, насколько важным может быть примечание относительно человека, вся жизнь которого была примечанием? Гамаш быстро прочитал текст. Речь в нем шла о каком-то архиепископе. Гамаш опустился на колени и даже на четвереньки, чтобы лучше разглядеть слова. Он снова достал очки и почти приник к этому бронзовому послесловию.

Там говорилось, что Гильберт дружил с архиепископом Кентерберийским и пришел к нему на помощь. Гамаш вгляделся в эти слова, пытаясь проникнуть в их глубинный смысл. Зачем кому-то понадобилось упоминать об этом?

Наконец он поднялся на ноги.

Гильберт Семпрингхемский умер в 1189 году. Он был активным членом церкви на протяжении шестидесяти лет. Гамаш произвел подсчеты.

Это означало, что…

Гамаш опять посмотрел на плиту и на слова, процарапанные чуть ли не на полу. Это означало, что друга-архиепископа, которому помог Гильберт, звали Томас Бекет.

Томас Бекет.

Гамаш повернулся спиной к памятной плите и обвел взглядом Благодатную церковь.

Томас Бекет.

Погрузившись в размышления, Гамаш медленно двинулся между скамьями. Он вошел в алтарь, неторопливо описал круг лучом фонаря, потом погасил фонарь. И вокруг него сомкнулись темнота и тишина.

Святой Томас Бекет.

Убитый в своем соборе.

«Волк в овечьей шкуре». Выражение восходило к Библии, но стало широко известно благодаря Томасу Бекету, назвавшему своих убийц «волками в овечьей шкуре».

Томас Элиот написал пьесу о тех событиях: «Убийство в соборе».

– «Бедствие некое близится ныне. Мы ждем. Ждем»[39], – тихо продекламировал Гамаш.

Но у старшего инспектора не хватило времени на ожидания. Несколько мгновений – и тишина закончилась.

Ее нарушил напев. Приближающийся напев.

Старший инспектор сделал несколько шагов, но не успел выйти

из алтаря до того, как появились монахи. Они шли гуськом, с капюшоном на голове. Каждый нес свечу. Они прошли совсем рядом с Гамашем, словно его здесь и не было, и заняли свои привычные места на скамьях.

Пение прекратилось, монахи одновременно скинули капюшоны.

И двадцать три пары глаз уставились на него. На стоящего посреди алтаря человека в ночной пижаме и халате.

Глава тринадцатая

– И что вы сделали? – спросил Бовуар, даже не пытаясь скрыть удивление.

Они находились в кабинете приора, куда зашли перед завтраком.

– А что я мог сделать? – спросил Гамаш, отрываясь от своих записок. – Я сказал «bonjour», поклонился настоятелю и сел на скамью.

– Вы остались там? В пижаме?

– Мне показалось, что уходить уже поздновато, – улыбнулся Гамаш. – И потом, поверх пижамы на мне была мантия.

– На вас был банный халат.

– Они так похожи… – протянул старший инспектор.

– Кажется, мне нужен сеанс психотерапии, – пробормотал Бовуар.

Гамаш вернулся к чтению. Он не мог не признать, что это было не совсем обычное начало дня. Монахи в пять часов утра обнаруживают в алтаре человека в пижаме. Во время церковной службы. И не какого-нибудь человека, а старшего инспектора Гамаша.

Бовуар никак не ожидал прямо с утра услышать столь восхитительную историю. Он жалел, что не видел этого собственными глазами. И не сделал фотографию. Если бы шеф начал скандалить, узнав об их отношениях с Анни, то Бовуар быстренько бы его утихомирил такой фотографией.

– Вы просили меня узнать, как зовут того монаха, который нападал вчера за обедом на настоятеля, – сказал Бовуар. – Его зовут брат Антуан. Он приехал сюда в возрасте двадцати трех лет. Пятнадцать лет назад.

Бовуар сложил цифры в уме – они с братом Антуаном оказались ровесниками.

– И представьте, – Бовуар наклонился над столом, – он солировал на той записи.

Шеф тоже подался вперед:

– Откуда ты знаешь?

– Эти колокола меня рано разбудили. Я подумал, какая-то тревога. Оказалось, монахи утром обнаружили у себя в алтаре человека в пижаме.

– Не может быть!

– В общем, когда эти треклятые колокола меня разбудили, я отправился в душ. Молодой монах, брат Люк, который сидит в каморке при входе, мылся в соседней кабине. Мы были в душевой одни, и я спросил его, как зовут монаха, который выступил вчера против настоятеля. И знаете,

что еще сказал брат Люк?

– Что?

– Что приор собирался заменить брата Антуана и хотел, чтобы он, брат Люк, солировал при следующей записи.

У шефа расширились глаза.

– Он, Люк?

– Он – Люк, я – Бовуар.

Гамаш откинулся на спинку стула и задумался.

– Как по-твоему, брат Антуан знал об этих планах?

– Не знаю. Появились другие монахи, и я не успел спросить.

Гамаш посмотрел на часы: почти семь. Вероятно, они с Бовуаром разминулись в ду́ше.

Если трапезничать с подозреваемыми было не совсем корректно, то уж мыться в душе… Но ничего другого не оставалось: здесь была только общая душевая с отдельными кабинками.

У Гамаша тоже состоялся утренний разговор в душе после богослужения. Когда он брился и мылся, в душевую вошло несколько монахов. Гамаш затеял вежливый, внешне пустой разговор, спрашивал каждого из них, почему он стал гильбертинцем. Все как один отвечали: «Из-за музыки».

И все, с кем он говорил, получили приглашение. Их отобрали по способностям. В первую очередь за их голоса, но и за их навыки. Читая протоколы вчерашних допросов, старший инспектор выяснил, что у каждого монаха есть профессия. Один работал водопроводчиком. Другой – электриком. Третий – архитектором, четвертый – каменщиком. Среди монахов обнаружились повара, фермеры и садовники. Доктор, брат Шарль. Инженер.

Монастырь представлял собой нечто вроде Ноева ковчега. Или атомного бомбоубежища. В случае катастрофы они могли воссоздать мир заново. В их распоряжении имелись все основные элементы. За одним исключением.

За исключением плодоносящего чрева.

Так что в случае катастрофы, в которой уцелел бы один монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу, они смогли бы заново отстроить здания, провести водопровод и электричество. Однако возродить жизнь они бы не смогли.

Но осталась бы музыка. Великолепная музыка. На какое-то время.

– Как вы получили приглашение? – спросил Гамаш монаха, моющегося в соседней кабинке (остальные уже оделись и ушли).

– Меня нашел отец настоятель, – ответил монах. – Раз в год он уезжает из монастыря, ищет новеньких. Они нам не всегда нужны, но он берет на заметку братьев, обладающих нужными нам качествами.

– Какими именно?

– Ну, брат Александр, например, отвечает за животных, но ему уже трудно заниматься этой работой, поэтому отец настоятель присматривает монаха, имеющего такой опыт.

– Тоже гильбертинца?

Монах рассмеялся:

– Других гильбертинцев, кроме нас, нет. Мы последние в своем роде. Все мы выходцы из других орденов, и нас пригласили сюда.

– Вас долго пришлось уговаривать? – спросил Гамаш.

– Не очень. Когда отец настоятель сказал, что специализация монастыря Сен-Жильбер – григорианские песнопения, нам больше ничего и не требовалось.

– Музыка – адекватная замена всего, от чего вы отказались? Эта изоляция… Ведь вы, вероятно, никогда больше не увидите свою семью, друзей.

Монах уставился на Гамаша:

– Мы готовы все отдать ради музыки. Для нас музыка превыше всего. – Он улыбнулся. – Григорианские песнопения не просто музыка и не просто молитва. Они и то и другое одновременно. Слово Господне, пропетое голосом Господа. За такое мы готовы отдать нашу жизнь.

– И отдаете, – заметил Гамаш.

– Вовсе нет. Мы здесь ведем более богатое, осмысленное существование, чем где-либо в другом месте. Мы любим Бога и любим песнопения. В Сен-Жильбере мы получаем и то и другое. Как взятку. – Он рассмеялся.

– Вы никогда не жалели о своем решении приехать сюда?

– В первые дни, в первые минуты – да. Путь на лодке по озеру показался таким долгим. Пока мы приближались к Сен-Жильберу, я уже начал скучать по моему прежнему монастырю. По моему настоятелю, по моим друзьям. Потом я услышал эту музыку. Хорал.

Казалось, монах покинул Гамаша, покинул душевую с ее паром, запахом лаванды и пчелиного бальзама. Покинул свое тело. И перенесся в какое-то другое место, получше. Благодатное место.

– Я услышал пять или шесть звуков, и мне этого хватило, чтобы понять, что песнопения здесь какие-то другие. – Голос его был тверд, но глаза увлажнились.

Такое же выражение Гамаш видел на лицах других монахов во время службы. Когда они пели.

Умиротворенное. Спокойное.

– Чем же они другие? – спросил Гамаш.

– Хотелось бы мне знать. Они такие же простые, как и все остальные, но в них есть что-то еще. Глубина. Сочность. То, как смешиваются голоса. Они воспринимаются как нечто цельное. Я ощутил себя чем-то цельным.

– Вы сказали, что настоятель Филипп подыскивает монахов с нужными качествами. И эти качества явно включают хороший певческий голос.

– Не просто включают, – возразил монах. – Голос – самое главное, что ему нужно. Брат Матье говорил настоятелю, какой голос ему требуется, а настоятель объезжал монастыри в поисках того, что нужно брату Матье.

– Но новичок должен также уметь ухаживать за животными, или готовить пищу, или выполнять какую-то другую работу в монастыре, – сказал Гамаш.

– Верно. Поэтому поиски нужного монаха иногда длятся годами, и поэтому настоятель уезжает из монастыря на поиски. Он как хоккейный агент, присматривающий кандидатов чуть ли не с детства. Настоятель знает об их перспективах еще до того, как они приносят окончательный обет, – когда они только поступают в семинарию.

– А личность имеет значение? – спросил Гамаш.

– Большинство монахов научаются жить в сообществе, – объяснил монах, надевая мантию. – То есть принимают друг друга.

– И власть настоятеля.

– Oui.

Самый короткий ответ из тех, что Гамаш слышал в монастыре. Монах нагнулся, чтобы натянуть носки, и этим движением разорвал зрительный контакт с Гамашем, уже успевшим одеться.

Выпрямившись, монах снова улыбнулся:

– Вообще-то, мы проходим очень тщательное испытание на личностные качества. Нас оценивают.

Гамаш полагал, что его лицо сохраняет нейтральное выражение, но, видимо, ему не удалось скрыть скептицизм.

– Oui, – сказал монах, вздохнув. – С учетом современного состояния церкви следовало бы провести переоценку прежних оценок, да? Похоже, что немногие избранные – вовсе не лучший выбор. Но в большинстве своем мы хорошие люди. Здравомыслящие и стойкие. Мы хотим одного – служить Господу.

– Пением.

Монах посмотрел на Гамаша:

– Вы, месье, кажется, думаете, что человека можно отделить от музыки. Но вы ошибаетесь. Сообщество монахов в Сен-Жильбере подобно живому песнопению. Каждый из нас – отдельная нота. Сами по себе мы ничто. Но вместе? Все вместе мы божественны. Мы не певцы, мы – песня.

Гамаш видел, что монах верит в свои слова. Верит, что сами по себе они ничто, но все вместе монахи Сен-Жильбера являют собой песнопение. Перед мысленным взором старшего инспектора возникли коридоры монастыря, заполненные не монахами в черных мантиях, а музыкальными нотами. Черные ноты проносятся по коридорам. Ждут того мгновения, когда соединятся в священном пении.

– Смерть приора – большая потеря для песнопений? – спросил Гамаш.

Монах резко вдохнул, словно старший инспектор ткнул в него острой палкой:

– Мы должны благодарить Господа за то, что у нас был брат Матье, а не печалиться, что его у нас забрали.

Это прозвучало менее убедительно.

– Не пострадает ли музыка? – спросил Гамаш, тщательно подбирая слова.

Он увидел, что попал в цель. Монах снова отвел глаза и ничего не сказал.

Гамаш спросил себя, не являются ли пространства между нотами – тишина – такой же важной частью песнопения, как и сами ноты.

Два человека молча стояли друг перед другом.

– Нам нужно так мало, – произнес наконец монах. – Музыка и наша вера. И то и другое сохранится.

– Прошу прощения, – сказал старший инспектор, – я не знаю вашего имени…

– Бернар. Брат Бернар.

– Арман Гамаш.

Они обменялись рукопожатиями. Бернар задержал руку Гамаша на миг дольше, чем необходимо.

Еще одно из множества непроизнесенных сообщений, носившихся по монастырю. Но в чем оно состояло? Двое мужчин только что принимали душ практически вместе. Жест монаха мог означать недвусмысленное приглашение. Но Гамаш инстинктивно знал, что брат Бернар хотел выразить нечто иное.

– Но что-то изменилось, – сказал Гамаш, и брат Бернар отпустил его руку.

Старший инспектор понимал, что пустых кабинок в душевой хватало. Бернар вовсе не случайно выбрал ту, что рядом с кабинкой, где мылся офицер Квебекской полиции.

Бернар хотел поговорить. Ему было что сказать.

– Вы были правы вчера вечером, – начал монах. – Мы слышали ваш разговор в Благодатной церкви. Запись изменила все. Не сразу. Поначалу мы даже стали ближе друг к другу. Воспринимали запись как нашу общую миссию. Цель состояла не в том, чтобы разделить наши песнопения с миром. Мы не настолько оторваны от реальности и прекрасно понимаем, что компакт-диск с григорианскими хоралами вряд ли попадет на вершину хит-парада.

– Тогда зачем записывали?

– Это идея брата Матье, – сказал Бернар. – Монастырь нуждался в ремонте, и как мы ни старались поддерживать все в порядке, тут требовались не наши усилия или даже знания, а деньги. А их у нас не было, и зарабатывать мы не умели. Мы делаем шоколадные конфеты с черникой. Вы пробовали?

Гамаш кивнул.

– Я помогаю приглядывать за животными, но еще работаю в шоколадном цеху. Эти конфеты очень популярны. Мы обмениваемся с другими монастырями – в обмен на наши конфетки получаем сыры и сидр. Продаем конфеты друзьям и семьям. С громадной прибылью. Все это знают, но еще они знают, что нам необходимы деньги.

– Конфеты просто сказочные, – согласился Гамаш. – Но чтобы заработать какие-то деньги, нужно продавать тысячи коробок.

– Или продавать каждую коробку за тысячу долларов. Наши семьи оказывают нам большую поддержку, но мы не можем просить у них слишком многого. Поверьте, месье Гамаш, мы чего только не перепробовали. И тут брат Матье предложил продавать то, что у нас всегда есть в достатке.

– Григорианские песнопения.

– Именно. Мы поем все время, и нам не нужно конкурировать с волками и медведями за чернику и не нужно доить коз, чтобы получать ноты.

Гамаш улыбнулся, представив себе, как григорианские песнопения изливаются из козьего вымени.

– Но особых надежд вы не питали.

– Надежды мы питаем всегда. Это еще одно, что имеется у нас в достатке. А вот чего у нас здесь нет, так это больших ожиданий. Мы планировали сделать запись и продавать ее по грабительским ценам нашим семьям и друзьям. Магазинам в других монастырях. Мы полагали, что наши близкие поставят запись один раз, чтобы отчитаться, что они ее слушали, а потом уберут и забудут.

– Но тут что-то случилось.

Бернар кивнул:

– Не сразу. Мы продали несколько сот дисков. Заработали достаточно денег, чтобы починить крышу. Но приблизительно год спустя на наш счет посыпались деньги. Помнится, мы сидели в зале для собраний и настоятель сказал, что на нашем счете больше ста тысяч долларов. Он попросил нашего брата, который занимается бухгалтерией, перепроверить, и да, подтвердилось: на счет приходят деньги от продажи записей. С нашего разрешения изготовили новую партию, но мы не знали сколько. Потом вышла электронная версия. Для загрузки.

– Как отнеслась к этому братия?

– Как к чуду. Во всех смыслах этого слова. У нас неожиданно появилось столько денег, что мы не знали, куда их девать. А деньги продолжали поступать. Но если забыть о деньгах, нам казалось, что мы получили благословение Господа. Он словно улыбнулся нашему проекту.

– И не только Господь, но и весь окружающий мир, – подхватил Гамаш.

– Верно. Казалось, что все вдруг поняли, как прекрасна наша музыка.

– Успех?

Брат Бернар зарделся и кивнул:

– Мне стыдно признаться, но именно такое возникло ощущение. И это стало казаться важным – что думает о нас мир.

– Мир влюбился в вас.

Бернар глубоко вздохнул и опустил глаза на свои руки, теребившие концы поясной веревки.

– И какое-то время мы были счастливы, – сказал брат Бернар.

– А что случилось потом?

– Мир открыл не только нашу музыку, но и нас. Над нами стали летать самолеты, на лодках приплывали люди. Репортеры, туристы. Самозваные паломники приходили, чтобы поклониться нам. Ужасно.

– Такова цена славы.

– А мы хотели только тепла зимой, – сказал брат Бернар. – И чтобы крыша не текла.

– Но все же вам удавалось отбиваться от них.

– Благодаря отцу настоятелю. Он недвусмысленно сообщил другим монастырям и публике, что мы – орден затворников, что мы приняли обет молчания. Однажды он даже выступил по телевизору. И по «Радио Канада».

– Я видел его интервью.

Хотя оно мало походило на интервью. Отец Филипп стоял в каком-то неизвестном месте, облаченный в мантию. Он смотрел в камеру и умолял людей оставить монастырь в покое. Он говорил, что рад популярности песнопений, но больше им нечего предложить миру. Совершенно. А вот мир в состоянии проявить по отношению к монахам Сен-Жильбера огромное милосердие. Дать им мир и тишину.

– И вас оставили в покое? – спросил Гамаш.

– В конечном счете – да.

– Но мир не вернулся?

Они покинули душевую, и Гамаш пошел за братом Бернаром по коридору. К закрытой двери в конце. Не к той, что вела в Благодатную церковь. А к противоположной.

Брат Бернар потянул ручку, и они вышли в яркий новый день.

На самом деле они оказались в громадном внутреннем дворе, обнесенном стеной. Здесь гуляли козы и овцы, цыплята и утки. Брат Бернар взял себе тростниковую корзинку, другую протянул Гамашу.

Воздух дышал свежестью и прохладой, и после жаркой душевой Гамаш чувствовал себя здесь превосходно. За высокой стеной виднелись верхушки сосен, слышался щебет птиц и тихий плеск воды о прибрежные камни.

– Excusez-moi[40], – сказал Бернар курице, прежде чем взять из-под нее яйцо. – Merci.

Гамаш тоже засунул свою большую руку под курицу, нащупал теплое яйцо. Осторожно положил его в корзинку. Каждой следующей курице он тоже говорил «merci».

– Мир вроде бы вернулся в монастырь, старший инспектор, – сказал Бернар, продолжая перемещаться от курицы к курице. – Но Сен-Жильбер перестал быть тем, чем был прежде. Возникло напряжение. Часть монахов пожелала извлечь выгоду из нашей популярности. Они говорили, что на то, несомненно, есть воля Божья и опасно не воспользоваться таким шансом.

– А другие?

– Другие говорили, что Господь и без того проявил к нам щедрость и мы со смирением должны принять то, что Он нам даровал. Что Он нас

испытывает. Что слава – это змея, маскирующаяся под друга. Что мы должны отвергнуть искушение.

– А на чьей стороне был брат Матье?

Бернар подошел к большой утке, погладил ее по голове, прошептал какие-то слова, Гамаш их не расслышал, но интонация явно была благодарственная. Потом брат Бернар поцеловал утку в голову и пошел дальше. Яиц у нее он не взял.

– Он поддерживал настоятеля. Они ведь очень дружили – две половинки целого. Отец настоятель – эстет, приор – человек действия. Вдвоем они руководили монастырем. Без настоятеля не появилось бы никаких записей. Он был обеими руками за. Обеспечивал связи с внешним миром. Радовался успеху вместе со всеми.

– А приор?

– Это было его детище. Приор возглавлял хор и руководил записями. Он выбирал музыку, солистов, порядок песнопений. Ту запись мы сделали за одно утро в Благодатной церкви с помощью старой установки, которую настоятель позаимствовал во время посещения монастыря Сен-Бенуа-дю-Лак.

Гамаш, неоднократно слушавший компакт-диск с хоралами, знал, что качество записи невысокое. Впрочем, это лишь добавляло музыке очарования, подчеркивало ее подлинность. Никакой цифровой обработки, никаких многоканальных записей. Никаких фокусов, никаких подделок. Все по-настоящему.

И это было прекрасно. Запись передавала все то, о чем говорил брат Бернар. Когда люди слушали ее, им казалось, что они присутствуют при исполнении. Что они не так одиноки. Что они остаются отдельными личностями, но являются частью сообщества. Частью всего. Людей, животных, деревьев, гор. Внезапно все грани размывались.

Григорианские песнопения проникли в тела людей, перестроили их ДНК, и люди стали частью всего, что их окружает. Не осталось ни злобы, ни конкуренции, ни победителей, ни побежденных. Все поражало великолепием, и всюду царило равенство.

И все пребывали в мире.

Неудивительно, что люди ждали новых записей. Жаждали их. Настаивали. Приезжали в монастырь, стучали в дверь, почти в истерике требовали, чтобы их впустили. Чтобы дали новые диски.

А монахи им отказывали.

Бернар помолчал несколько секунд, медленно двигаясь по периметру двора.

– Продолжайте, – попросил Гамаш.

Он знал: монаху есть что рассказать. Всегда находилось что рассказать. Бернар не просто так прошел за Гамашем в душевую – он преследовал свою цель. Рассказать что-то Гамашу. Но хотя он и наговорил немало интересного, главного пока не прозвучало.

Оставалось еще кое-что.

– Тут дело в обете молчания.

Гамаш подождал и, не выдержав, подстегнул его:

– Говорите же.

Брат Бернар помедлил, пытаясь найти слова, чтобы объяснить нечто не существующее в большом мире.

– Наш обет молчания не абсолютный. Он иначе называется «правило молчания». Нам иногда разрешают говорить между собой, хотя при этом мы нарушаем покой монастыря и монашеский мир. Молчание считается добровольным и в то же время глубоко духовным.

– Но разговаривать вам разрешается?

– Когда мы принимаем обет, языков нам не отрезают, – с улыбкой ответил монах. – Однако разговорчивость не поощряется. Болтун никогда не смог бы стать монахом. В течение суток есть моменты, когда тишина наиболее важна. Например, ночью. Великое молчание – так это называется. В некоторых монастырях обет молчания не столь строг, но здесь, в Сен-Жильбере, мы пытаемся блюсти Великое молчание в течение большей части дня.

Великое молчание, подумал Гамаш. Вот что он чувствовал несколько часов назад, когда поднялся с кровати и вышел в коридор. Ему казалось, что он сейчас упадет в пустоту. А если бы он упал, то что ждало бы его на дне?

– Чем строже молчание, тем громче голос Господа? – спросил Гамаш.

– Скорее, увеличивается вероятность того, что мы его услышим. Некоторые монахи хотели, чтобы с них сняли обет молчания и они могли бы отправиться в мир и рассказать людям о музыке. Ходили даже слухи, что нас приглашают в Ватикан, но настоятель воспротивился.

– И что говорит братия?

– Одни рассердились. Другие почувствовали облегчение.

– Кто-то поддерживал настоятеля, а кто-то нет?

Бернар кивнул:

– Вы должны понять: настоятель здесь – нечто большее, чем начальник. Мы храним верность не епископу или архиепископу, а настоятелю. И монастырю. Мы выбираем настоятеля, и он сохраняет свой

пост до смерти или добровольной отставки. Он наш папа.

– Он считается непогрешимым?

Бернар остановился и скрестил руки, положив одну из них на корзинку с яйцами в инстинктивно защитном жесте.

– Нет. Но самые счастливые монастыри – те, где монахи не оспаривают решения своего настоятеля. А наилучшие настоятели готовы выслушивать предложения монахов. Обсуждать любые вопросы в зале для собраний. Тогда они и принимают решения. И все с этими решениями соглашаются. Смотрят на них как на акт смирения и благодати. Речь идет не о выигрыше или проигрыше, а о том, чтобы выразить свое мнение. А там уж пусть решают Господь и братия.

– Но здесь ничего подобного больше не происходило?

Бернар молча кивнул.

– Кто-то из монахов начал кампанию за снятие обета молчания? Чтобы дать голос несогласным?

Бернар опять кивнул. Именно это он и хотел сообщить Гамашу.

– Это был брат Матье, – проговорил наконец Бернар с несчастным видом. – Это приор хотел снять обет молчания. И начались ужасные скандалы. Он был волевой человек. Всегда добивался своего. Прежде желания настоятеля и приора совпадали. А теперь разошлись.

– И брат Матье не желал подчиняться?

– Никак не желал. И постепенно другие монахи стали понимать, что стена может рухнуть, только если они тоже перестанут подчиняться и даже начнут сопротивление. Споры становились все более ожесточенными, более громкими.

– В безмолвном сообществе?

Бернар улыбнулся:

– Вы удивитесь, если я вам расскажу, сколько существует способов донести до других свою мысль. Гораздо более сильных и оскорбительных способов, чем слова. Повернуться спиной в монастыре – все равно что нецензурно выругаться. А закатить глаза – настоящая ядерная атака.

– И ко вчерашнему утру… – начал Гамаш.

– Ко вчерашнему утру монастырь лежал в руинах. Только тела все еще двигались и стены по-прежнему стояли. Но в остальном Сен-Жильбер-антр-ле-Лу умер.

Гамаш обдумал эти слова, потом поблагодарил брата Бернара, отдал ему корзинку с яйцами и двинулся со двора в сумеречный монастырь.

Мирная жизнь монастыря оказалась не просто расколотой, а уничтоженной. Что-то драгоценное перестало существовать. А потом

на голову брата Матье обрушился камень. Расколол и ее.

Гамаш задержался в дверях и задал брату Бернару последний вопрос:

– А вы, mon frère, на чьей стороне? С кем вы?

– Я с отцом Филиппом, – ответил тот не колеблясь. – Я один из людей настоятеля.

Люди настоятеля, думал старший инспектор, когда несколько минут спустя вместе с Бовуаром входил в трапезную, где висела тишина. Многие монахи уже сидели на своих местах, но ни один не взглянул в их сторону.

Люди настоятеля. Люди приора.

Гражданская война, в которой воюют взглядами и жестами. И молчанием.

Глава четырнадцатая

После завтрака из яиц, фруктов, свежего хлеба и сыра монахи ушли, а старший инспектор и Бовуар задержались за травяным чаем.

– Какая гадость! – Бовуар отхлебнул чая и скорчил гримасу. – Отвратительный чай! Я пью бурду.

– Это, кажется, мята, – сказал Гамаш.

– Мятная бурда, – пробормотал Бовуар. Он поставил кружку на стол, отодвинул от себя. – Так кто, по-вашему, убийца?

Гамаш покачал головой:

– Пока не знаю. Думаю, кто-то из сторонников настоятеля.

– Или сам настоятель.

Гамаш кивнул:

– Если приора убили в борьбе за власть.

– Кто бы ни выиграл борьбу, он получит контроль над монастырем, ставшим вдруг чрезвычайно богатым и влиятельным. И не только благодаря деньгам.

– Продолжай, – сказал Гамаш.

Он всегда предпочитал слушать, а не говорить.

– Если подумать, эти гильбертинцы отсутствовали в течение четырех веков, но вдруг случилось чудо, и они вышли из лесной глуши. И хотя сюжет не совсем библейский, оказалось, что гильбертинцы наделены божественным даром священной музыки. Нью-йоркский гуру от маркетинга не смог бы изобрести фишки получше.

– Только это не фишка.

– Вы уверены, patron?

Гамаш поставил кружку на стол и наклонился к своему заместителю. Его темно-карие глаза смотрели задумчиво.

– Ты хочешь сказать, что монахи все это подстроили? Четыреста лет молчания, а потом появление записи с малоизвестными григорианскими песнопениями? И все для того, чтобы обрести богатство и влиятельность? Довольно долгосрочное планирование. Хорошо, что они обошлись без акционеров.

Бовуар рассмеялся:

– Однако ведь сработало.

– Но вряд ли тут можно говорить о легком успехе. Шансы на то, что такой отдаленный монастырь с поющими монахами станет сенсацией,

чрезвычайно малы.

– Согласен. Тут многое должно совпасть. Музыка должна произвести на людей сильное впечатление. Но этого еще недостаточно. На самом деле прорыв произошел в тот момент, когда стало известно, кто исполнители. Считавшийся исчезнувшим орден монахов, принявших обет молчания. Вот что привлекло людей.

Старший инспектор кивнул. Это добавило таинственности музыке и монахам.

Однако можно ли здесь говорить о манипуляциях? В конце концов, все это – чистая правда. Но разве не в этом суть хорошего маркетинга? Не в том, чтобы лгать, а чтобы отбирать ту правду, которую следует сообщать?

– Эти скромные монахи стали суперзвездами, – сказал Бовуар. – Не только богачами, но и чем-то бóльшим. Они влиятельны. Люди их любят. Если настоятель монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу завтра появится на Си-эн-эн и сообщит, что это второе пришествие, то где гарантия, что миллионы людей ему не поверят?

– Миллионы готовы поверить во что угодно, – возразил Гамаш. – Они видят Христа в облатке и начинают ей поклоняться.

– Но тут все иначе, шеф, и оно не прошло мимо вас. Вы и сами это почувствовали. На меня эта музыка не оказывает никакого воздействия, но я вижу, что она значит для вас.

– И опять ты прав, mon vieux, – сказал, улыбаясь, Гамаш. – Но она не доводит меня до убийства. Напротив, она действует успокоительно. Как и мятный чай. – Он взял кружку и поднял ее, словно провозглашая тост за Бовуара, потом откинулся на спинку стула. – Что ты пытаешься сказать, Жан Ги?

– Мне кажется, на карту поставлено нечто большее, чем еще одна запись. Большее, чем какие-то жалкие закорючки и право помыкать двумя дюжинами монахов. Нравится это монахам или нет, они сейчас очень влиятельные. Люди хотят знать, что думают эти затворники. Такое кому хочешь вскружит голову.

– Или отрезвит.

– Им всего-то и надо, что избавиться от неудобного обета молчания, – сказал Бовуар тихим взволнованным голосом. – И тогда можно ездить на гастроли. Устраивать концерты. Давать интервью. Люди будут внимать каждому их слову. Они станут могущественнее папы римского.

– Нужно только устранить одно препятствие – настоятеля, – заметил старший инспектор и покачал головой. – Но если так, то получается, что убили не того человека. Твоя аргументация была бы верна, если бы

убили отца Филиппа. Но он живехонек.

– А вот тут вы ошибаетесь, сэр. Я не говорю, что убийство совершили, чтобы снять обет молчания. Я только утверждаю, что на карту поставлено многое. Для сторонников приора речь идет о власти и влиянии. А для остальных? Тут есть не менее сильный мотив.

Гамаш улыбнулся и кивнул:

– Сохранить их мирную, спокойную жизнь. Защитить их дом.

– А кто не пошел бы на убийство ради того, чтобы защитить свой дом? – спросил Бовуар.

Гамаш обдумал его слова и вспомнил, как вместе с братом Бернаром собирал куриные яйца в мягких лучах рассвета. Вспомнил рассказ монаха о летающих над монастырем самолетах, о паломниках, ломящихся в дверь.

И о монастыре, лежащем в руинах.

– Если бы брат Матье выиграл сражение, они бы сделали еще одну запись, сняли обет молчания и монастырь навсегда изменился бы, – сказал старший инспектор. Он улыбнулся Бовуару и встал. – Неплохо. Но ты забываешь об одном.

– Представить себе не могу, что такое возможно, – сказал Бовуар и тоже поднялся.

Они вышли из трапезной и двинулись по пустому коридору. Гамаш открыл книгу, которую всегда носил с собой. Тоненькую книжицу христианских медитаций. Извлек из книжки пожелтевший пергамент, найденный на теле, и протянул его своему заместителю:

– Как ты объясняешь этот листок?

– А если он вообще не имеет никакого смысла?

На лице старшего инспектора появилось не самое одобрительное выражение.

– Приор умер, защищая его. Он наверняка имел для него какой-то смысл.

Бовуар открыл шефу большую дверь, и они вдвоем вошли в Благодатную церковь. Задержались там, пока Бовуар разглядывал пергамент.

Он видел листок, когда тот выпал из рукава приора, но не изучал так внимательно, как шеф. Гамаш ждал, не увидит ли свежий, молодой, циничный взгляд что-то такое, чего не заметил он.

– Мы ничего не знаем об этой записи, – сказал Бовуар, рассматривая буквы и странные значки над словами. – Мы не знаем, когда и кем она сделана. И даже не догадываемся, что она значит.

– И почему оказалась у приора. Пытался ли он защитить этот листок

в последние минуты жизни или хотел скрыть его? Имел ли листок для него какую-то ценность, или он воспринимал его как богохульство?

– Занятно, – пробормотал Бовуар. – Кажется, я понял, что означает одно слово. По-моему, здесь… – он ткнул пальцем в латинский текст, и Гамаш наклонился над пергаментом, – написано «задница».

– Merci. – Гамаш забрал у него пергамент, вложил в книгу и закрыл ее. – Настоящее озарение.

– Послушайте, patron, если у вас целый монастырь монахов, а вы ищете озарения у меня, то вы получаете то, чего заслуживаете.

Гамаш рассмеялся:

– C’est vrai[41]. Что ж, пойду-ка я разыщу настоятеля и спрошу, существует ли план монастыря.

– А мне нужно поговорить с солистом – братом Антуаном.

– С тем, который бросил вызов настоятелю?

– С тем самым, – подтвердил Бовуар. – Вероятно, он один из сторонников приора… Что такое?

Гамаш замер, прислушиваясь. Монастырь, в котором всегда царила тишина, казалось, затаил дыхание.

И вздохнул с первыми звуками песнопения.

– Что, опять? – недовольно пробормотал Бовуар. – Вроде бы только что уже пели. Честно говоря, они хуже наркоманов.

Вверх, вниз. Поклониться. Встать, сесть.

Служба после завтрака, называемая службой первого часа, все никак не могла закончиться. Но теперь Бовуар обнаружил, что ему не так скучно. Наверное, сказал он себе, это оттого, что он познакомился с некоторыми участниками хора. Он начал слушать внимательнее. Видел для себя в монашеском пении не просто впустую потраченное время между допросами и сбором улик.

Сама молитва стала уликой.

Григорианские песнопения. Все подозреваемые выстроились в два ряда лицом друг к другу.

Очевидны ли признаки разлада? Сумеет ли он разглядеть их теперь, когда знает об этом? Бовуар поймал себя на том, что заворожен ритуалом. И монахами.

– Служба первого часа стала последней для приора, – прошептал Гамаш, когда они поклонились и выпрямились; Бовуар обратил внимание, что правая рука шефа не дрожит – тремора нет. – Его убили вчера почти сразу же по ее окончании.

– Мы пока так и не знаем точно, куда он пошел после службы, – прошептал Бовуар, когда они присели на скамью, готовые тут же встать.

Он уже понял, что это такой прикол. Не прошло и нескольких секунд, как им снова пришлось подняться на ноги.

– Верно. Когда они закончат, нам нужно будет проследить, кто из них куда пойдет.

Старший инспектор не сводил глаз с монахов. По мере того как продолжалась молитва первого часа, солнце поднималось все выше и все больше света попадало внутрь через окна центральной башни. Солнечные лучи били в старинное стекло и преломлялись. Распадались на составляющие. На все известные в природе цвета. А те ложились на алтарь, освещали монахов и их музыку. Возникало впечатление, что звуки и веселые лучи смешиваются, сливаются в одно. Исполняют совместный номер в алтаре.

Большинство впечатлений Гамаша о церкви носило довольно мрачный характер, а потому он искал и обрел своего Бога в другом месте.

Но сейчас что-то изменилось. Он чувствовал радость. И не случайно. Гамаш на мгновение отвел глаза от монахов, посмотрел в потолок. Балки и контрфорсы. И окна. Архитектор, построивший Сен-Жильбер-антр-ле-Лу, намеренно создал эту церковь как сосуд для света и звука.

Идеальная акустика сочеталась с игривым светом.

Гамаш опустил взгляд. Голоса монахов казались еще прекраснее, чем вчера. Теперь в них слышалась скорбь, но еще и живость в звуках, приподнятость. Песнопения звучали одновременно торжественно и радостно. Приземленно и окрыленно.

И Гамаш снова подумал о страничке со старинными невмами, которую он для вящей сохранности засунул в книжку медитаций. Невмы временами казались ему крыльями в полете. Не хотел ли композитор, написавший древние песнопения, передать именно такую мысль? Что его музыка не принадлежит земле?

Бовуар, конечно, попал в цель. Музыка одновременно трогала и возвышала Гамаша. Ему хотелось потеряться в этих мягких, успокаивающих голосах, которые так хорошо сочетались один с другим. Призывали оставить все заботы, отбросить тяжелые мысли. Забыть, для чего он приехал сюда.

Музыка звучала заразительно и коварно.

Гамаш улыбнулся, понимая, что нелепо обвинять в чем-то музыку. Если он забудется, расслабится, то вина будет лежать только на нем самом. Не на монахах. Не на музыке.

Старший инспектор удвоил усилия и в очередной раз осмотрел ряды монахов. Это отчасти напоминало игру.

«Найди главного».

Теперь, когда приора больше не было, кто взял на себя руководство знаменитым хором? А ведь кому-то определенно пришлось это сделать. Как он и сказал Бовуару, ни один хор не управляет сам собой. Кто-то из монахов выполнял эту обязанность, применяя движения столь незаметные, что их не видел даже опытный следователь.

Когда служба первого часа закончилась, старший инспектор и Бовуар встали у своей скамьи, наблюдая за монахами.

Бовуар подумал, что в бильярде бывает нечто похожее во время разбивки. Шары разлетаются в разные стороны. Именно так это и выглядело. Монахи шли кто куда – каждый по своим делам. Все врассыпную, хотя от стен и не отскакивали.

Бовуар собрался было отпустить какое-то саркастическое замечание, но передумал, увидев лицо шефа, строгое, задумчивое.

Жан Ги проследил за его взглядом и увидел брата Люка, который медленно, почти неохотно шел к двери, выходящей в длинный-предлинный коридор с запертой дверью в самом конце. Выходом. И маленькой каморкой с надписью «Привратницкая».

Брат Люк был совершенно один и казался одиноким.

Шеф смотрел на него проницательным и в то же время озабоченным взглядом. И Жан Ги подумал, что шеф смотрит на брата Люка, а видит, вероятно, других молодых людей. Тех, которые вышли в дверь и не вернулись.

Тех, которые выполняли приказы Гамаша. Подчинялись Гамашу. Но если его шеф вернулся со шрамом у виска и тремором руки, то они не вернулись вообще.

Может, и правда шеф смотрел на брата Люка, а думал о них?

У Гамаша был встревоженный вид.

– Все в порядке, patron? – прошептал Бовуар.

Акустика Благодатной церкви подхватила его слова, усилила их. Старший инспектор Гамаш не ответил. Он продолжал смотреть. На закрывшуюся дверь, за которой только что исчез брат Люк.

В одиночестве.

Остальные монахи в черных мантиях вышли через другие двери.

Наконец Гамаш и Бовуар остались одни в Благодатной церкви, и Гамаш повернулся к Бовуару:

– Ты вроде хотел поговорить с братом Антуаном…

– Да, – ответил Бовуар. – С солистом.

– Неплохая мысль, но я подумал, не хочешь ли ты сначала побеседовать с братом Люком?

– Нет проблем. О чем его спросить? Вы уже говорили с ним. И я тоже – в ду́ше сегодня утром.

– Выясни у него, знал ли брат Антуан о том, что приор собирался заменить его на другого солиста для следующего альбома. Побудь немного с братом Люком – не появится ли кто-то еще у дверей в течение следующего получаса.

Бовуар взглянул на часы. Служба началась в семь тридцать, а закончилась ровно сорок пять минут спустя.

– Oui, patron, – сказал он.

Гамаш снова посмотрел в ту темную часть церкви.

Бовуар охотно последовал за братом Люком – он всегда охотно выполнял все приказы шефа. Конечно, он понимал, что впустую потратит время. Пусть шеф делает вид, будто отправляет его для проведения дополнительного допроса, но Бовуар-то знал, в какой роли видит его шеф на самом деле.

В роли няньки.

Что ж, он готов выполнить приказ, если Гамашу так будет спокойнее. Бовуар даже подтер бы и спеленал сопливого монаха, если бы Гамаш попросил. И если бы это помогло избавить его от тревог.

– Поищи, пожалуйста, Симон. – Настоятель улыбнулся своему неразговорчивому секретарю и повернулся к гостю. – Сядем?

Как гостеприимный хозяин, он указал на два удобных кресла у камина. Кресла, обтянутые выцветшим ситцем, а набитые, похоже, перьями.

Отец Филипп выглядел лет на десять старше Гамаша. Наверное, ему было около шестидесяти пяти. Но он казался человеком без возраста. Гамаш подумал, что причиной тому бритая голова и мантия. Хотя морщины на лице говорили сами за себя. И никаких попыток скрыть их не предпринималось.

– Брат Симон найдет для вас план монастыря. Где-то он наверняка есть.

– Вы не пользуетесь планом?

– Да зачем он мне? Я здесь и так знаю каждый камень, каждую трещину.

«Как капитан корабля, – подумал Гамаш. – Он начинал юнгой и теперь

знает каждый уголок судна».

Настоятель чувствовал себя уверенно на командном посту. И явно не подозревал, что в монастыре зреет мятеж.

Или очень даже подозревал о том, что мятеж зреет, но знал, что его подавили. Вызов, брошенный его власти, умер вместе с приором.

Отец Филипп принялся разглаживать подлокотники кресла своими длинными руками.

– Когда я только появился в Сен-Жильбере, тут обитал один монах, обойщик по специальности. Самоучка. Кресла – его работа.

Руки настоятеля замерли и упокоились на подлокотниках, словно на руках того самого монаха.

– Им почти сорок лет. Он тогда уже был немолод и умер через несколько лет после моего приезда. Его звали брат Ролан. Мягкий, тихий человек.

– Вы помните всех монахов?

– Помню, старший инспектор. Вы помните всех ваших братьев?

– К сожалению, я единственный ребенок.

– Я неточно выразился. Я имел в виду других братьев – ваших братьев по оружию.

Старший инспектор почувствовал себя ужасно усталым:

– Я помню каждое имя, каждое лицо.

Настоятель выдержал его взгляд. В глазах монаха не было ни вызова, ни вопроса. У Гамаша даже возникло ощущение, что его поддерживают под локоть, чтобы не упал.

– Я так и думал.

– К сожалению, среди моих агентов нет таких умельцев. – Гамаш тоже разгладил выцветший ситец.

– Живи вы и работай здесь, поверьте мне, они бы стали умельцами, даже если бы прежде ни о чем таком не помышляли.

– Через вас проходят все новички?

Настоятель кивнул:

– Мне приходится выезжать, чтобы их найти. Из-за нашей истории мы приняли обет не только молчания, но и невидимости. Обязательство сохранить существование нашего монастыря…

Он поискал подходящее слово. Ему явно нечасто приходилось объясняться по такому поводу. А может быть, вообще никогда.

– …в тайне? – закончил за него Гамаш.

Настоятель улыбнулся:

– Я хотел избежать слов «в тайне», но, пожалуй, они довольно точные.

На протяжении многих веков гильбертинцы вели счастливую однообразную жизнь в Англии. Но с приходом Реформации власти закрыли все монастыри. Тогда-то и начался наш упадок. Мы собрали, что могли унести, и исчезли из виду. Нашли себе уединенное место во Франции и построили там новый монастырь. Потом мы попали под пристальное око инквизиции. Святой отдел расследований еретической греховности истолковал наше стремление к уединению как подготовку заговора и сурово нас осудил.

– А сурового суда инквизиции даже врагу не пожелаешь, – сказал Гамаш.

– Врагу не пожелаешь никакого суда инквизиции. Спросите у вальденсов[42].

– У кого?

– Вот именно. Они жили неподалеку от нас во Франции, на расстоянии нескольких долин. Мы видели дым, вдыхали его. Слышали крики.

Отец Филипп помолчал, опустил глаза на руки, сцепленные на коленях. Гамаш вдруг понял: настоятель говорит так, будто видел все своими глазами. Будто вдыхал дым костров, на которых горели его братья монахи.

– И тогда мы снова собрались в дорогу, – сказал настоятель.

– Стали еще незаметнее.

Настоятель кивнул:

– Исчезли с глаз долой. Перебрались в Новый Свет в числе первых переселенцев. Вместе с первопроходцами шли иезуиты, они обращали в христианскую веру индейцев.

– А что делали гильбертинцы?

– А мы пробирались на север. – Настоятель помолчал. – Когда я говорю, что мы приехали в числе первых переселенцев, я хочу подчеркнуть, что мы приехали именно как переселенцы. Не как монахи. Мы спрятали наши мантии. Не афишировали свой духовный сан.

– Почему?

– Потому что боялись.

– Этим и объясняются мощные стены, потайные комнаты и запертые двери? – спросил Гамаш.

– Значит, вы уже обратили внимание? – с улыбкой сказал настоятель.

– У меня наметанный глаз, отец Филипп, – ответил Гамаш. – Я ничего не пропускаю.

Настоятель тихо рассмеялся. Этим утром он, как и песнопения, казался более жизнерадостным. Не таким удрученным, как вчера.

– Мы кажемся орденом опасливых.

– Я обратил внимание, что у святого Гильберта нет специализации, – сказал Гамаш. – Не стать ли ему святым покровителем испуганных?

– Ему бы это подошло. Я сообщу святому отцу в Рим, – пошутил настоятель.

Старший инспектор оценил шутку, но заподозрил, что отец Филипп не хочет иметь никаких дел с епископами, архиепископами и папами.

Больше всего гильбертинцы хотели, чтобы их оставили в покое.

Отец Филипп снова положил руку на подлокотник и вдруг нащупал дыру в ткани. Эта новость его не порадовала.

– Мы привыкли сами решать свои проблемы, – сказал он, глядя на Гамаша. – От ремонта крыши до вышедшего из строя отопления, от переломов до рака. Все монахи, живущие здесь, когда-нибудь здесь же и упокоятся. Мы всё предоставляем Господу. От дырок в ткани до урожая, до того, как и когда нам умереть.

– И то, что случилось в вашем саду, тоже дело рук Господа?

Настоятель покачал головой:

– Именно поэтому я и решил вызвать вас. Божью волю мы принимаем, какой бы суровой она иногда ни казалась. Но здесь мы столкнулись с чем-то иным. С волей человека. И нам потребовалась помощь.

– Не все из братии согласны с этим.

– Вы намекаете на выступление брата Антуана вчера за обедом?

– Да. И у него явно есть сторонники.

– Нет. – Настоятель снова покачал головой. – За два с лишним десятилетия я понял, что не все соглашаются с моими решениями. Но я никогда не беспокоюсь из-за этого.

– А что вас беспокоит, отец настоятель?

– Меня беспокоит определение различия.

– Что вы имеете в виду?

– Различия между Божьей волей и моей. А в настоящий момент меня беспокоит вопрос, кто убил Матье и почему. – Он помолчал, теребя дыру в материи. Увеличивая ее размеры. – И то, как я мог не заметить надвигающейся трагедии.

Брат Симон вернулся со свитком и развернул его на низком сосновом столике перед Гамашем и настоятелем.

– Merci, Simon, – сказал настоятель и склонился над свитком.

Брат Симон хотел было уйти, но Гамаш остановил его:

– Прошу прощения, но у меня еще одна просьба. Мне бы очень пригодилось расписание служб, трапез и всего остального, о чем мы

должны знать.

– Литургия часов, – сказал настоятель. – Симон, будь добр.

Никакой доброты от Симона ждать не приходилось, а вот распоряжения настоятеля он выполнял с готовностью. Явный сторонник отца Филиппа.

Симон вышел, и настоятель с Гамашем склонились над планом.

– И что же, вы проводите здесь весь день? – спросил Бовуар, прислонившись к дверному косяку.

– Весь день, день за днем.

– Чем же вы занимаетесь?

Даже для ушей самого Бовуара его вопрос прозвучал как банальная попытка познакомиться в захудалом баре: «Часто здесь бываешь, красотка?» Теперь ему нужно спросить у монаха, какой у того знак зодиака.

Бовуар был Раком, что его всегда раздражало. Он хотел быть Скорпионом или Львом. Или хотя бы этим, рогатым. Чем угодно, только не крабообразным, представленным в гороскопах как существо заботливое, домовитое и чувствительное.

Долбаные гороскопы.

– Читаю вот.

Брат Люк на дюйм приподнял с колен огромную книгу и снова ее опустил.

– И что читаете?

Брат Люк посмотрел на него подозрительно, словно пытаясь понять мотивы человека, с которым познакомился в душевой этим утром. Бовуар не мог не признать, что он и сам относится к себе с подозрением.

– Это книга григорианских песнопений. Я ее изучаю. Заучиваю мои партии.

Идеальное начало положено.

– Вы сказали сегодня утром, что приор собирался сделать вас солистом на следующих записях. Заменить вами брата Антуана. Брат Антуан в курсе?

– Должен быть в курсе.

– Почему вы так считаете?

– Потому что если бы брат Антуан думал, что солировать будет он, то он бы и изучал песнопения. А не я.

– Все песнопения содержатся в одной книге? – Бовуар посмотрел на фолиант, покоящийся на коленях монаха, и ему в голову пришла идея. – А кому еще об этом известно? – Бовуар кивнул на старинный том.

«Если знание – сила, – подумал он, – то эта книга всемогуща. Ключ к делу их жизни. А теперь еще и ключ к их богатству и влиянию. Тот, кто владеет книгой песнопений, владеет всем. Не книга, а их святой Грааль».

– Всем известно. Она хранится на аналое в Благодатной церкви. Мы все время заглядываем в нее. Иногда берем к себе в кельи. Ничего тут такого нет.

«Черт, – подумал Бовуар. – Забудем о святом Граале».

– Кроме того, мы сами копируем песнопения. – Брат Люк показал на тетрадь, лежащую на узком столе. – Так что у нас у всех есть копии.

– Значит, никакой тайны здесь нет? – для полной уверенности спросил Бовуар.

– Здесь? – Молодой монах положил руку на книгу. – Такие книги есть у многих монастырей. У большинства есть две или три, гораздо более внушительные, чем эта. У нас только одна, наверное, потому, что мы бедный орден. Так что мы должны обращаться с ней осторожно.

– Не читать ее, лежа в ванне? – предположил Бовуар.

Люк улыбнулся. Бовуар в первый раз увидел улыбку на лице обычно мрачного монаха.

– Когда вы собирались делать новую запись?

– Это еще не решено.

Бовуар обдумал его слова.

– Что не решено? Когда будет запись или будет ли она вообще?

– Окончательное решение о новой записи еще не принято, но вряд ли на этот счет были какие-то сомнения.

– Однако вы дали понять старшему инспектору, что работа над записью идет полным ходом, что это fait accompli[43]. А сейчас вы говорите иное.

– Это просто вопрос времени, – пояснил Люк. – Если приор чего-то хотел, то он своего добивался.

– А брат Антуан? – спросил Бовуар. – Как он отнесся к этой новости?

– Он ее принял. Мы обязаны подчиняться.

Не потому, что брат Антуан такой смиренный. Не потому, что этого требовала его вера, – просто спорить с приором не имело смысла. Легче было взять и убить его.

Не это ли послужило мотивом? Может быть, брат Антуан размозжил голову приора, потому что тот решил взять другого солиста? В ордене, который существует ради григорианских песнопений, солист занимает особое место.

Он равнее других, как писал Оруэлл. А люди постоянно убивают из-за таких вещей.

Глава пятнадцатая

Солнечные лучи проникли сквозь освинцованное стекло и легли на план монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. План, начертанный на очень старой, плотной бумаге, свидетельствовал о том, что монастырь имеет форму креста. Обнесенные стеной площадки примыкали к двум перекладинам, а в нижней части креста располагался сад настоятеля.

Старший инспектор надел очки и наклонился поближе к свитку, изучая рисунок. В саду настоятеля он, естественно, уже побывал. А несколько часов назад в обнесенном стеной дворе у правой перекладины, где содержались козы, овцы и куры, они с братом Бернаром собирали яйца.

Его взгляд переместился на противоположную сторону перекладины, с шоколадным цехом, трапезной и кухнями. И еще одним двором, обнесенным стеной.

– Что здесь, отец Филипп? – спросил старший инспектор.

– Наш огород и травяной сад. Мы, разумеется, все выращиваем сами.

– И вам хватает?

– Число наших монахов никогда не превышало двадцати четырех. Основатели сочли, что это идеальное число. Для работ достаточно. И в то же время не слишком много ртов. Время подтвердило их правоту.

– Но у вас тридцать келий. Есть место для большего числа монахов. Почему?

– На всякий случай, – ответил настоятель. – Как вы правильно заметили, старший инспектор, мы – орден опасливых. Что, если нам понадобится больше места? Что, если кто-то приедет? Мы готовы к неожиданностям, хотя идеальное число – двадцать четыре.

– Но вас осталось двадцать три. Открылась вакансия.

– Да. Я не заглядывал так далеко вперед.

Старший инспектор не знал, говорит ли настоятель правду. И еще он подумал: вот и мотив. Если настоятель сам находил новых монахов, то мог присмотреть какого-то кандидата и собирался пригласить его в монастырь.

Но чтобы принять нового, нужно освободить для него место. И лучший кандидат на уход – конечно, смутьян-приор.

Гамаш отмел эту гипотезу, но без особого воодушевления. Даже в безжалостном мире университетов или нью-йоркских кооперативов, где число мест ограниченно, люди редко перерезают друг другу глотку. Или разбивают голову.

Гамаш видел множество причин, по которым настоятель мог убить приора, но чтобы образовалась вакансия для кого-то другого… очень маловероятно.

– Кто последний из найденных вами монахов?

– Брат Люк. Он появился чуть меньше года назад из монастыря близ американской границы. Там тоже занимаются музыкой. Бенедиктинцы. Великолепный сыр. Мы меняем шоколад на их сыр. Вы ели его за завтраком.

– Восхитительный сыр, – подтвердил Гамаш, желая поскорее вернуться от сырной темы к убийству. – Почему вы выбрали брата Люка?

– Я приглядывал за ним с тех пор, как он поступил в семинарию. У него прекрасный голос. Необыкновенный голос.

– А что еще он принес?

– Прошу прощения?

– Насколько я понимаю, умение петь – ваше первейшее требование…

– Первейшее мое требование – смирение, – перебил его настоятель. Голос его по-прежнему звучал приятно, но интонация угадывалась безошибочно. Он хотел, чтобы у Гамаша не осталось на сей счет никаких сомнений. – Прежде всего я должен верить, что брат будет отвечать целям Сен-Жильбера – соединиться с Господом через Христа. Если он удовлетворяет этому требованию, то я рассматриваю другие параметры.

– Например, его голос, – подхватил Гамаш. – Но ведь должно быть что-то еще, правда? Еще какой-то навык. Вы сами говорили, что монастырь должен быть самодостаточным.

Впервые настоятель замешкался с ответом. Как будто не знал, что сказать.

– У брата Люка есть преимущество молодости. Он обучаем.

Но Гамаш почувствовал трещинку, слабину. Опасение. И продолжил наступление:

– Однако все остальные монахи имеют какую-то профессию. Вот, к примеру, брат Александр стареет и, возможно, ему уже не по силам работать с животными. Не благоразумнее ли подыскать ему замену?

– Вы сомневаетесь в разумности моего решения?

– Конечно. Я во всем сомневаюсь. Зачем приглашать брата Люка, если он ничего не умеет – только петь?

– Я решил, что на данном этапе его голоса будет достаточно. Я уже сказал, что его можно научить и другим вещам, например уходу за животными, – брат Александр будет ему в помощь, если брат Люк продемонстрирует свою пригодность к этому делу. Нам здорово повезло.

– Что вы имеете в виду?

– Нам не нужно упрашивать других монахов приезжать к нам. Молодые монахи заинтересованы в нас. Вот одно из благодатных последствий записи. Теперь у нас есть выбор. А когда они будут приезжать, мы станем их обучать. Пожилой монах сумеет обучить молодого, как брата Ролана обучили искусству обивки.

– Брат Люк тоже сможет научиться обивать мебель, – сказал Гамаш и увидел улыбку на лице настоятеля.

– Неплохая идея, старший инспектор. Merci.

И все же Гамаш не получил полного объяснения, почему в случае с братом Люком настоятель отказался от обычного принципа подбора монахов и вместо опытного, подготовленного человека выбрал ничего не умеющего новичка. Правда, обладающего одним выдающимся талантом – необычным голосом.

Гамаш посмотрел на план, лежащий перед ним на столе. Что-то было не так с этим планом. У Гамаша возникло какое-то странное ощущение, как в павильоне смеха. Легкое беспокойство.

– Здесь всего одна потайная комната? – спросил он, указывая на зал для собраний братии.

– Насколько мне известно, одна. Всегда ходят слухи о каких-то давно забытых туннелях и склепах с сокровищами, но ничего такого тут никогда не находили. По крайней мере, насколько я знаю.

– А что говорят слухи о сокровище? Что оно собой представляло?

– Обычно это очень туманные слухи, – с улыбкой ответил настоятель. – Вряд ли там могло быть что-то существенное, ведь двум дюжинам монахов предстояло доставить свой груз вверх по реке из самого Квебек-Сити. И уж поверьте мне, с собой брали главным образом то, что можно есть или надеть.

Поскольку Гамаш и сам следовал такому правилу во время своих командировок, он принял объяснение настоятеля. И потом, какие могли быть драгоценности у людей, принявших обет молчания, бедности и изоляции? Но, не успев задать себе этот вопрос, он уже знал ответ. У людей всегда есть что-то дорогое для них. У маленьких мальчиков – стрелы для лука и камешки «кошачий глаз». У ребят постарше – модная футболка и подписанная знаменитостью бейсболка. А у взрослых мальчиков? Даже если они монахи, это еще не означает, что у них нет своего сокровища. Просто для других такое сокровище не имеет никакой ценности.

Он прижал рукой кончик свитка, чтобы не скручивался. Потом

осмотрел то место, к которому прикасались его пальцы.

– Такой же материал, – сказал он, проводя рукой по свитку.

– Такой же, как где? – спросил настоятель.

– Как здесь. – Старший инспектор снова вытащил листок из книги и положил его поверх плана. – Песнопение написано на таком же пергаменте, что и план монастыря. Не означает ли это, что оно, – он прикоснулся к листку с песнопением, – такое же старинное, как и другой пергамент? – Он кивнул на план монастыря. – Могли ли они быть созданы одновременно?

На плане стоял год – 1634 – и подпись: «Отец Клеман, настоятель монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу». Ниже подписи – две уже знакомые Гамашу фигуры. Спящие волки, переплетенные в один клубок.

Entre les loups. Среди волков. Такая формула предполагала согласие, достижение мира, а не наказание или бойню. Вероятно, спасшиеся от инквизиции не склонны быть свидетелями мучений других. Даже волков.

Гамаш сравнил начертание букв на плане и листке с хоралом. Оба почерка простые, буквы не столько написаны, сколько нарисованы. Каллиграфом. Похоже на одну руку. Но утверждать, что оба документа написаны одной рукой в 1634 году, мог бы только почерковед.

Отец Филипп покачал головой:

– Материал определенно один и тот же. Но вот возраст… Я думаю, что песнопение записано гораздо позднее и его автор использовал пергамент, чтобы запись казалась старой. У нас еще остались листы пергамента, они изготовлены монахами столетия назад. До появления бумаги.

– Где вы их храните?

– Симон! – громко позвал настоятель, и тут же появился брат Симон. – Ты можешь показать старшему инспектору наш пергамент?

Брат Симон всем своим видом давал понять, что и без того уже переработал. Но он кивнул и прошел по комнате. Гамаш последовал за ним. Монах вытащил ящик, наполненный желтыми листами.

– Все на месте? – спросил Гамаш.

– Не знаю, – ответил Симон. – Никогда их не пересчитывал.

– Для каких нужд вы их используете?

– Ни для каких. Они просто лежат здесь. На всякий случай.

«На случай чего?» – подумал Гамаш.

– Кто мог взять отсюда лист? – спросил он, чувствуя себя так, словно попал на игру «Двадцать вопросов».

– Любой, – ответил брат Симон, закрывая ящик. – Он никогда не запирается.

– Но ваш кабинет запирается? – обратился к настоятелю Гамаш.

– Никогда.

– Он был заперт, когда мы приехали, – напомнил старший инспектор.

– Это я его запер, – сообщил брат Симон. – Не хотел, чтобы тут что-то трогали до вашего появления.

– А когда вы ушли за настоятелем и доктором, вы запирали дверь?

– Oui.

– Зачем?

– Не хотел, чтобы кто-нибудь наткнулся на тело. – Монах слегка насторожился и кинул взгляд на настоятеля, который сидел и тихо слушал.

– Тогда вы уже знали, что приора убили?

– Я знал, что он умер не естественной смертью.

– Сколько людей заходит в сад отца Филиппа? – спросил Гамаш, и монах опять стрельнул глазами в настоятеля.

– Нисколько, – ответил настоятель, встал и подошел к ним.

«Чтобы спасти монаха?» – подумал Гамаш. Ощущение было именно такое. Только он не понимал, почему брат Симон нуждается в спасении.

– Кажется, я уже говорил, старший инспектор, что сад принадлежит мне. Он для меня что-то вроде святилища. Сюда приходил Матье. За садом ухаживает брат Симон, в остальном сад исключительно мой.

– Почему? – спросил Гамаш. – Большинство других мест в монастыре предназначено для общего пользования. Почему ваш сад – личный?

– О том нужно спросить отца Клемана, – ответил настоятель. – Он создатель монастыря. Он предусмотрел сад, и потайной зал для собраний братии, и все остальное. Он был выдающимся архитектором. Известным в свое время. Вы сами можете оценить его величие.

Гамаш кивнул. Да, он уже оценил. «Величие» – весьма подходящее слово. Оно проявлялось не только в простых, изящных линиях, но и в размещении окон.

Каждый камень уложен на свое место. Ничего лишнего. Никаких декоративных элементов. Все имеет свое обоснование. Да и сад настоятеля совсем не случайно сделали приватным, если не тайным.

Гамаш снова обратился к брату Симону:

– Если в саду никто больше не бывает, то почему у вас возникла мысль, что кто-то из монахов может наткнуться на тело брата Матье?

– Я не ожидал найти приора в саду, – ответил Симон. – И не знал, чего еще можно ожидать.

Гамаш пристально посмотрел на насторожившегося монаха. Наконец он кивнул и снова обратился к настоятелю:

– Мы говорили о листке, найденном на теле приора. Вы считаете, что материал старый, но запись – нет. Почему вы так думаете?

Они вернулись в свои кресла, а брат Симон остался на заднем плане – убирал листы пергамента, наблюдал, прислушивался.

– Во-первых, чернила слишком темные, – сказал отец Филипп, разглядывая лист. – Пергамент со временем впитывает в себя жидкость, и то, что остается на поверхности, уже и не чернила, а пятно в форме слова. Это видно на плане монастыря.

Гамаш наклонился над свитком. Настоятель был прав. Гамаш полагал, что со временем и под воздействием света черные чернила слегка выцветают, но происходило нечто иное. Пергамент впитывал их в себя. Цвет сохранялся внутри материала, а не на поверхности.

– А здесь чернила еще не впитались. – Настоятель показал на желтый пергамент.

Гамаш нахмурился, впечатленный этим обстоятельством. Ему еще придется проконсультироваться с экспертами-криминалистами, но он подозревал, что отец Филипп прав. Песнопение на пожелтевшем пергаменте написано недавно, его только пытались выдать за старинное. Изготовили для обмана.

– Кто это сделал? – спросил Гамаш.

– Не знаю.

– Позвольте тогда спросить иначе. Кто мог бы это сделать? Вам известно, что лишь немногие могут исполнять григорианские песнопения, не говоря уже о том, чтобы записывать их, даже поддельные, с использованием вот этого. – Он ткнул указательным пальцем в одну из невм.

– Мы живем в разных реальностях, старший инспектор. То, что очевидно вам, далеко не очевидно мне.

Настоятель вышел и тут же вернулся с тетрадью, явно современной. Открыл ее. Внутри, на левой странице, Гамаш увидел латинский текст и закорючки невм. Справа тот же текст сопровождался не невмами, а современной музыкальной нотацией.

– Одно и то же песнопение, – пояснил отец Филипп. – С одной стороны в старой форме, записанное невмами, а с другой – современными нотами.

– Кто его записал?

– Я. Моя ранняя попытка расшифровать старые песнопения. Боюсь,

что получилось не очень хорошо, не очень аккуратно. Более поздние выглядят лучше.

– А где вы взяли старое песнопение? – Гамаш показал на страницу с невмами.

– Из нашей книги песнопений. Прежде чем вы начнете впадать в раж, старший инспектор…

Уже в который раз Гамаш отметил, что даже малейшее изменение в выражении его лица не остается незамеченным этими монахами. В монастыре легчайшее проявление любопытства считалось «впадением в раж».

– …позвольте сообщить вам, что во многих монастырях есть как минимум одна, а нередко и несколько книг песнопений. Наша из наименее значительных. Рукопись не иллюминирована – никаких иллюстраций. По церковным стандартам довольно неинтересная книга. Я подозреваю, что в те времена все нищие гильбертинцы могли позволить себе такое приобретение.

– И где хранится ваша книга песнопений?

«Может быть, – подумал Гамаш, – книга и есть их сокровище, которое они прячут. А охрана древней книги является обязанностью одного из монахов. Возможно даже, что убитого приора. Насколько влиятельным делала эта обязанность брата Матье?»

– Она хранится на аналое в Благодатной церкви, – сказал настоятель. – Если ее открыть, то она громадная. Но по-моему, брат Люк держит ее теперь в своей каморке. Изучает.

Настоятель едва заметно улыбнулся, увидев тень разочарования на лице старшего инспектора.

Гамаша сильно смущало, что его чувства так легко прочесть. Кроме всего прочего, это сводило на нет все предполагаемые преимущества следователя: подозреваемые не должны знать, что на уме у полиции. Но настоятель, казалось, знал или провидел почти все.

Впрочем, отец Филипп не был ясновидящим всезнайкой. Ведь он даже не догадывался о том, что среди монахов есть убийца. Или все же догадывался?

– Видимо, вы хорошо умеете читать невмы, – сказал старший инспектор, возвращаясь к тетради настоятеля. – Вы ведь сумели перевести их в современную нотацию.

– Вашими бы устами да мед пить. Я не худший, но далеко не лучший знаток. Мы все умеем читать невмы. Для каждого новичка, приезжающего в Сен-Жильбер, это первостепенная необходимость. Как и для брата Люка.

Начать переписывать григорианские хоралы современной музыкальной нотацией.

– Зачем?

– В некотором роде это первое испытание. Так мы проверяем преданность монаха делу. Если человек не предан беззаветно григорианским песнопениям, то для него такое задание будет тяжким трудом. Хороший способ отсеять любого дилетанта.

– А для тех, кто беззаветно предан?

– Для них такое занятие – блаженство. Мы ждем не дождемся, когда можно будет подойти к книге. Поскольку она лежит на аналое, мы заглядываем в нее когда угодно.

Настоятель опустил глаза на тетрадь, перелистал несколько страничек, улыбаясь, иногда покачивая головой и даже тьфукая при виде ошибок. Гамаш вспомнил, как его дети, Даниель и Анни, просматривали альбомы с собственными детскими фотографиями. Смеялись, иногда поеживались, реагируя на прически, одежду.

Монахи не хранили альбомов с фотографиями. Или семейных снимков. Все это им заменяли тетради с невмами и нотами. Песнопения вытеснили семью.

– Сколько времени нужно, чтобы переписать всю Книгу песнопений?

– Целая жизнь. На переписку одного хорала иногда уходит целый год. Это превращается в удивительно прекрасные отношения, очень интимные.

Настоятель на какое-то мгновение перенесся куда-то в другое место. Место, где нет ни стен, ни убийства, ни офицера Квебекской полиции, задающего вопросы.

Потом он вернулся:

– Поскольку это работа долгая и сложная, большинство из нас умирает, так и не успев закончить.

– А что случилось вот только что? – спросил Гамаш.

– Вы о чем?

– Когда вы говорили о музыке, ваш взгляд словно подернулся дымкой. У меня создалось впечатление, будто вы куда-то уплыли.

Настоятель обратил свой проницательный взгляд на старшего инспектора. Но промолчал.

– Подобное выражение я видел у вас и прежде, – заметил Гамаш. – Когда вы пели. Не один вы, а вместе со всеми.

– Наверное, это радость, – сказал настоятель. – Стоит мне подумать о песнопениях, как мне кажется, что все заботы куда-то уходят. В таком состоянии я ближе всего к Богу.

Но Гамаш видел такое выражение и на других лицах. В провонявших, грязных, убогих комнатах. Под мостами и в холодных проулках. На лицах живых, а иногда и мертвых людей. Выражение экстаза. Экстаза особого рода.

Эти люди достигали экстаза не благодаря песнопениям, а с помощью шприца, кокаина и маленьких таблеток. И иногда они оттуда не возвращались.

Если религия была опиумом народа, то чем тогда были песнопения?

– Если уж вы переписываете одни и те же песнопения, то разве не проще переписывать у других? – спросил старший инспектор, думая о том, что сказал настоятель, прежде чем отбыть в свою благодать.

– Предлагаете мошенничать? Вы живете в ином мире.

– Я просто спросил, – улыбнулся Гамаш. – Не высказывая никаких предложений.

– Наверное, можно и так, но тогда это не тяжкий труд. Суть не в том, чтобы переписать песнопения, а в том, чтобы заучить их, жить внутри музыки, слышать голос Господа в каждой ноте, каждом слове, каждом дыхании. Любой, кто выбрал бы короткий путь, не смог бы посвятить свою жизнь григорианским песнопениям и провести годы жизни здесь, в Сен-Жильбере.

– Кому-нибудь удавалось переписать всю Книгу песнопений?

– Насколько я знаю, всего нескольким монахам. Но не при моей жизни.

– А что происходит с тетрадями после их смерти?

– Их сжигают на специальной церемонии.

– Вы сжигаете книги? – поразился Гамаш.

– Сжигаем. Тибетские монахи долгие годы создают замысловатые художественные творения на песке, а когда заканчивают, тут же их уничтожают. Суть в том, чтобы не прикипать душой к предметам. Божественный дар – музыка, а не рабочая тетрадь.

– Наверное, это мучительно.

– Да. Но вера нередко мучительна. И нередко радостна. Две половинки целого.

– Значит, вы не считаете, что текст на пергаменте приора так стар? – Гамаш снова посмотрел на пожелтевший лист, лежащий поверх плана монастыря.

– Не считаю.

– Что еще вы можете сказать?

– Очевидна разница между песнопениями – именно поэтому я и показал вам мою рабочую тетрадь.

Настоятель положил желтый лист в свою тетрадь, закрыв им страницу с современной нотацией. Два песнопения с невмами оказались рядом. Старший инспектор принялся сравнивать их. Почти минуту он просидел молча, рассматривая листы. Переводя взгляд с одного на другой. Изучая слова и значки, заполнившие страницы.

Потом его взгляд замер на одной странице. Спустя какое-то время он переместился на другую.

Когда Гамаш оторвал глаза от тетради, в них сверкала искорка открытия, и настоятель улыбнулся, как мог бы улыбнуться сообразительному молодому послушнику.

– Тут разные невмы, – сказал Гамаш. – Нет, они не разные. Но на листке, который мы нашли на теле приора, их больше. Гораздо больше. Теперь, когда я имею возможность сравнить их, мне это очевидно. В вашей тетради, скопированной с оригинала, на каждую строчку всего несколько невм. А листок приора пестрит ими.

– Вот именно.

– И что из этого следует?

– Опять же я не могу сказать наверняка. – Настоятель склонился к желтому листку. – Невмы служат только одной цели, старший инспектор. Они задают направление. Вверх-вниз, быстро-медленно. Они – знаки, сигналы. Как руки дирижера. Я думаю, тот, кто это написал, предполагал, что оно будет исполняться несколькими голосами, которые следуют разным указаниям. Это не одноголосие. Это сложное, многослойное пение. И еще оно довольно быстрое, в энергичном темпе. И… – Настоятель помедлил.

– Да?

– Я уже говорил, что на самом деле я не специалист. Специалистом был Матье, но его больше нет. И мне кажется, дополнительные невмы подразумевают инструментальное сопровождение. Вероятно, одна из строк невм предназначена для музыкального инструмента.

– И это отличалось бы от григорианского песнопения?

– Преобразило бы его. Превратило бы в нечто такое, чего прежде никто не слышал.

Гамаш уставился на желтый листок.

Странно, что монахи, которых никто не видел, владеют чем-то, чего никто не слышал.

И один из них, приор, найден мертвым, свернувшимся в позе эмбриона. Как мать, защищающая нерожденное дитя. Или солдат, защищающий собой братьев по оружию от взрыва гранаты.

Гамашу хотелось знать, что перед ним – Божественное

или сатанинское?

– А у вас есть какой-нибудь музыкальный инструмент?

– Есть пианино.

– Пианино? Вы собирались его съесть? Или носить?

Отец Филипп рассмеялся:

– Его привез один из монахов несколько лет назад, и нам не хватило духу отправить его обратно. – Он улыбнулся. – Мы преданы григорианским песнопениям, они – наша страсть, но, вообще-то, мы любим любую церковную музыку. Многие из наших братьев великолепные музыканты. У нас есть блок-флейты и скрипки. Или их называют фиддлы? Никогда не мог понять, в чем разница.

– Одна поет, другая танцует, – сказал Гамаш.

Настоятель посмотрел на него с интересом:

– Какое занятное определение.

– Так мне объяснил один коллега. Я многому у него научился.

– Он не хотел бы стать монахом?

– К сожалению, для него это уже поздно.

И опять отец Филипп правильно истолковал выражение лица Гамаша и не стал развивать тему.

Гамаш взял листок:

– Ксерокса у вас, вероятно, нет?

– Нет. Но у нас есть двадцать три монаха.

Гамаш улыбнулся и протянул лист настоятелю:

– Нельзя ли его скопировать? Если вы сделаете читаемую копию, то очень меня выручите – я перестану таскать с собой оригинал. И может быть, вам удастся переложить невмы в ноты, как думаете?

– Мы попытаемся.

Отец Филипп позвал секретаря и объяснил ему, что требуется.

– Переложить на ноты? – спросил Симон с угрюмым видом.

Монастырский ослик Иа-Иа.

– Именно. А пока сделай копию, чтобы мы могли вернуть оригинал старшему инспектору. И конечно, копия должна быть максимально близка к оригиналу.

– Конечно, – сказал Симон.

Отец Филипп отвернулся, и Гамаш уловил промелькнувшее на лице Симона кислое выражение. Нацеленное в спину настоятелю.

Возможно ли, что брат Симон вовсе не человек настоятеля?

Гамаш посмотрел через освинцованное стекло. Оно несколько искажало находившийся за ним мир. И все же Гамаш хотел войти в этот

мир. Постоять на солнце. Хотя бы на короткое время покинуть обитель косых взглядов и непонятных союзов. Музыкальных нот и завуалированных выражений.

Пустых глаз и экстаза.

Гамашу хотелось пройтись по саду настоятеля. Как бы его ни вспахивали, как бы ни пропалывали, ни подрезали, все без толку. Приручить природу невозможно.

И тут он понял, что вызвало у него легкое замешательство в тот первый момент, когда он увидел план монастыря.

Он снова взглянул на план.

Сады, обнесенные стенами. На плане у них у всех одинаковая площадь. Но на самом деле площадь разная. Сад настоятеля гораздо меньше двора, где находятся животные. Судя же по плану, размер у них абсолютно одинаковый.

Архитекторы-строители исказили план. Задали неправильные перспективы.

То, что казалось одинаковым, таковым не было.

Глава шестнадцатая

Инспектор Бовуар оставил брата Люка с огромной книгой на тощих коленях. Он пришел к нему, думая, что бедняга будет рад его компании, а уходя, понял, что своим разговором только отвлек его от дела. На самом деле молодой монах хотел одного: чтобы ему не мешали.

Жан Ги отправился на поиски брата Антуана, но задержался в Благодатной церкви, чтобы проверить свой смартфон.

И конечно, обнаружил на нем два послания от Анни. Оба короткие. Ответ на его утреннее и еще одно – с описанием событий дня на момент отправки письма. Бовуар прислонился к холодной каменной стене церкви и улыбнулся, начав набирать ответ.

Грубоватый и двусмысленный.

Ему хотелось рассказать Анни об утренних приключениях ее отца, которого монахи застали в алтаре в пижаме и халате. Но история была слишком хороша – не следовало портить ее коротким текстом. Он отведет Анни в кафе близ ее дома и расскажет ей все за стаканчиком вина.

Закончив свое туманно-эротическое послание, он свернул направо и заглянул в шоколадный цех. Там он увидел брата Бернара – тот выуживал ягоды из чана с темным шоколадом.

– Брат Антуан? – переспросил Бернар, отвечая на вопрос полицейского. – Поищите его либо в кухне, либо в саду.

– В саду?

– Дверь в конце коридора.

Он махнул деревянной ложкой, и капельки шоколада упали на его фартук. У монаха было такое лицо, будто он вот-вот выругается, и Бовуар задержался – захотел услышать, как бранятся монахи. Как и остальные квебекцы? Как и сам Бовуар? Что они поминали бранным словом – не церковь ли? Calice! Tabernac! Hostie![44] Квебекцы обратили религиозные слова в ругательства.

Но монах не сказал больше ни слова, и Бовуар ушел. Заглянул в сверкающую нержавеющей сталью кухню по соседству. Вот, значит, куда пошла часть заработанных музыкой денег. Брата Антуана в кухне не оказалось. Здесь витали ароматы закипающего супа и свежего хлеба. Наконец Бовуар добрался до большой деревянной двери в самом конце коридора. И открыл ее.

Почувствовал дуновение осеннего воздуха, свежего и прохладного.

Солнечные лучи на своем лице.

Он и понятия не имел, как ему не хватает солнца, пока оно не вернулось. Глубоко вздохнув, он шагнул в сад.

Книжный шкаф настоятеля отъехал в сторону, и перед Гамашем открылся яркий, свежий мир. Мир зеленой травы и последних цветов, аккуратно подстриженных кустарников и громадного, теряющего последние листья клена. На глазах у Гамаша от ветки оторвался ярко-оранжевый листик, раскачиваясь, полетел вниз и плавно опустился на землю.

Взору Гамаша предстал мир, обнесенный стеной. Мир кажущейся безопасности при реальном ее отсутствии.

Гамаш почувствовал, как его нога погрузилась в мягкую траву, ощутил терпкий запах осени в утреннем воздухе. Монотонно жужжали насекомые, почти что пьяные от сочного сентябрьского нектара. Воздух был прохладный, но теплее, чем предполагал старший инспектор. Он подумал, что стены, вероятно, служат преградой для ветра и ловушкой для солнечных лучей. Создают здесь собственную микросреду.

Гамаш попросил выпустить его в сад не только потому, что хотел вдохнуть свежего воздуха и насладиться солнечным светом: прошло почти ровно двадцать четыре часа с того момента, когда здесь стояли два человека.

Убийца и брат Матье.

А теперь здесь стояли старший инспектор отдела по расследованию убийств и настоятель монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Гамаш посмотрел на часы. Время только-только перевалило за половину девятого.

Когда именно собеседник приора понял, что он собирается делать? Пришел ли он в сад уже с намерением убить? Или это был внезапный порыв, заставивший его поднять камень с земли и нанести удар? Или же он давно вынашивал план убийства?

Когда он принял решение убить?

И когда брат Матье понял, что будет убит? Даже что он уже убит. Он явно прожил еще несколько минут после нанесенного удара. Он отполз к дальней стене. Подальше от здания монастыря. Подальше от ярких и теплых солнечных лучей. В темноту.

Был ли это простой инстинкт, как предположил кто-то? Инстинкт животного, которое хочет умереть в одиночестве. Или за этим стояло что-то иное? Может быть, приор хотел исполнить свой последний долг?

Защитить пожелтевший лист от монахов? Или монахов от пожелтевшего листа?

– Вчера утром после службы вы проверяли геотермальную систему, – сказал Гамаш. – Вас кто-нибудь сопровождал?

Настоятель покачал головой:

– Утро – самое напряженное время в монастыре. Братья работают в саду или на скотном дворе, выполняют свои обязанности. Приходится постоянно работать, чтобы поддерживать монастырь в надлежащем состоянии.

– За хозяйство отвечает один из ваших монахов?

Настоятель кивнул:

– Брат Раймон. Он следит за инфраструктурой. Водопровод, отопление, электричество. Всякое такое.

– И вы, значит, встретились с ним.

– Нет. – Настоятель повернулся и медленно пошел по саду.

Гамаш последовал за ним.

– Что вы хотите сказать этим «нет»?

– Я не видел там брата Раймона. После службы первого часа он каждое утро работает в саду.

– И вы решили проинспектировать систему отопления, именно пока он в саду? – недоуменно спросил Гамаш. – Разве не логичнее было взять брата Раймона с собой?

Настоятель улыбнулся:

– Вы знакомы с братом Раймоном?

Гамаш отрицательно покачал головой.

– Приятный человек. Мягкий. Объяснялкин.

– Кто-кто?

– Он любит объяснять, как и почему работает та или иная штука. И не важно, что вот уже четырнадцать лет он каждый день объясняет мне, как работает артезианская скважина. Он все равно расскажет еще раз. – На лице отца Филиппа появилось насмешливо-любовное выражение. – Иногда я проявляю коварство и совершаю инспекцию, когда уверен, что его там не будет, – признался он старшему инспектору.

Гамаш улыбнулся. В его отделе работали несколько таких инспекторов и агентов. Они буквально прилипали к нему, объясняя тонкости дактилоскопии. Он не раз прятался от них в своем кабинете.

– А ваш секретарь брат Симон? Он пытался найти приора, а потом, отчаявшись, пошел, насколько я понимаю, на скотный двор.

– Да. Он обожает кур.

Гамаш посмотрел на настоятеля – не шутит ли тот, но настоятель был абсолютно серьезен.

Жан Ги оглядел сад. Громадный сад. Гораздо больше, чем сад настоятеля. На самом деле тут находился огород, и его главным урожаем было нечто вроде гигантских грибов.

Дюжина монахов в черных мантиях работала, стоя на коленях или согнувшись. На головах у них красовались большие экстравагантные соломенные шляпы. С широкими отвислыми полями. Надень такую шляпу один человек, он бы выглядел смешно, но в компании это казалось нормальным. Ненормальным здесь выглядел Бовуар с непокрытой головой.

Часть монахов-грибов подвязывала стебли к колышкам, направляла вьющиеся растения на решетках, пропалывала грядки, а другая часть собирала урожай в корзины.

Бовуар вспомнил свою бабушку, которая всю жизнь прожила на ферме. Невысокая, коренастая, она полжизни любила церковь, а вторые полжизни ее ненавидела. Когда Жан Ги приезжал к ней, они собирали зеленый горошек и потом лущили его, сидя на крылечке.

Теперь он понимал, что его бабушка, вероятно, все время проводила в трудах, но ему такое и в голову не приходило, когда он смотрел на нее. Вот так и эти монахи – возникало впечатление, что они все время работают, что труд их нередко тяжел, но трудятся они себе в удовольствие.

Бовуар поймал себя на том, что его почти завораживают их ритмичные движения. Вот они встают, наклоняются, опускаются на колени.

Это напомнило ему что-то. И тут он понял: если бы они еще и пели, это называлось бы мессой.

Не потому ли его бабушка любила огород? Не превратился ли ритуал труда в ее мессу: встать, поклониться, опуститься на колени? В ее веру? Не нашла ли она в огороде тот покой и утешение, которого искала в церкви?

Один из монахов заметил его и улыбнулся. Подозвал движением руки.

Обет молчания с них сняли, но они явно приняли его добровольно. Эти люди любили молчать. И Бовуар начал понимать почему.

Он подошел к монаху, и тот приподнял шляпу в старомодном приветствии. Бовуар встал рядом с ним на колени.

– Я ищу брата Антуана, – прошептал он.

Монах показал совком на дальнюю стену и продолжил работу.

Бовуар осторожно прошел между ровными грядками мимо монахов, занятых прополкой и сбором урожая, и оказался перед братом Антуаном.

Тот полол в одиночестве.

Солист.

– Бедняга Матье, – сказал отец Филипп. – Почему он пришел сюда?

– Разве вы его не звали? Вы отправили брата Симона, чтобы он пригласил к вам приора.

– Да, после одиннадцатичасовой мессы. Не после службы первого часа. А он пришел на три часа раньше.

– Может, он просто недопонял?

– Вы не знали Матье. Он редко ошибался. И никогда не приходил раньше назначенного.

– А брат Симон не мог ошибиться и назвать ему неверное время?

Настоятель улыбнулся:

– В том, что касается времени, Симон ошибается еще реже. Он еще пунктуальнее.

– А вы, отец Филипп? Вы ошибаетесь?

– Постоянно. Это одна из привилегий моего поста.

Гамаш улыбнулся. Он знал об этой привилегии не понаслышке. Но потом он вспомнил, что брат Симон, хотя и заходил в кабинет приора, не нашел его. Так что поручение настоятеля осталось невыполненным.

Тогда зачем приор явился сюда, если не для встречи с настоятелем? С кем он здесь встречался?

Очевидно, с убийцей. Хотя так же очевидно, что приор не подозревал о том, как развернутся события. Так что же привело брата Матье в сад?

– Зачем вы собирались встречаться с приором?

– По делам монастыря.

– Тут я мог бы возразить, что у вас любые дела – дела монастыря, – сказал Гамаш. Они продолжали неспешную прогулку по саду. – Но я был бы признателен, если бы вы не тратили попусту мое время, вынуждая возражать вам. Насколько я понимаю, для обсуждения монастырских проблем вы с братом Матье встречались два раза в неделю. Вчерашняя встреча была внеплановой.

Гамаш говорил рассудительно, но твердо. Он устал от настоятеля, от монахов с их уклончивыми ответами. Это все напоминало копирование чужих невм. Вероятно, копировать проще, чем писать свои, но копирование не приближало их к цели. Если их целью была истина.

– Дело было такое важное, отец Филипп, что оно не могло подождать до следующей встречи?

Настоятель сделал еще несколько шагов в тишине, только подол его

длинной черной мантии шуршал по траве и сухим листьям.

– Матье хотел поговорить о новой записи, – сказал он мрачно.

– Именно приор?

– Простите, не понял.

– Вы сказали, что Матье хотел поговорить о записи. Так кто просил о встрече: он или вы?

– Предложение исходило от него. А время назначил я. Нам нужно было договориться между собой до того, как братия в очередной раз соберется в тайном зале.

– Значит, вопрос о следующей записи вы еще не решили?

– Он его решил, а я – нет. Мы обсуждали это на собрании братии, но… – настоятель помедлил, подыскивая нужные слова, – окончательного решения не приняли.

– Не пришли к согласию?

Отец Филипп сделал несколько шагов и засунул руки в рукава. Это придало ему задумчивый вид, хотя на лице никакой задумчивости не было. Оно казалось пустым. Осеннее лицо, после того как опали все листья.

– Я ведь могу спросить и у других, – сказал старший инспектор.

– Подозреваю, что уже спросили. – Настоятель набрал полную грудь воздуха и выдохнул туманное облачко в прохладу раннего утра. – Как и в большинстве случаев, кто-то голосовал за, кто-то – против.

– Вы говорите так, словно это был один из обычных вопросов для обсуждения. Но ведь все обстояло иначе, верно?

Гамаш был настойчив, хотя и говорил мягким тоном. Он не хотел, чтобы настоятель ушел в оборону. Во всяком случае, еще больше, чем теперь. Гамаш видел перед собой настороженного человека. Но что вызвало его настороженность?

Старший инспектор твердо решил выяснить это.

– Запись изменяла монастырь, не так ли? – продолжал он гнуть свое.

Настоятель остановился, посмотрел на лес за стеной и на единственное великолепное дерево в полном осеннем цвете. Оно сияло в лучах солнца тем ярче, что вокруг него росли темные хвойные. Живой витраж. Определенно великолепнее, чем можно увидеть в великих соборах.

Настоятель подивился увиденному. Подивился он и еще кое-чему.

Тому, что он забыл, каким был Сен-Жильбер несколько лет назад. До записи. А сейчас все, похоже, определялось этим водоразделом. До и после.

Монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу прозябал в бедности и нищал

с каждым годом. До записи. Крыша протекала. При каждом дожде монахи спешно подставляли миски и кастрюли. Дровяные печи едва давали тепло. Зимой им приходилось брать дополнительные одеяла в кровати и ложиться спать не раздеваясь. Иногда, в особо сильные морозы, они вообще не ложились. Собирались в трапезной вокруг плиты. Все время подтапливали ее. Пили чай. Жарили хлеб.

Грелись теплом плиты и друг друга. Теплом своих тел.

А иногда в ожидании рассвета молились. Тихо напевали хорал. Не потому, что их призвал звон колокола. А потому, что они боялись холода и ночи.

Они молились, потому что молитва приносила им радость. Молились ради удовольствия.

Матье всегда сидел рядом с отцом Филиппом. Они пели, и настоятель отмечал едва заметное движение руки Матье. Тот дирижировал про себя. Как если бы ноты и слова стали частью его существа. Слились в одно.

Отец Филипп хотел взять его руку в свою. Стать ее частью. Почувствовать то, что чувствует Матье. Но он, конечно, никогда не прикасался к руке Матье. И теперь уже никогда не прикоснется.

Время до записи.

Оно уже ушло. Его убили. Не ударом камня по голове Матье. Его убили еще раньше.

Той проклятой записью.

Настоятель тщательно выбирал слова, даже когда говорил сам с собой. Эта запись стала для них проклятием. Он всем сердцем жалел о том, что она появилась.

Этот крупный, спокойный, умеющий добиваться своего человек из полиции спросил, ошибается ли он когда-нибудь. И настоятель сразу ответил, что ошибается постоянно.

А нужно было сказать, что он ошибался часто, но одна его ошибка затмила все остальные. Столь впечатляющая, столь ошеломляющая, что стала необратимой.

То, что с любой стороны казалось таким правильным, таким хорошим, обернулось своей противоположностью. Гильбертинцы пережили Реформацию, пережили инквизицию. Почти четыреста лет выживали в глуши Квебека. Но их наконец обнаружили. И они пали.

А оружием против них стало то самое, что они хотели защитить. Григорианские песнопения.

Отец Филипп скорее умрет, чем повторит эту ошибку.

Жан Ги Бовуар уставился на брата Антуана.

Он словно заглянул в параллельную вселенную. Монаху исполнилось тридцать восемь – столько же, сколько и Бовуару. Рост, цвет волос, телосложение – все у них было одинаковое.

А когда брат Антуан заговорил, Бовуар услышал собственное квебекское произношение. Того же района. Восточной окраины Монреаля. Это остается в человеке, несмотря на все слои образования и потраченные усилия.

Они глядели друг на друга, и ни один из них не понимал толком, как воспринимать другого.

– Bonjour, – сказал брат Антуан.

– Salut, – приветствовал его Бовуар.

Единственное различие между ними состояло в том, что один пошел в монахи, а другой – в полицию. Они словно выросли в одном доме, но в разных комнатах.

Бовуар мог понять других монахов, по большей части людей пожилых. Они, видимо, были склонны к интеллектуальному, созерцательному образу жизни. Но этот худощавый человек?

У Бовуара слегка закружилась голова. Что могло заставить Антуана стать братом Антуаном? Почему не полицейским, как Бовуар? Или не учителем? Почему он не поступил в компанию «Хайдро-Квебек»? Или не стал лоботрясом, бродягой, балластом для общества?

Бовуар примерно представлял, какие пути приводят человека к тому или иному выбору.

Но чтобы стать монахом? Человеку его возраста? Шлявшемуся по тем же улицам?

Да сейчас никто и в церковь-то не ходит, не говоря уже о том, чтобы посвятить ей жизнь!

– Насколько я понял, вы солист хора, – сказал Бовуар.

Он стоял выпрямившись во весь рост, но все равно чувствовал себя невысоким рядом с братом Антуаном. Все дело в монашеской мантии, решил Бовуар. Она дает незаслуженное преимущество. Создает впечатление роста и авторитетности.

Не стоит ли Квебекской полиции подумать над изменением формы? Нужно сунуть записку в ящик предложений и подписаться «инспектор Лакост».

– Верно. Я солист.

Бовуар почувствовал облегчение, не услышав от монаха «сын мой». Он не знал, что стал бы делать в таком случае, но подозревал, что подобное

обращение плохо бы отразилось на репутации полиции.

– Также мне известно, что вас собирались заменить.

Реакция последовала, хотя и не та, на которую рассчитывал Бовуар.

Брат Антуан улыбнулся:

– Значит, вы уже поговорили с братом Люком. Боюсь, он ошибается.

– Мне показалось, у него на этот счет нет никаких сомнений.

– Брат Люк с трудом отделяет свои надежды от действительности. Ожидания – от реальности. Он слишком молод.

– Не думаю, что он сильно моложе Христа.

– Намекаете, что нам следует ждать второго пришествия из каморки привратника?

Бовуар, имевший смутное представление обо всем связанном с Библией, не стал спорить с монахом.

– Брат Люк, вероятно, неправильно понял приора, – сказал брат Антуан.

– Ошибиться было легко?

Брат Антуан подумал и покачал головой:

– Нет. Приор обычно выражал свои мысли довольно четко.

– Тогда почему же брат Люк считает, что приор хотел именно его назначить солистом?

– Я не могу объяснить, почему люди верят в то или иное, инспектор Бовуар. А вы?

– Я тоже, – признал Бовуар.

Он смотрел на человека своих лет, в мантии и широкополой шляпе, бритоголового, обитающего в лесной глуши среди себе подобных. Они посвятили себя церкви, от которой отказалось большинство квебекцев, и нашли смысл жизни в пении на мертвом языке, используя для записи музыки какие-то закорючки вместо нот.

Нет, Бовуар не мог объяснить это.

Но сам он за годы службы много раз опускался на колени перед трупом, так что в одном он не сомневался. Очень, очень опасно становиться между человеком и его верой.

Брат Антуан протянул Бовуару корзинку, наклонился и стал шарить в густых листьях.

– Как вы думаете, почему брат Люк – привратник? – спросил монах, не глядя на Бовуара.

– В наказание? Какой-то обряд для запугивания новичка?

Брат Антуан покачал головой:

– Все мы проходим через эту каморку, когда попадаем сюда.

– Почему?

– Чтобы мы могли уйти.

Брат Антуан сорвал пузатый кабачок и сунул его в корзину в руках Бовуара.

– Монашеская жизнь – тяжкое бремя, инспектор. А в этой глуши тяжелее всего. Не многие могут выдержать.

Это прозвучало так, словно они были морской пехотой религиозных орденов. Их жизнь была единственной в своем роде. И Бовуар почувствовал, как в его сердце шевельнулось понимание. Даже сочувствие. Это была суровая жизнь. И выдерживали ее только сильные люди. Немногие. Гордые. Монахи.

– Те из нас, кто остается в Сен-Жильбере, были призваны сюда. Но это должно быть добровольное решение. И мы должны быть уверены.

– Значит, вы испытываете всех новых монахов?

– Не мы их испытываем – испытание происходит между ними и Господом. И тут не может быть неправильного ответа. Одна только правда. Он получил дверь для охраны и ключи, чтобы уйти.

– Свободный выбор? – сказал Бовуар и снова увидел улыбку на лице монаха.

– Никто не будет ему препятствовать.

– Кто-нибудь так уже уходил из монастыря?

– Многие. Больше народа уходит, чем остается.

– А брат Люк? Он здесь уже почти год. Когда закончится его испытание?

– Когда он сам решит. Когда попросит перевести его из каморки привратника к остальной братии. Или же откроет ключом дверь и уйдет.

Еще один тяжелый кабачок оказался в корзине Бовуара.

Брат Антуан двинулся дальше вдоль грядки.

– У него здесь что-то вроде чистилища, – сказал монах, раздвигая громадные листья в поисках созревших кабачков. – Он его сам сотворил. Это, вероятно, очень мучительно для него. Он как будто парализован.

– Чем?

– Лучше уж вы мне сами скажите, инспектор. Что обычно парализует людей?

Бовуар знал ответ:

– Страх.

Брат Антуан кивнул:

– Брат Люк человек одаренный. У него лучший голос из всех нас, что, поверьте, немало. Но его поразил страх.

– Чего же он боится?

– Всего. Того, что он станет одним из нас. Или не станет. Он боится солнца и боится тьмы. Боится ночных скрипов и утренней росы. Вот почему я знаю, что брат Матье никогда не взял бы его в солисты: его голос прекрасен, но полон страха. Когда вера вытеснит страх, он станет солистом. Но не раньше.

Бовуар обдумывал услышанное, а тем временем они черепашьим шагом двигались вдоль грядки. Корзинка в руках Бовуара становилась все тяжелее.

– Но что, если приор все же выбрал его? Предположим, он решил, что большинство слушателей не заметят страха или тревоги. Возможно даже, что его участие сделает музыку привлекательнее, богаче, человечнее. Ну не знаю… Но допустим, брат Матье все же выбрал Люка. Что бы вы в таком случае чувствовали?

Монах снял соломенную шляпу, отер лоб.

– Вы думаете, я бы расстроился?

Бовуар встретился с ним взглядом. Он словно посмотрел в зеркало.

– Думаю, очень сильно.

– Вот как? Если бы человек, которым вы восхищались, которого уважали, даже почитали, предпочел вам кого-то другого, что бы вы сделали?

– Вы говорите о своем отношении к приору? Вы почитали его?

– Да. Он великий человек. Он спас монастырь. И если бы он пожелал, чтобы солистом стала обезьяна, то я бы с удовольствием стал выращивать бананы.

Бовуар поймал себя на том, что ему хочется верить брату Антуану. Вероятно, ему просто хотелось верить, что он и сам бы в такой ситуации реагировал подобным образом.

Но сомнения у него оставались.

И еще Жан Ги Бовуар сомневался в самом монахе. Под мантией, под нелепой шляпой он видел не сына Божьего, а сына человеческого. А Бовуар знал, что сын человеческий способен почти на все. Если его обходят. Если предают. В особенности если так с ним поступает тот, кого он почитает.

Бовуар знал, что корень зла не в деньгах. Нет, именно страх порождал и усугублял зло. Страх, что у тебя не хватит денег, что у тебя не будет в достатке еды, земли, власти, безопасности, любви. Страх не получить того, что ты хочешь, или потерять то, что имеешь.

Бовуар наблюдал, как брат Антуан срывает очередной спрятавшийся

под листьями кабачок. Что заставило здорового, умного молодого человека стать монахом? Вера или страх?

– Кто руководит хором после смерти приора? – спросил Гамаш.

Они дошли до конца сада и повернули в обратную сторону. Щеки у них раскраснелись от утренней прохлады.

– Я попросил брата Антуана взять на себя эту обязанность.

– Солиста? Того, кто вчера вечером бросил вам вызов?

– Того, кто после Матье самый способный музыкант в монастыре.

– А у вас не возникло желания взять руководство на себя?

– Желание возникло и все еще остается, – улыбнулся отец Филипп. – Но я не соблазнился этим фруктом. Для такой роли больше подходит Антуан, а не я.

– И в то же время он считался одним из людей приора.

– Что вы хотите этим сказать? – Улыбка сошла с лица настоятеля.

Гамаш чуть наклонил голову и посмотрел на собеседника:

– Я хочу сказать, что этот монастырь, этот орден разделен. С одной стороны люди приора, с другой – люди настоятеля.

– Абсурд! – отрезал настоятель.

Он тут же взял себя в руки, но было уже поздно. Гамаш на мгновение увидел то, что скрыто под маской. Змеиное жало высунулось на мгновение и тут же спряталось.

– Такова истина, mon père, – сказал Гамаш.

– Вы путаете разногласия и вражду, – возразил настоятель.

– Нет, не путаю. Я хорошо знаю разницу. То, что происходит здесь, и происходит, вероятно, уже довольно давно, нельзя назвать здоровыми разногласиями. И вы это знаете.

Они оба остановились и уставились друг на друга.

– Я не понимаю, о чем вы, месье Гамаш. Нет такого существа, как человек настоятеля. Или человек приора. Мы с Матье несколько десятилетий работали вместе. Он занимался музыкой, я – духовной жизнью…

– По сути, одним и тем же. Разве нет? Брат Люк говорил о песнопениях как о мостике к самому Господу.

– Брат Люк молод и имеет склонность упрощать.

– Брат Люк – один из людей приора.

Настоятель ощетинился:

– Песнопения – вещь важная, но они в нашем монастыре составляют только одну из сторон духовной жизни.

– И раскол проходит по этой линии? – спросил Гамаш спокойно, но твердо. – Те, для кого музыка имела первостепенное значение, стояли за приора. Те, кто на первое место ставил веру, пошли за вами.

– Никто ни к кому не присоединялся, – произнес настоятель голосом, срывающимся от раздражения. Или от отчаяния? – Мы едины. Мы можем иногда расходиться во мнениях, но не более того.

– А вы расходились во мнениях по поводу политики монастыря? Вы расходились в таком фундаментальном вопросе, как обет молчания?

– Я приостановил обет молчания.

– Да. Но только после смерти приора и только для ответов на наши вопросы. Однако запрет выходить в мир для монахов остается. Запрет на концерты, на интервью.

– Обет молчания никогда не будет снят насовсем. Никогда.

– Как вы считаете, у второй записи есть перспективы? – спросил Бовуар.

Наконец-то он увидел реакцию брата Антуана. Вспышку гнева, мгновенно подавленного. Что-то похожее на корнеплоды у них под ногами: зарыты в земле, но продолжают расти.

– Понятия не имею. Будь приор жив, запись наверняка состоялась бы. Настоятель, конечно, возражал бы. Но брат Матье настоял бы на своем.

В голосе монаха не было неуверенности. И Бовуар понял, что нащупал слабое место. Не сразу, но нащупал. Он мог бы целый день давить на брата Антуана, оскорблять, убеждать его, но тот оставался бы сдержанным, даже сохранял бы чувство юмора. Однако стоило ему упомянуть настоятеля…

Словно бомба взорвалась.

– Почему вы сказали «конечно»? Почему настоятель стал бы возражать?

Пока он будет нажимать на кнопочку «настоятель», монах будет оставаться в подвешенном состоянии. И шансы на то, что с его языка сорвется какое-нибудь неожиданное признание, возрастают.

– Потому что он утратил контроль.

Монах подался ближе к Бовуару, и полицейский ощутил всю силу его личности. И его физическую энергию. Он видел перед собой сильного во всех смыслах человека.

«Почему ты стал монахом?» – вот какой вопрос на самом деле интересовал Бовуара. Но он не стал его задавать, понимая в глубине души, почему не стоит спрашивать. Он тоже боялся. Боялся ответа.

– Слушайте, все в этих стенах зависит от решения настоятеля.

В монашеской жизни настоятель всевластен, – сказал брат Антуан, не сводя с Бовуара карих глаз. – Но кое-что вышло из-под его власти – музыка. Разрешив первую запись, он выпустил музыку в большой мир и утратил над ней контроль. Песнопения зажили собственной жизнью. Весь прошедший год он пытался вернуть все на круги своя. Снова упрятать песнопения в этих стенах. – На его красивом лице появилась злобная улыбка. – Но он ничего не может с этим поделать. На то есть Божья воля. И оттого настоятель в бешенстве. Он ненавидел приора. Мы все это знали.

– С чего бы ему ненавидеть приора? Я думал, они друзья.

– С того, что приор владел всеми теми качествами, каких нет у настоятеля. Он был блестящий, одаренный, страстный. А настоятель – старая сухая палка. Он неплохой администратор, но пастырь из него никакой. Он может цитировать Библию от корки до корки. На английском, французском, латыни. Но что касается григорианских хоралов, средоточия здешней жизни… Понимаете, кто-то их знает, а кто-то чувствует. Настоятель знает песнопения. Приор их чувствовал. И поэтому брат Матье стал гораздо более влиятельным человеком в монастыре. И настоятель понимал это.

– Но так, наверное, было всегда, с чего бы вдруг запись что-то изменила?

– Пока ничто не выходило за стены монастыря, они улаживали разногласия между собой. Больше того, из них получилась хорошая команда. Но после успеха записи баланс сил изменился. Приор внезапно получил признание внешнего мира.

– А с этим пришло и влияние, – подхватил Бовуар.

– Настоятель почувствовал угрозу своему положению. А потом брат Матье решил, что мы должны не только сделать еще одну запись, но и появиться в большом мире. Откликнуться на приглашения. Он почти не сомневался, что эти приглашения исходили не только от людей, но и от Господа. По существу, внутренний зов. Что, если бы Моисей скрыл скрижали? Или Иисус остался плотником и тайно общался бы с Господом? Нет. Такой дар нужно разделить с людьми. Вот чего хотел приор. Вот против чего возражал настоятель.

Эти слова произносились с трудом, медленно – быстро осуждать отца Филиппа брат Антуан не мог.

– Приор хотел, чтобы настоятель приостановил обет молчания и мы могли выехать в большой мир.

– А настоятель возражал, – сказал Бовуар. – Многие его поддерживали?

– Часть братьев оставались его сторонниками, но больше по привычке, чем по другим соображениям. По привычке и воспитанию. Нас учат всегда подчиняться воле настоятеля.

– Почему же не подчинились вы?

– Потому что отец Филипп уничтожил бы монастырь. Вернул бы его в Средневековье. Он хотел, чтобы все оставалось неизменным. Но он опоздал. Эта запись изменила все. Мы получили дар Божий. Однако настоятель думал иначе. Он говорил, что эта запись подобна змию в райском саду, что она пытается сбить нас с пути истинного, соблазнить обещаниями власти и денег.

– Наверное, он не так уж и ошибался, – предположил Бовуар и был награжден свирепым взглядом.

– Он испуганный старик, цепляющийся за прошлое!

Брат Антуан наклонился к Бовуару, бросая слова ему в лицо. Потом он замолчал, и на его лице появилось встревоженное выражение. Он наклонил голову.

Бовуар тоже молчал, прислушиваясь.

Что-то приближалось.

Арман Гамаш посмотрел на небо.

Что-то приближалось.

Они с настоятелем обсуждали сад. Гамаш хотел вернуться к спокойному разговору. Эта тактика напоминала рыбалку: закинул блесну – крути катушку, закинул – крути. Дай подозреваемому ощущение свободы. Пусть думает, что сорвался с крючка. А ты опять начинай его тащить, крутить катушку.

Процедура эта изматывала. Обоих. Но Гамаш знал: он сильнее того, кто попался на крючок и пытается сорваться.

Настоятель явно воспринял перемену тона и темы как отступление Гамаша.

– Как вы думаете, почему отец Клеман создал здесь сад? – спросил старший инспектор.

– А что более всего ценят люди, живущие в такой тесноте?

Гамаш задумался над этим вопросом. Дружбу? Покой и тишину? Терпимость?

– Уединение?

Настоятель кивнул:

– Oui. C’est ça[45]. Отец Клеман позволил себе одну вещь, которой не имел больше никто в монастыре, – уединение.

– Еще одно разделение, – сказал Гамаш, и настоятель посмотрел на него.

Отец Филипп почувствовал, как слегка натянулась леска, и понял: то, что он принял за свободу, вовсе не свобода.

Гамаш обдумал слова настоятеля. Возможно, легендарным сокровищем было не что-то вещественное, а, напротив, то, чего не пощупаешь руками. Пустая комната, о которой никто не знает. И замок.

Уединение. А с уединением, конечно, приходило и еще кое-что.

Безопасность.

Гамаш знал, что люди ценят безопасность превыше всего.

И тут он что-то услышал.

Он обвел взглядом чистое голубое небо. Ничего.

Но что-то там шумело. И приближалось.

Тишину лесной глуши сотряс рев. Он обрушился на них со всех сторон, словно небеса разверзли свой зев и заорали на них.

Все монахи-грибы и Бовуар задрали голову.

Потом все как один пригнулись.

Гамаш пригнулся и потянул за собой отца Филиппа.

Самолет пронесся над их головой и через мгновение исчез. Но Гамаш слышал, как он заложил вираж и развернулся.

Старший инспектор и настоятель стояли неподвижно, глядя в небеса. Гамаш все еще держал настоятеля за мантию.

– Он возвращается! – прокричал отец Филипп.

– Черт! – завопил Бовуар чуть ли не громче ревущих двигателей.

– Боже! – завопил брат Антуан.

Соломенные шляпы сдуло с головы монахов, и они упали на посадки, поломав некоторые вьющиеся растения.

– Он возвращается! – прокричал брат Антуан.

Бовуар уставился в небо. С ума можно сойти оттого, что ты видишь лишь клочок голубого неба у себя над головой. Они слышали, как самолет разворачивается, как нарастает рев двигателей, приближается. Но видеть его они не видели.

И вдруг он снова оказался над ними. На сей раз он шел даже ниже, явно нацелившись на колокольню.

– О черт! – вырвалось у брата Антуана.

Отец Филипп ухватил Гамаша за пиджак, и они снова пригнулись.

– Проклятье!

Гамаш услышал настоятеля даже сквозь рев двигателя.

– Они чуть не врезались в монастырь! – прокричал отец Филипп. – Это пресса. Я надеялся, у нас будет больше времени.

Бовуар медленно выпрямился, оставаясь начеку, прислушиваясь.

Через мгновение звук усилился, потом исчез, и раздался громкий плеск.

– Господи Исусе, – сказал Бовуар.

– Merde, – пробормотал брат Антуан.

Монахи и Бовуар побежали из огорода к двери в монастырь. Их широкополые шляпы остались в саду.

«Черт побери!» – думал Гамаш, покидая сад вместе с настоятелем.

Он хорошо разглядел самолет, когда тот пролетал, казалось, в нескольких футах у них над головой. В последнюю секунду самолет ушел в сторону, чтобы не врезаться в колокольню.

За мгновение до того, как самолет исчез из поля зрения, Гамаш увидел логотип на его двери.

Они присоединились к толпе монахов, спешащих по коридору. К ним добавлялись новые, и процессия все набирала скорость на пути через Благодатную церковь в последний коридор. Впереди Гамаш видел Бовуара, шагающего рядом с братом Антуаном.

Перед запертой дверью стоял с чугунным ключом в руке молодой брат Люк. Стоял и смотрел на них.

Гамаш единственный точно знал, что их ждет по другую сторону двери. Он разглядел эмблему на самолете. К ним прилетела не пресса. Не любопытные, жаждущие поглазеть на знаменитый монастырь, который обрел дурную славу в свете ужасного преступления.

Нет, это было существо совершенно иного рода.

Почуявшее запах крови.

Глава семнадцатая

По кивку настоятеля брат Люк вставил ключ в скважину, легко повернул – и дверь открылась, впустив внутрь пахнущий соснами ветерок, солнечный свет и звук подплывающего к пристани гидросамолета.

Монахи сгрудились у открытой двери. Настоятель вышел вперед.

– Я потребую, чтобы они покинули нас, – заявил он решительным голосом.

– Наверное, мне лучше пойти с вами, – сказал Гамаш.

Отец Филипп посмотрел на него и кивнул.

Бовуар попытался присоединиться к ним, но Гамаш остановил его едва заметным движением руки:

– Лучше останься здесь.

– Что тут на нас свалилось? – спросил Бовуар, почуяв настроение шефа.

– Я пока не уверен. – Гамаш повернулся к настоятелю и махнул рукой в сторону пристани. – Ну что, идем?

Самолет почти остановился, пилот выключил двигатель, винты снизили обороты, и самолет на своих поплавках преодолел последние несколько футов. Гамаш и настоятель ухватились за стойки шасси и остановили самолет, потом старший инспектор поднял канаты, змеящиеся в холодной воде.

– Я бы не утруждался, – сказал настоятель. – Долго они здесь не пробудут.

Старший инспектор возразил, держа в руке мокрый канат:

– А я не уверен.

– Вы забываете, кто здесь старший.

Гамаш опустился на колено и бысто сделал несколько петель, пришвартовывая самолет к пристани, потом поднялся:

– Я не забываю. Дело в том, что я, кажется, знаю, кто сюда прилетел. Вовсе не пресса.

– Не пресса?

– Я сомневался, потому что не успел толком разглядеть эмблему, когда самолет пролетал над нами. Вот почему я хотел пойти с вами.

Старший инспектор показал на символ на двери самолета. Гребешок, составленный из четырех лилий. Над гребешком красовалась надпись: МЮК.

– МЮК? – спросил настоятель.

Маленькая дверь открылась.

– Министерство юстиции Квебека, – ответил Гамаш и шагнул вперед, предлагая руку пассажиру, выходившему из гидросамолета.

Вежливое предложение старшего инспектора либо не заметили, либо проигнорировали. Появилась великолепная кожаная туфля, за ней вторая, человек на секунду задержался на поплавке, потом легко, словно в дверь театра или художественной галереи, шагнул на пристань.

Огляделся, оценивая обстановку.

Не первопроходец, высадившийся на неизведанной земле, а победитель.

Лет шестидесяти, седоволосый, чисто выбритый, красивый, уверенный в себе. Человек без каких-либо слабостей. Но и не задира. Он чувствовал себя совсем как дома, спокойно, даже безмятежно. И если большинство людей казались бы смешными, прибыв в глушь в превосходном костюме с галстуком, то он выглядел совершенно естественно. Его вид мог даже вызвать зависть.

Гамаш подумал, что если незваный гость задержится здесь на некоторое время, то монахи тоже облачатся в костюмы и галстуки. И станут благодарить гостя.

Он умел оказывать на людей такое воздействие. Не он приспосабливался к миру, а окружающий мир – к нему. Так оно и происходило. Впрочем, с немногими, хотя и весьма примечательными исключениями.

Человек на пристани огляделся. Его глаза не задержались на Гамаше. Скользнули, словно по пустоте, и остановились на настоятеле.

– Отец Филипп?

Настоятель поклонился, не сводя с незнакомца голубых глаз.

– Меня зовут Сильвен Франкёр. – Человек протянул руку. – Я старший суперинтендант Квебекской полиции.

Всего на один миг настоятель перевел взгляд на Гамаша. Потом снова устремил его на Франкёра.

Арман Гамаш знал, какое выражение у него на лице. Спокойное, внимательное. Уважительное.

Но отец Филипп, умевший читать невмы, различил малозаметные морщинки на лице старшего инспектора и понял, что чувствует Гамаш на самом деле.

– Что это за хрень, черт подери? – прошептал Бовуар, когда они шли

по коридору, на несколько шагов отстав от настоятеля и старшего суперинтенданта Франкёра.

Гамаш кинул на Бовуара предупреждающий взгляд. Не легкий визуальный укор, а удар дубинкой по голове. «Заткнись, – говорил этот суровый взгляд. – Придержи язык сейчас, если прежде не научился».

Бовуар заткнулся. Но не перестал наблюдать и слушать. Двигаясь вперед, они словно шли сквозь пелену разговора, создаваемую идущими впереди мужчинами.

– Ужасный случай, mon père, – сказал старший суперинтендант. – Смерть приора – национальная трагедия. Но могу вас заверить, что мы быстро найдем убийцу и вы оплачете вашу потерю в приватной обстановке. Я приказал моим людям держать в тайне смерть брата Матье.

– Старший инспектор Гамаш говорит, что это невозможно.

– И совершенно правильно говорит. Невозможно для него. Я питаю глубочайшее уважение к месье Гамашу, но его возможности ограниченны.

– А ваши – нет? – спросил настоятель.

Бовуар улыбнулся, подумав, знает ли настоятель, с кем имеет дело.

Суперинтендант Франкёр рассмеялся. Он пребывал в расслабленном, хорошем настроении.

– По вашим меркам, отец Филипп, мои возможности мизерны. Но с точки зрения обычных смертных, они довольно значительны. И они к вашим услугам.

– Merci, mon fils[46]. Весьма признателен.

Скорчив гримасу, Бовуар посмотрел на Гамаша и открыл рот, но тут же его закрыл, увидев лицо шефа. Не рассерженное. Даже не расстроенное.

Озадаченное. Словно старший инспектор Гамаш пытался решить сложное математическое уравнение, но у него не получалось.

У Бовуара имелся собственный вопрос.

«Что это за хрень, черт подери?»

Бовуар прислонился к закрытой двери:

– Можно кое-что сказать?

– Стоит ли? – ответил шеф, садясь на стул в тесном кабинете приора. – Я знаю твой вопрос, но не знаю ответа.

– Как в телевикторине «Рискуй!», – сказал Бовуар, скрестив руки на груди и продолжая подпирать дверь. Этакий засов в виде человека. – «Алекс, я выбираю вопрос „Какого хрена?“ за две сотни».

Гамаш рассмеялся.

– Сложный вопрос, – признал он.

И к тому же рискованный, подумал Бовуар.

Следуя за суперинтендантом Франкёром, увлеченно беседующим с настоятелем, они дошли до Благодатной церкви. Там полицейских и монахов отпустили, но они еще некоторое время стояли вместе, глядя на двух людей, удаляющихся по церкви, а потом по длинному коридору в кабинет настоятеля.

Франкёр шел, наклонив свою благородную седую голову к бритой голове настоятеля. Две противоположности. Один одет по последней моде, другой – в аскетической монашеской мантии. Один излучает силу, другой – смирение.

Но оба наделены властью. Это бросалось в глаза.

Бовуар подумал, что эти двое могут заключить союз и начать новую войну.

Он взглянул на Гамаша – тот надел очки и что-то записывал в блокнот.

И как это отразится на шефе? Появление Сильвена Франкёра, кажется, озадачило Гамаша, но не обеспокоило. Бовуар искренне надеялся, что так оно и есть и основания для беспокойства отсутствуют.

Но он опоздал. Беспокойство завязалось узлом в животе Бовуара. Старая и знакомая боль.

Гамаш поднял голову и посмотрел на Бовуара. Обнадеживающе улыбнулся:

– Нет нужды ломать голову, Жан Ги. Мы очень скоро узнаем причину появления суперинтенданта Франкёра.

Следующие полчаса они обсуждали разговоры, которые состоялись у них сегодня: у Бовуара – с братом Антуаном, у Гамаша – с настоятелем.

– Неужели настоятель назначил брата Антуана новым руководителем хора? – Бовуар не скрывал удивления. – Он мне ничего такого не сказал.

– Вероятно, это показывает настоятеля в благоприятном свете, а брат Антуан не желает это подчеркивать.

– Да, наверное. Но вы думаете, настоятель именно поэтому поступил так?

– Что ты имеешь в виду?

– Он мог назначить кого угодно. Мог взять эту обязанность на себя. Но возможно, он отдал пост регента брату Антуану, чтобы насолить сторонникам приора. Вынос мозга. Делай противоположное тому, что от тебя ждут. Докажи, что стоишь выше всяких мелочных раздоров, назначив руководителем хора брата Антуана. Наверное, настоятель хотел показать, что он лучше их. Умный ход, если подумать.

Гамаш подумал. Он подумал о двух дюжинах монахов, которые капают

друг другу на мозги. Пытаются выбить друг друга из колеи. Так вот что происходит в монастыре на протяжении многих лет? Разновидность психологического терроризма?

Тонкого, невидимого. Взгляд, улыбка, спина, повернутая к собеседнику.

В ордене, принявшем обет молчания, единственное слово, звук могут иметь самые разрушительные последствия. Шиканье, шмыганье носом, усмешка.

Что, если мягкосердечный настоятель довел эти орудия до совершенства?

Он принял идеальное решение, назначив руководителем хора брата Антуана. Одного из лучших монастырских музыкантов, очевидного преемника приора на посту регента. Но не преследовал ли настоятель дурные цели?

Не хотел ли досадить сторонникам приора?

А обет молчания? Почему настоятель требовал его сохранения – потому что обет имеет духовное значение для монахов? Или опять же чтобы досадить приору? Отказать ему в том, чего тот желал сильнее всего?

И почему приор так хотел приостановить обет, просуществовавший почти тысячу лет? Ради блага ордена или ради блага самого приора?

– О чем вы думаете? – спросил Бовуар.

– Да вот затесалась в голову фраза – никак не могу вспомнить, откуда она.

– Стихи? – с опаской спросил Бовуар.

Шефу ничего не стоило начать цитировать какое-нибудь невразумительное стихотворение.

– Вообще-то, я думал об одной из эпических поэм Гомера. – Гамаш открыл рот, словно собираясь начать цитировать, но рассмеялся, увидев страдальческое лицо Бовуара. – Нет-нет, всего одну строчку: «Творить добро, дурную цель лелея»[47].

Это навело Бовуара на мысль.

– А вот интересно, верно ли противоположное?

– Ты о чем?

– Можно ли творить зло ради благих целей?

Гамаш снял очки.

– Продолжай, – сказал он и приготовился слушать, не спуская с инспектора своих спокойных карих глаз.

– Ну, например, убийство, – начал Бовуар. – Убийство – зло. Но если побудительный мотив правильный?

– Оправданное убийство, – кивнул Гамаш. – Довольно шаткая защита.

– Вы считаете, убийство нельзя оправдать?

– Почему ты спрашиваешь?

Бовуар ответил не сразу:

– Что-то здесь пошло не так. Монастырь разваливается на части. Взрывается. Предположим, это вина приора. И тогда…

– Его убивают, чтобы спасти сообщество? – подхватил Гамаш.

– Ну да.

Они оба знали, что такой аргумент неприемлем. Его приводят многие сумасшедшие: мол, убийство было совершено ради «высшего блага».

Но можно ли его оправдать?

Гамаш и сам размышлял об этом. Что, если приор стал единственным порченым яблоком, которое заражало гнилью здешнее мирное сообщество, по одному монаху зараз?

Людей на войне убивают постоянно. Если в Сен-Жильбере шла тихая, но опустошительная война, то один из монахов мог убедить себя в том, что имеется лишь один способ покончить с этим. Пока весь монастырь не сгнил изнутри.

Изгнать приора нельзя. Он не совершил никаких преступлений.

Вот в чем беда с червивыми яблоками – в их коварстве. Они гниют медленно. Снаружи все кажется превосходным. Пока гниение не переходит на другие яблоки. А тогда исправлять положение уже поздно.

– Возможно, – сказал Гамаш. – Но возможно также, что гнилое яблоко все еще здесь.

– Убийца?

– Или тот, кто нашептывал убийце на ухо. – Он откинулся на спинку стула. – «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?»

– Вы думаете, так и нашептывали? – спросил Бовуар. – Слишком уж напыщенно. Я бы, наверное, сказал: «Когда же он наконец сдохнет?»

Гамаш рассмеялся:

– Я бы на твоем месте запатентовал эту фразочку.

– Неплохая мысль. Есть много людей, которым я бы ее послал.

– «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» – повторил Гамаш. – Слова, которые Генрих Второй сказал своим рыцарям, имея в виду Томаса Бекета.

– Вы считаете, что мне сразу все стало ясно?

Гамаш ухмыльнулся:

– Не расстраивайся, юноша. Эта история закончилась убийством.

– Так бы сразу и сказали.

– Убийством, совершенным почти девятьсот лет назад, – продолжил шеф. – В Англии.

– Я уже заснул.

– Король Генрих возвысил своего доброго друга Томаса до архиепископа, полагая, что таким образом сможет получить контроль над церковью. Но произошло противоположное.

Бовуар невольно подался вперед.

– Короля беспокоила высокая преступность в Англии. Он хотел принять решительные меры против преступников…

Бовуар кивал, слушая Гамаша. Он принял сторону короля.

– …но чувствовал, что все его усилия сводятся на нет церковью, проявляющей слишком большую снисходительность к преступникам.

– И тогда король…

– Генрих, – напомнил Гамаш.

– Генрих. Он увидел шанс реализовать свой замысел и назначил своего друга Томаса архиепископом. Что же пошло не так?

– Ну, прежде всего, Томас не хотел архиепископства. Он даже написал Генриху, что если примет его предложение, то их дружба обернется враждой.

– И оказался прав.

Гамаш кивнул:

– Король выпустил закон, согласно которому любой, кто будет признан виновным в церковном суде, будет наказан судом королевским. Томас отказался его подписать.

– Поэтому его убили?

– Не сразу. Через шесть лет, а пока враждебность нарастала с каждым днем. Но в один прекрасный день король Генрих произнес эти слова, и четыре рыцаря восприняли их как приказ.

– И что тогда случилось?

– Они убили архиепископа. В Кентерберийском соборе. Убийство в соборе.

Бовуар попытался вспомнить фразу:

– «Неужели никто не избавит…»

– «…меня от этого мятежного попа?» – закончил Гамаш.

– Вы думаете, настоятель сказал что-то подобное, а кто-то из монахов воспринял его слова как приказ?

– Может быть. В таком месте настоятелю, вероятно, и произносить ничего не требовалось. Достаточно одного взгляда. Поднятой брови. Гримасы.

– А что случилось после смерти архиепископа?
– Его канонизировали.
Бовуар рассмеялся:
– Наверное, король сильно разозлился.
Гамаш улыбнулся:
– Генрих остаток жизни каялся, говорил, что не хотел смерти архиепископа.
– Думаете, не врал?
– Я думаю, легко говорить так постфактум.
– Значит, вы предполагаете, что настоятель мог сказать что-то в таком роде и один из монахов убил приора?
– Не исключено.
– И отец Филипп, зная о том, что случилось, меняет тактику и делает нечто неожиданное. Назначает одного из сторонников приора главой хора. – Бовуар сделал вывод из сказанного: – Больная совесть?
– Раскаяние? Желание загладить вину? – Гамаш нахмурился. – Вполне вероятно.
Он подумал, что иногда очень трудно понять, почему эти монахи поступили так, а не иначе. Они были не похожи на всех, кого он знал и с кем сталкивался в процессе расследования.
Но в конечном счете он был вынужден признать, что они всего лишь люди. И у них те же самые мотивы, что и у других, только спрятанные под черными мантиями и ангельскими голосами. И под молчанием.
– Настоятель отрицает, что монастырь расколот, – сказал Гамаш, откидываясь на спинку стула и переплетая пальцы.
– Ух ты! – Бовуар покачал головой. – Есть масса вещей, в которые эти монахи верят без всяких свидетельств. Но дайте им доказательство чего-нибудь, и они ни за что не поверят. Раскол слишком очевиден. Половина хочет записать новые песнопения, половина – нет. Половина хочет, чтобы обет молчания был снят, другая – нет.
– Я не уверен, что они делятся пополам, – сказал Гамаш. – Полагаю, баланс изменился в пользу приора.
– И поэтому его убили.
– Вполне возможно.
Бовуар поразмыслил над словами шефа.
– Значит, настоятель как бы запудрил им мозги. Брат Антуан назвал его испуганным стариком. Вы думаете, он и убил брата Матье?
– Честно говоря, не знаю. Но если отец Филипп испытывает страх, то он здесь не единственный, – сказал Гамаш. – Я думаю, большинство

из них боится.

– Из-за убийства?

– Нет. Сомневаюсь, что они боятся смерти. Мне кажется, они боятся жизни. Но здесь, в монастыре, они наконец обрели свое место.

Бовуар вспомнил площадку с гигантскими грибами – широкополыми шляпами. И то, как он чувствовал себя белой вороной в своих отутюженных брюках и свитере из овечьей шерсти.

– Так если они наконец нашли свое место, чего же они боятся?

– Боятся потерять то, что нашли, – ответил старший инспектор. – Они побывали в чистилище. А многие, возможно, и в аду. А тот, кто побывал там, уж точно не хочет возвращаться.

Двое полицейских посмотрели друг другу в глаза. Бовуар увидел глубокий шрам у виска шефа. И почувствовал, как боль грызет его собственное чрево. Он вспомнил о пузырьке с маленькими таблетками, который припрятал у себя в квартире. На всякий случай.

«Да, – подумал Бовуар. – Возвращаться в ад не хочет никто».

Шеф надел очки и развернул большой свиток бумаги у себя на столе.

Бовуар наблюдал за Гамашем, но видел нечто иное. Суперинтенданта Франкёра, который вышел из самолета, быстро спустившегося с небес. Шеф протянул ему руку, но Франкёр демонстративно повернулся спиной к Гамашу, чтобы все видели. Чтобы видел Бовуар.

Неприятное чувство, словно удар кулаком, обосновалось в желудке Бовуара. Оно устроилось там, как у себя дома. Располагалось поудобнее. Росло.

– Настоятель дал нам план монастыря. – Гамаш встал и наклонился над столом.

Бовуар присоединился к нему.

На чертеже монастырь выглядел точно так, как и представлял себе Бовуар, проведя здесь двадцать четыре часа. Он имел форму креста с церковью посередине и колокольней над церковью.

– Вот здесь зал для собраний братии, – показал Гамаш.

На чертеже это помещение примыкало к церкви, никаких попыток скрыть его не делалось. Но в реальности зал скрывался за памятной доской святого Гильберта.

На плане присутствовал и сад настоятеля – здесь он, в отличие от реальной жизни, бросался в глаза. Тоже скрытый, хотя и не тайный.

– А другие потайные комнаты здесь есть? – спросил Бовуар.

– Настоятелю о них неизвестно, но он признаёт, что ходят слухи о существовании таких комнат и кое-чего еще.

– Чего? – спросил Бовуар.

– Ну, о таких вещах даже говорить неловко, – сказал Гамаш, снимая очки и глядя на Бовуара.

– А я-то считал, что человек, которого застукали в церковном алтаре в пижаме, легко справляется с чувством неловкости.

– Тонкое замечание, – улыбнулся старший инспектор. – Ходят слухи о сокровищах.

– О сокровищах? Вы шутите? Настоятель сказал, что здесь спрятаны сокровища?

– Он этого не говорил, – ответил Гамаш. – Только упомянул о слухах.

– А они искали?

– Неофициально. По-моему, монахов не должны волновать такие вещи.

– Но обычных людей они волнуют, – сказал Бовуар, снова переводя взгляд на план.

Старый монастырь, в котором спрятано сокровище. Слишком уж нелепо. Неудивительно, что шефу неловко говорить о таких вещах. Но хотя эта идея и казалась смешной, глаза Бовуара сверкали, когда он рассматривал чертеж.

Какой ребенок, будь то мальчик или девочка, не мечтал о спрятанных сокровищах? Кто из нас не читал с жадностью истории об отчаянных храбрецах, о галеонах и пиратах, о спасающихся бегством принцах и принцессах, о спрятанных драгоценностях? Или и того лучше – о найденных.

Хотя история о потайной комнате с сокровищами казалась нелепой и притянутой за уши, у Бовуара разыгралась фантазия. Богатства средневековой церкви? Чаши, картины, монеты. Бесценные ювелирные изделия, принесенные крестоносцами.

Потом Жан Ги представил, как находит все это.

Не ради богатства. Ну или, по крайней мере, не исключительно ради богатства. Просто потому, что занятно.

Он тут же представил себе, как рассказывает о своих похождениях Анни. Вообразил, как она смотрит на него, слушает. Ловит каждое слово. Реагирует на каждый поворот в истории. Все ее чувства отражаются на лице. Она ахает. Смеется.

Воспоминания на всю жизнь. Они будут рассказывать детям и внукам о том времени, когда дедушка нашел сокровище. И вернул его церкви.

– Ну так я могу оставить его тебе? – спросил Гамаш, скручивая свиток и протягивая его Бовуару.

– Я все разделю с вами, patron, фифти-фифти.

– У меня уже есть сокровище, спасибо, – отказался Гамаш.

– Не думаю, что пакет с черникой в шоколаде может считаться сокровищем.

– Non? – усмехнулся Гамаш. – Каждому свое.

Раздался низкий звон колокола. Не радостный, праздничный, а торжественный, официальный.

– Опять? – пробормотал Бовуар. – Можно я останусь здесь?

– Ради бога. – Гамаш вытащил из нагрудного кармана расписание, врученное ему секретарем настоятеля. Потом посмотрел на часы. – Одиннадцатичасовая месса, – сказал он и направился к закрытой двери.

– Что, только одиннадцать? А мне кажется, уже спать пора.

Здесь, где все работало как часы, время как будто замерло.

Бовуар открыл дверь перед шефом и, поколебавшись секунду и прошептав проклятие, последовал за Гамашем в Благодатную церковь.

Гамаш опустился на скамью, Бовуар уселся рядом с ним. Они молча ждали начала службы. И опять Гамаш подивился свету, проникающему сквозь высокие окна. Расщепляющемуся на все возможные составляющие. Свет падал на алтарь, плясал на скамьях в радостном ожидании прибытия монахов.

Старший инспектор оглядел ставшие знакомыми лица. У него возникло ощущение, что он находится здесь уже очень давно, и он удивился, когда понял, что они с Бовуаром провели в монастыре менее суток.

Теперь он знал: Благодатную церковь построили в честь святого настолько безликого, что церковь даже не смогла найти в равной мере безликий недуг, патроном которого он мог бы стать.

Молились святому Гильберту не многие.

И все же за свою мучительно долгую жизнь Гильберт совершил одно заметное деяние. Он бросил вызов королю. Защитил своего архиепископа. Томаса Бекета убили, но Гильберт противостоял тирании и остался жив.

Гамаш вспомнил, как они с настоятелем шутили, что Гильберт мог бы стать святым покровителем испуганных, поскольку в его монастыре такие прочные стены и запертые двери.

И столько мест, где можно спрятаться.

Но если Гамаш ошибся, если недооценил Гильберта? Да, Гильберт боялся, но в конечном счете нашел в себе больше мужества, чем кто-либо другой. Тихо сидя в отраженном свете, Гамаш спрашивал себя, обладает ли и он таким мужеством.

Несколько секунд он думал о новом приезжем и о молитве святому Гильберту.

С последним ударом торжественного колокола вошли монахи. Они двигались цепочкой. Напевая. Белые капюшоны скрывали их лица. Руки по локоть прятались в свободных черных рукавах. Пение становилось громче, по мере того как в Благодатную церковь входили новые голоса, пока все пространство не заполнилось хоралом. И светом.

А потом вошел кто-то еще.

Старший суперинтендант поклонился, перекрестился и, несмотря на большое количество пустых скамей, уселся прямо перед Гамашем и Бовуаром.

И опять старший инспектор чуть наклонил голову набок. Надеясь, что так ему будет лучше видно. Монахов. Но еще и мотивы, которыми руководствовался этот человек. Ведь он не просто так столь стремительно спустился с небес.

Пока Бовуар сопел и хмыкал рядом с ним, Гамаш закрыл глаза и стал слушать прекрасную музыку.

И размышлять о тирании и убийстве.

И о том, правильно ли убивать одного ради благополучия других.

Глава восемнадцатая

– Вы заблудились?

Бовуар повернулся на голос.

– Я спрашиваю только потому, что увидеть здесь кого-то довольно неожиданно.

В густой чаще в нескольких шагах от Бовуара стоял монах. Казалось, будто он внезапно материализовался из ниоткуда. Бовуар узнал его. Монах из шоколадного цеха, тот самый, на чей фартук падали капли темного шоколада, когда Бовуар видел его в последний раз. Теперь он облачился в чистую мантию, а в руках держал корзинку. Как у Красной Шапочки. «Entre-les-Loups, – подумал Бовуар. – Среди волков».

– Нет, я не заблудился, – ответил он и попытался быстро скрутить план монастыря.

Но с этим он опоздал. Монах стоял неподвижно и просто смотрел. Из-за этого Бовуар почувствовал себя глуповато и насторожился. Пребывание среди людей столь бесшумных и тихих, столь незаметных выбивало его из колеи.

– Могу я чем-нибудь помочь? – спросил монах.

– Я только… – Бовуар помахал наполовину скрученным свитком.

– Что-то искали? – Монах улыбнулся. Бовуар не удивился бы, увидев собачий оскал, но на лице монаха появилась лишь робкая, почти незаметная ухмылка. – Я тоже ищу, – сказал монах, – но, вероятно, не то, что вы.

Именно такие завуалированно-покровительственные замечания и отпускают верующие. Монах, вероятно, пребывал в некоем духовном поиске, гораздо более важном, чем любой из тех, на какой мог отправиться этот невнятно бормочущий мирянин. Монах шел по лесу в поисках вдохновения или спасения. Или Бога. Он молился или медитировал. Тогда как Бовуар искал сокровище.

– Вот нашел немного, – сказал монах.

Он нагнулся, потом выпрямился и протянул к Бовуару раскрытую ладонь, на которой катались несколько маленьких ягодок черники.

– Просто идеальные, – сказал монах.

Бовуар посмотрел на них. Они походили на все другие ягоды черники, какие он видел.

– Прошу, угощайтесь.

Монах протянул ладонь поближе к Бовуару, и тот взял ягодку. Это было все равно что ухватить пальцами атом.

Бовуар сунул черничинку в рот, который тут же заполнился вкусом, совершенно непропорциональным размерам ягоды. Вкусом, вполне закономерно, черничным. Но еще и осенним вкусом Квебека. Сладковатым и терпким.

Монах оказался прав. Ягода и в самом деле была идеальной.

Бовуар взял еще одну. Монах тоже.

Они вдвоем стояли в тени высокой стены сада настоятеля и ели ягоды. Всего в нескольких футах от них за стеной находился вылизанный, ухоженный сад с великолепными растениями. С лужайками и клумбами, скамейками и подстриженными кустами.

А по эту сторону стены вызрело много крохотных идеальных ягодок черники.

А еще здесь вырос густой подлесок, его ветки цеплялись за брюки Бовуара, и тот с трудом продирался сквозь заросли. Он следовал по контуру монастыря, сверяя чертеж с реальностью. У монахов он взял резиновые сапоги и теперь шагал по грязи, перебирался через упавшие деревья, карабкался на камни, пытаясь понять, совпадают ли чертеж и истинные очертания монастырской стены.

– Как же вы меня выследили?

– Выследил? – рассмеялся монах. – Я совершаю обычный обход. Тут есть тропинка. Почему вы не идете по ней?

– Пошел бы, если бы знал про нее, – сказал Бовуар, не очень уверенный, что они говорят об одном и том же.

Он достаточно долго проработал со старшим инспектором Гамашем, чтобы почувствовать тут аллегорию.

– Меня зовут Бернар, – представился монах, протягивая ладонь в синеватых черничных пятнах.

– Бовуар.

Рукопожатие удивило Бовуара. Он предполагал почувствовать мягкую, дряблую руку, но она оказалась твердой, уверенной, с кожей гораздо более жесткой, чем у Бовуара.

– Ух ты, глядите-ка! – Брат Бернар снова наклонился, а затем опустился на колени и принялся собирать ягоды.

Бовуар тоже присел и посмотрел на землю. Не сразу, но среди переплетения веток, мха и опавших листьев он разглядел то, что искал брат Бернар.

Не спасение, а самый маленький из диких плодов.

– Бог ты мой, – рассмеялся Бернар, – это же настоящая золотая жила. Я много лет хожу здесь осенью, но не знал, что тут их столько.

– Не хотите ли вы сказать, что иногда стоит сворачивать с пути?

Бовуар почувствовал, что доволен собой. Он тоже умел изъясняться аллегорически.

Монах рассмеялся:

– Один – ноль.

Следующие несколько минут они ползали по подлеску, собирая чернику.

– Ну вот, – сказал брат Бернар. Он встал, потянулся, отряхнул веточки с мантии. – Наверняка рекордный сбор. – Он заглянул в свою корзину, наполненную ягодами. Вы мой счастливый талисман. Merci.

Бовуар почувствовал, что очень доволен собой.

– А теперь, – сказал Бернар, указывая на два плоских камня, – моя очередь помочь вам.

Бовуар помедлил. Пока они собирали ягоды, он сунул план монастыря в кусты. Сейчас он невольно посмотрел в ту сторону. Бернар посмотрел туда же, но промолчал.

Бовуар вытащил свиток, и они уселись на камни лицом друг к другу.

– Что вы ищете? – спросил монах.

Бовуар все еще сомневался. Наконец он принял решение и развернул план.

Брат Бернар опустил взгляд на пергамент. Его глаза чуть расширились.

– План монастыря, составленный отцом Клеманом, – сказал он. – Мы знаем, что он начертил такой план. Понимаете, в свое время он прославился как архитектор. Потом стал гильбертинцем и исчез вместе с другими двадцатью тремя монахами. Никто не знал, куда они отправились. Впрочем, их судьба мало кого волновала. Гильбертинцы никогда не были богатым или влиятельным орденом. Совсем наоборот. А потому, когда они оставили монастырь во Франции, все решили, что орден расформировался или вымер.

– Но орден выжил, – сказал Бовуар, тоже разглядывая план.

– Да, они добрались сюда. В те дни это было все равно что переселиться на Луну.

– Почему они переселились?

– Боялись инквизиции.

– А чего им было бояться, таким бедным и незаметным?

– А чего боятся все? По большей части все страхи в голове. Не имеют никакого отношения к реальности. Я думаю, гильбертинцы вовсе

не интересовали инквизицию, но они все равно предпочли скрыться. На всякий случай. Слова, которые можно сделать нашим девизом. На всякий случай. Exsisto paratus[48].

– И вы его прежде не видели? – Бовуар показал на план.

Брат Бернар покачал головой, завороженный линиями на чертеже.

– Восхитительно, – сказал он, наклоняясь еще ближе к свитку. – Увидеть подлинный план отца Клемана. Интересно, его начертили до или после строительства монастыря?

– А какая разница?

– Может, и никакой. Но в одном случае чертеж – пожелание, а в другом – отражение действительности. Если его начертили после, то он показывает, что мы имеем в реальности. А не то, что они хотели получить, но потом передумали.

– Вы знаете монастырь, – сказал Бовуар. – Как вы считаете?

Несколько минут брат Бернар сидел, склонив голову над пергаментом, иногда прослеживал ту или иную линию движением синего от черники пальца. Несколько раз он хмыкнул. Что-то напел себе под нос. Покачал головой, потом провел пальцем по другой линии, другому коридору.

Наконец он поднял голову и взглянул на Бовуара:

– Что-то на чертеже не так.

Бовуар ощутил нервное возбуждение, дрожь:

– Что именно?

– Масштаб не отвечает действительности. Видите – здесь и здесь.

– Огород и скотный двор.

– Верно. Здесь у них размер такой же, как и у сада настоятеля. Но они разные. На самом деле они раза в два больше.

Монах говорил правду. Бовуар помнил сбор кабачков с братом Антуаном. Огород громадный. А сад настоятеля – место убийства – гораздо меньше.

– Откуда вы это знаете? – спросил Бовуар. – Вы бывали в саду настоятеля? – Он кинул взгляд на высокую стену.

– Никогда. Но я ходил близ него. Когда собирал ягоды. А еще я захаживал в огород и на скотный двор. План неверен, – сказал монах, снова опустив глаза на пергамент.

– Но что это значит? – спросил Бовуар. – Зачем бы отец Клеман стал чертить план, не соответствующий действительности?

Бернар задумался, потом неуверенно покачал головой:

– Трудно сказать. Церковь всегда склонна к преувеличениям. Посмотрите на старые картины. Младенец Иисус на них выглядит

десятилетним. На старых городских картах соборы кажутся гораздо больше, чем в реальности. Доминируют над окружающими строениями.

– И поэтому отец Клеман преувеличил размеры сада настоятеля? Но зачем?

Монах опять покачал головой:

– Возможно, из тщеславия. Хотел, чтобы казалось масштабнее. Церковная архитектура нетерпимо относится ко всему необычному, несбалансированному. На бумаге, – монах опять кивнул на пергамент, – монастырь выглядит лучше, чем настоящий. Хотя настоящий функционирует лучше.

И опять Бовуара поразило столкновение между восприятием и реальностью в монастыре Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. И предпочтение, оказываемое тому, что выглядит хорошо, пусть и не отражает истину.

Брат Бернар продолжал изучать рисунок.

– Если бы отец Клеман начертил точную копию реальности, то монастырь на пергаменте не был бы похожим на крест. Он стал бы похож на птицу. Два больших крыла и маленькое тело.

– Значит, он смошенничал?

– Наверное, и так можно сказать.

– А мог он смошенничать и в других частях чертежа? – спросил Бовуар.

Впрочем, он знал ответ. Если человек решил смошенничать раз, он уже не остановится.

– Вероятно. – У монаха был такой вид, будто пал один из ангелов. – Но я не вижу других расхождений. А почему для вас это важно?

– Я не знаю, важно или нет. – Бовуар снова скрутил свиток. – Вы спросили, что я ищу. Я ищу потайную комнату.

– Вроде зала для собраний братии?

– О нем мы знаем. Я ищу еще одно помещение.

– Значит, оно есть?

– Мы не уверены. До нас дошли слухи. И, как я вижу, до вас тоже.

Впервые за время их разговора Бовуар почувствовал, что монах заколебался. Словно медленно захлопнулась дверь. Словно брат Бернар удалился в свою собственную потайную комнату.

Конечно, такая комната имелась у всех. В том-то и состояла их с Гамашем работа – найти ее. К сожалению, в этих комнатах никогда не обнаруживалось сокровищ. Но каждый раз они неизбежно находили там кучи дерьма.

– Если в монастыре и вправду есть потайная комната, вы должны мне

сказать.

– Я такой не знаю.

– Но слухи до вас доходили?

– Слухи все время ходят. Этот дошел до меня в день моего приезда в монастырь.

– Для ордена, принявшего обет молчания, здесь, кажется, довольно много говорят.

Бернар улыбнулся:

– Понимаете, наше молчание не абсолютно. В определенное время суток нам разрешается говорить.

– И одним из предметов вашего разговора является тайная комната?

– Если вам ежедневно разрешается говорить всего несколько минут, то о чем вы будете говорить? О погоде? О политике?

– О тайнах?

Брат Бернар улыбнулся:

– Иногда о Божественных тайнах. А иногда просто о тайнах. Вроде потайных комнат. И сокровищ.

Он посмотрел на Бовуара заговорщицким взглядом. Проницательным взглядом. Жан Ги подумал, что брат Бернар может быть спокойным, даже мягким. Но он вовсе не дурак.

– Вы полагаете, она существует?

– Комната с сокровищами, завезенными сюда отцом Клеманом и другими монахами много столетий назад? – Брат Бернар покачал головой. – Думать о таких вещах одно удовольствие. Помогает коротать долгие зимние вечера. Но вообще-то, никто в эти сокровища не верит. Существуй они, их бы уже нашли сто лет назад. Монастырь обновлялся, улучшался, ремонтировался. Будь здесь потайная комната, мы бы ее нашли.

– Может, кто-то и нашел. – Бовуар встал. – Как часто вам позволяется выходить из монастыря?

Монах рассмеялся:

– Ну, монастырь все же не тюрьма.

Но даже брат Бернар чувствовал, что с того места, откуда они смотрят, Сен-Жильбер очень даже похож на тюрьму.

– Нам разрешается выходить, когда мы хотим, но далеко мы не уходим. В основном прогуливаемся вокруг. Собираем ягоды. Запасаем дрова. Ловим рыбу. Зимой мы играем в хоккей на льду. Тут у нас главный – брат Антуан.

У Бовуара снова закружилась голова. Брат Антуан на хоккейной площадке. Наверное, в роли капитана и центрового. Бовуар тоже играл капитаном и центровым.

– Летом некоторые из нас бегают трусцой и занимаются тайцзи. Если хотите, присоединяйтесь к нам после ночной службы.

– Так у вас называется первая утренняя?

– Пятичасовая. – Монах улыбнулся. – Ваш шеф присутствовал на ней сегодня.

Бовуар открыл рот, собираясь сказать что-нибудь резкое, пресечь любые насмешки над Гамашем, но понял, что брат Бернар просто удивлен. Не насмешничает.

– Да, он мне говорил, – кивнул Бовуар.

– Мы с ним потом беседовали.

– Правда?

Бовуар прекрасно знал, что шеф сегодня утром говорил в душевой именно с братом Бернаром, а потом они вместе собирали яйца. Брат Бернар и сообщил шефу о расколе среди монахов. У старшего инспектора даже создалось впечатление, что монахи специально искали случай сообщить ему о монастырских делах.

И только тут Бовуару пришло в голову, что, вероятно, то же самое произошло и здесь. Чем тут занимался брат Бернар – просто собирал ягодки и случайно натолкнулся на инспектора? Или все же не случайно? Что, если брат Бернар видел, как Бовуар вышел из монастыря со свитком, и последовал за ним?

– Ваш шеф хорошо умеет слушать, – заметил брат Бернар. – Из него вышел бы хороший монах.

– Он хорошо выглядит в халате, – сказал Бовуар.

Брат Бернар рассмеялся:

– Я опасался произнести эти слова. – Монах посмотрел на Бовуара, внимательно вгляделся в своего более молодого собеседника. – Мне кажется, вам тоже здесь нравится.

«Нравится? – подумал Бовуар. – Нравится. Да кому тут может нравиться?»

Он полагал, что монахи с трудом выносят здешнюю жизнь, словно власяницу. Ему и в голову не приходило, что кому-то может нравиться жить в монастыре Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Брат Бернар поднял корзинку с ягодами. Они сделали несколько шагов, прежде чем он заговорил. Слова давались ему с трудом.

– Я был удивлен, когда здесь появился кто-то еще. Мы все удивились. Включая и вашего босса, как мне кажется. Кто он?

– Его зовут Франкёр. Он старший суперинтендант.

– Квебекской полиции?

Бовуар кивнул:
– Большой начальник.
– Ваш папа, – сказал Бернар.
– Если допустить, что папа – ублюдок с пистолетом.
Брат Бернар прыснул и попытался убрать улыбку.
– Вы его не любите?
– Годы созерцания обострили ваши чувства, брат Бернар.
Бернар опять рассмеялся:
– Люди приходят издалека, чтобы услышать мои прозрения. – Секунда – и его улыбка исчезла. – Я, например, знаю: этот ваш Франкёр ненавидит вашего босса.

Оба понимали, что и для этого умозаключения не требовалось каких-то выдающихся телепатических способностей.

Бовуар не знал, что ответить. Его первым порывом было солгать. Он подумал, что из него получился бы хороший средневековый архитектор. Ему немедленно захотелось отрицать любые проблемы в полиции, скрыть правду. По меньшей мере скрыть масштабы проблем. Но он понимал, что это бесполезно. Брат Бернар, как и все остальные, ясно видел, с каким небрежением отнесся Франкёр к Гамашу на пристани.

– Их истории уже несколько лет. Между ними возникли разногласия по поводу одного коллеги.

Брат Бернар ничего не сказал. Он просто слушал. Его лицо оставалось спокойным, глаза смотрели внимательно и бесстрастно. Они медленно шли по лесу, под ногами потрескивали ветки и шуршали листья, упавшие на хорошо протоптанную тропу. Солнце пробивалось сквозь деревья, и время от времени было слышно, как пробирается по лесу бурундук или другое дикое существо, как щебечет птица.

Бовуар замер на миг, потом пошел дальше. «Почему бы и нет, – подумал он. – Всем известная история, если ты не живешь в монастыре в медвежьем углу».

Монахи ничего не знали о том, что было известно любому другому в Квебеке.

– Старший инспектор арестовал одного из суперинтендантов Квебекской полиции, хотя Франкёр и другие приказывали ему не делать этого. Арестованного звали Арно. Он в то время носил звание старшего суперинтенданта.

На безмятежном лице монаха появились хоть какие-то признаки реакции. Брови чуть приподнялись. Потом вернулись на место. Почти невидимое движение. Почти.

– За что он его арестовал?

– Убийства. Подстрекательство. Как выяснилось, Арно призывал полицейских в резервациях убивать всех недовольных индейцев. По крайней мере, если кто-то из полиции убивал или забивал до смерти молодых индейцев, Арно не привлекал их к ответственности. От попустительства до активного подстрекательства – один шаг. Чуть ли не спорт такой появился. – Бовуар с трудом говорил о вещах столь позорных, подыскивал обтекаемые выражения. – Пожилая женщина из племени кри попросила Гамаша помочь ей найти пропавшего сына. Тогда-то он и узнал о том, что происходит.

– А остальное руководство полиции хотело, чтобы ваш босс помалкивал?

Бовуар кивнул:

– Они согласились уволить Арно и других полицейских, но скандала не хотели. Не хотели терять доверие общества.

Брат Бернар не опустил глаз, но у Бовуара возникло впечатление, что веки у монаха дрогнули.

– Старший инспектор Гамаш все равно арестовал Арно, – сказал брат Бернар. – Он не подчинился приказу.

– Иного ему и в голову не приходило. Он считал, что матери, отцы, возлюбленные убитых заслуживают ответа. И публичного процесса. И извинения. И он добился своего. Для полиции это стало сплошным кошмаром.

Бернар кивнул. Церковь не понаслышке знала о скандалах. Не понаслышке знала об операциях прикрытия. О кошмарах.

– И что произошло? – спросил монах.

– Арно и остальных осудили. Они отбывают срок – приговорены к пожизненному.

– А старший инспектор?

Бовуар улыбнулся:

– Он по-прежнему старший инспектор. Но никогда не станет суперинтендантом. И знает это.

– Но его не уволили.

– Не могли уволить. Еще до этого он стал одним из самых уважаемых офицеров в Квебекской полиции. После процесса большие боссы его возненавидели, но младшие сотрудники и рядовые его обожают. Он вернул им чувство гордости. И по иронии судьбы доверие общества. Франкёр не мог его уволить. Но очень хотел. Они с Арно дружили. Были близки.

Брат Бернар помедлил, прежде чем спросить:

– Так Франкёр знал, чем занимается его друг? Они ведь оба ходили в суперинтендантах.

– Доказательств Гамаш не нашел.

– Но пытался?

– Он хотел вырезать гнойник, – сказал Бовуар.

– И удалось.

– Надеюсь.

Они мысленно вернулись к тому моменту на пристани. Гамаш протягивает руку, чтобы помочь Франкёру выйти из самолета. Выражение лица Франкёра. Взгляд.

Не неприязнь. Ненависть.

– Зачем сюда прилетел суперинтендант? – спросил брат Бернар.

– Не знаю.

Бовуар пытался говорить беззаботно. И ответил искренне. Он и в самом деле не знал. Но все равно почувствовал тревогу у себя в желудке, скребущую его изнутри.

Брат Бернар нахмурился, переваривая эту мысль:

– Им, вероятно, трудно работать вместе. Им часто приходится сотрудничать?

– Не часто.

Хватит, решил Бовуар. Он определенно не собирался рассказывать монаху о том последнем случае, когда Гамаш и Франкёр работали по одному делу. Об операции на заброшенной фабрике почти год назад. И о ее катастрофических результатах.

Он снова увидел, как Гамаш хватается за кромку стола и угрожающе подается к Франкёру, а тот бледнеет и отшатывается назад. Бовуар по пальцам одной руки мог пересчитать, сколько раз Гамаш повышал голос. Но в тот день он кричал. Прямо в лицо Франкёру.

Его ярость напугала тогда даже Бовуара.

И старший суперинтендант закричал в ответ.

Гамаш взял верх. Но только отступив. Извинившись. Он стал умолять Франкёра увидеть резон в его аргументации. Да, Гамаш умолял. Такую цену ему пришлось заплатить, чтобы заставить Франкёра действовать.

Бовуар никогда прежде не видел, чтобы шеф кого-то умолял. Но в тот день он изменил себе.

С того времени Гамаш и Франкёр почти не разговаривали. Вероятно, они обменялись парой слов на государственных похоронах полицейских, убитых во время той операции, хотя Бовуар сомневался. И может быть, еще несколькими словами во время церемонии, когда Франкёр прикреплял

медаль за храбрость к мундиру старшего инспектора. Против воли самого Гамаша.

Но Франкёр настоял. Он знал, что для остального мира это будет выглядеть так, будто он, Франкёр, награждает старшего инспектора. Однако они оба знали правду.

Бовуар во время той церемонии находился среди публики. Он видел лицо шефа, когда ему на грудь прикрепляли медаль. Словно булавкой пронзили его сердце.

Наградили его по заслугам. Но награждающие имели совсем иные мотивы.

Бовуар знал, что его шеф заслужил награду, но Франкёр таким образом пытался унизить старшего инспектора. Публично наградить Гамаша за операцию, в ходе которой погибло и получило ранения столько агентов Квебекской полиции. Франкёр вручал ему медаль не в знак благодарности за все жизни, что спас Гамаш в тот день, а в знак порицания. Чтобы эта медаль оставалась постоянным напоминанием. Обо всех потерянных молодых жизнях.

Бовуар в тот момент мог бы убить Франкёра.

И опять он почувствовал коготь в желудке. Что-то пыталось пробраться из его нутра наружу. Ему отчаянно хотелось сменить тему разговора. Стереть воспоминания. О той церемонии, но главным образом о том ужасном дне на заброшенной фабрике.

Когда одной из потерянных жизней чуть не стала его собственная.

Когда одной из потерянных жизней чуть не стала жизнь шефа.

Бовуар подумал о маленьких таблетках размером с ягодку черники – он все еще держал пузырек с этими таблетками у себя в квартире. Подумал о той вспышке, что они приносили. Не терпкого вкуса, а благодатного забвения.

Они замораживали то, что пряталось в потайной комнате Бовуара.

Он не принимал ни оксикодона, ни парацетамола вот уже несколько месяцев, после жесткого разговора с шефом. Гамаш забрал у него таблетки. Отправил его на лечение.

В конечном счете из Бовуара мог бы получиться неплохой гильбертинец. Как и они, он жил в страхе. Не перед тем, что выскочит на него из темноты, а перед тем, что терпеливо ожидает внутри его собственных стен.

– Вам нехорошо?

Бовуар следовал за тихим голосом. Как если бы шел по разбросанным на тропинке конфеткам, указующим ему путь из леса.

– Могу я вам помочь? – Брат Бернар прикоснулся к руке Бовуара.

– Нет, я в порядке. Просто задумался о деле.

Монах, далеко не убежденный, что слышит правду, продолжал вглядываться в своего попутчика.

Бовуар порылся в памяти, собирая осколки в отчаянных поисках чего-то полезного. Дело. Дело. Приор. Убийство. Место преступления. Сад.

Сад.

– Мы говорили о саде настоятеля, – сказал Бовуар.

Голос его звучал грубовато, больше не приглашая к откровениям. Он и без того зашел слишком далеко.

– А что насчет сада? – спросил брат Бернар.

– Вы говорите, что все о нем знают. Но сами вы там никогда не бывали.

– Верно.

– А кто бывал?

– Все, кого приглашал отец Филипп.

Бовуар понял, что слушает не так внимательно, как следовало бы. Воспоминания и разбуженные ими чувства продолжали его отвлекать.

Не обида ли прозвучала сейчас в голосе брата Бернара?

Вряд ли, но внимание Бовуара расщепилось, и он сомневался. И снова он мысленно отругал Франкёра. За то, что появился там, куда его не звали. В монастыре. И в голове Бовуара. Влезая во все вокруг. Пробуждая то, что лучше оставлять спящим.

Он вспомнил один совет, данный психологом: что нужно делать, когда тобой овладевает беспокойство.

Дыши. Просто дыши.

Глубокий вдох. Выдох полной грудью.

– Что вы думаете о настоятеле? – спросил Бовуар, чувствуя легкое головокружение.

– О чем это вы?

Бовуар и сам не знал толком, о чем это он.

Глубокий вдох. Выдох полной грудью.

– Вы – один из сторонников настоятеля? – задал он первый попавшийся вопрос.

– Да.

– Почему? Почему вы не встали на сторону приора?

Монах принялся пинать камешек, и Бовуар невольно стал следить за тем, как тот пляшет и подпрыгивает на земляной тропке. До двери в монастырь было еще далеко. И он вдруг пожалел, что не остался

в Благодатной церкви. Где царит мир и спокойствие. Где можно слушать монотонные песнопения. Погружаться в них.

Там нет хаоса. Нет никаких мыслей, никаких решений. Никаких грубых эмоций.

Глубокий вдох. Выдох полной грудью.

– Брат Матье – талантливый музыкант, – заговорил брат Бернар. – Он превратил наше призвание – пение хоралов – в нечто возвышенное. Он великий учитель и прирожденный руководитель. Он наполнил нашу жизнь смыслом и дал ей цель. Вдохнул жизнь в монастырь.

– Тогда почему он не стал настоятелем?

Тактика Бовуара действовала. Он последовал за своим дыханием и спокойным голосом монаха назад, внутрь своего тела.

– Хорошо бы, если бы его избрали настоятелем. Но монахи предпочли отца Филиппа.

– Предпочли брату Матье?

– Нет, брат Матье не претендовал на эту должность.

– И отца Филиппа избрали при всеобщем одобрении?

– Нет. Тогдашний приор тоже участвовал. Большинство предполагало, что он и победит, поскольку приор – самый естественный преемник. Приор почти всегда становился настоятелем.

– А кто тогда занимал пост приора?

Мозг Бовуара снова включился. Он фиксировал происходящее, а его мозг генерировал рациональные вопросы. Но узел в желудке оставался.

– Я.

Бовуар подумал, что ослышался.

– Вы были приором?

– Да. А отец Филипп – простым старым братом Филиппом. Монах как монах.

– Видимо, для него это было унизительно.

Брат Бернар улыбнулся:

– Мы стараемся не воспринимать такие вещи лично. На все Божья воля.

– А чем это лучше? Я бы предпочел терпеть унижение от людей, чем от самого Бога.

Монах не стал отвечать на замечание Бовуара.

– Вы, значит, вернулись в рядовое монашество, а настоятель назначил приором своего друга. Брата Матье.

Бернар кивнул и с отсутствующим видом вытащил из корзинки горсть черники.

– Вы ненавидели нового приора? – спросил Бовуар, угощаясь ягодами.

– Вовсе нет. Как выяснилось, то был выбор свыше. Мы с прежним настоятелем хорошо сработались. Но я бы не смог стать таким хорошим приором при отце Филиппе, каким показал себя брат Матье. Они прекрасно сотрудничали на протяжении многих лет.

– Значит, вам пришлось это проглотить.

– Вы находите такие удивительные выражения.

– Вы должны услышать то, что остается невыраженным, – сказал Бовуар и заметил, что брат Бернар улыбнулся. – Вы слышали, что приор собирался заменить брата Антуана на другого солиста?

– На брата Люка? Да. Этот слух распространял сам брат Люк и, несомненно, верил в него, но, кроме него, никто.

– Вы уверены, что это всего лишь его домыслы?

– У приора был нелегкий характер. – Брат Бернар скосил глаза на Бовуара. – Вы бы назвали его задницей.

– Вы меня убиваете.

– Но он разбирался в музыке. Он воспринимал григорианские песнопения как нечто большее, чем музыка. Как путь к Богу. Он скорее умер бы, чем сделал что-нибудь во вред хору и песнопениям.

Брат Бернар продолжал идти, явно не отдавая себе отчета в том, что сейчас сказал. Но Бовуар намотал его слова на ус.

– Солистом должен стать брат Антуан, – продолжил монах, кладя в рот еще горсть ягод. – У него превосходный голос.

– Лучше, чем у Люка?

– Гораздо лучше. Брат Люк превосходит его технически. Он умеет управлять своим голосом. У его голоса красивый тембр, но в нем ничего божественного. Все равно что вместо человека смотреть на его портрет. В нем отсутствует целое измерение.

Мнение брата Бернара о голосе Люка почти полностью совпадало с мнением брата Антуана.

И тем не менее молодой монах представлялся убежденным и убедительным, когда говорил о том, что станет солистом.

– А если бы Люк оказался прав, какова была бы реакция? – рискнул спросить Бовуар.

Бернар помедлил с ответом.

– Я думаю, братья стали бы задавать себе вопросы.

– Какие вопросы?

Брат Бернар почувствовал неловкость. Он сунул в рот еще горсть ягод. В корзинке, совсем недавно полной, уже почти просматривалось дно.

– Просто вопросы.

– Вы чего-то недоговариваете, брат Бернар.

Бернар хранил молчание. Он глотал свои мысли, мнения и слова вместе с ягодами.

Но Бовуар прекрасно понимал, что имел в виду брат Бернар.

– Вы задавали бы себе вопросы об их отношениях.

Рот Бернара захлопнулся, лицевые мышцы напряглись – он всеми силами пытался сдержать поток слов.

– Вы бы спрашивали себя, – гнул свое Бовуар, – что происходит между пожилым приором и молодым монахом.

– Вовсе не так.

– Конечно так. Вы и остальные монахи спрашивали бы себя, что происходит после спевки. Когда все вы отправляетесь по своим кельям.

– Нет, вы ошибаетесь.

– Именно так Антуан получил свою должность? Он был больше чем просто солист, а брат Матье – больше чем просто регент?

– Прекратите! – оборвал его брат Бернар. – Все было не так.

– Тогда как?

– Вы превращаете песнопения, хор в нечто омерзительное. Матье вызывал у меня неприязнь. Глубочайшую антипатию. Но даже я знал, что он никогда бы не назначил солиста в обмен на секс, – прошипел Бернар. – Брат Матье любил песнопения. Больше всего в жизни.

– И все же вы задавали себе вопросы, – сказал Бовуар очень тихо.

Брат Бернар уставился на Бовуара широко раскрытыми глазами. Костяшки его пальцев, державшие ручку корзины, побелели от напряжения.

– Вы знали, что настоятель назначил отца Антуана новым регентом?

Голос Бовуара звучал дружелюбно, приязненно. Словно и не было между ними никакой конфронтации. Бовуар научился такому трюку у Гамаша. Приостанавливай атаку. Наступай, потом отходи в сторону, назад. Стой спокойно.

Будь непредсказуемым.

Брат Бернар медленно собрался с мыслями. И глубоко вздохнул.

Потом выдохнул полной грудью.

– Я ничуть не удивлен, – сказал он наконец. – Такое решение вполне в характере настоятеля.

– Продолжайте.

– Несколько минут назад вы спросили у меня, почему я сторонник настоятеля. Вот почему. Только святой или глупец повысил бы своего

противника. А отец Филипп вовсе не глупец.

– По-вашему, он святой?

Брат Бернар пожал плечами:

– Не знаю. Но я уверен, что никого ближе к святости здесь нет. Почему, вы думаете, его выбрали настоятелем? Что он мог предложить? Он жил простым, тихим, маленьким монахом, занимался своим делом. Никакой не лидер. Никакой не выдающийся администратор. И вовсе не тонкий музыкант. Он практически не привнес в сообщество никаких навыков. Не водопроводчик, не плотник и не каменщик.

– Так кто же он?

– Божий человек. Настоящий человек. Он верит всей душой и телом. И вдохновляет на то же других. Если люди слышат Божественное, когда мы поем, то благодаря отцу Филиппу. Он делает нас лучше как людей и как монахов. Он верит в Бога и верит в силу любви и прощения. И верит не потому, что так удобнее. Если вам нужны какие-то доказательства, посмотрите на то, что он сейчас сделал. Назначил брата Антуана регентом. Он принял правильное решение. Ради хора, ради песнопений, ради мира в монастыре.

– Это значит, что он искушенный политик, а вовсе не святой.

– Вы скептик, месье Бовуар.

– И на то есть основания, брат Бернар. Кто-то убил вашего приора. Размозжил ему голову в хорошеньком садике настоятеля. Вы говорите о святых. Где в то время находился святой? Где Господь?

Бернар ничего не ответил.

– Да, я скептик, – сказал Бовуар.

«Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?»

Вот кто-то и избавил.

– И вашего драгоценного настоятеля избрали не просто так, с бухты-барахты, – напомнил ему Бовуар. – Он сам решил участвовать. Хотел стать настоятелем. Разве святые ищут власти? Мне казалось, что они должны быть смиренными скромниками.

Впереди уже показалась дверь в монастырь. Внутри их ждали длинные светлые коридоры. И маленькие кельи. И безмолвные, бесшумные монахи. И старший инспектор Гамаш. И Франкёр. Все вместе. Бовуар немного удивился, что стены и фундамент монастыря еще не сотрясаются.

Они подошли к двери из плотного дерева, срубленного в этом лесу четыреста лет назад. Потом были выкованы петли. И задвижка. Потом сделан замок.

На свитке в руке Бовуара монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу своими

очертаниями напоминал крест. А на самом деле?

На самом деле он напоминал тюрьму.

Бовуар остановился.

– Почему дверь запирается? – спросил он у брата Бернара.

– Традиция, и ничего больше. Я думаю, многое из того, что мы делаем, кажется бессмысленным. Но для нас наши правила и традиции наполнены смыслом.

Бовуар продолжал смотреть на него.

– Дверь запирается для защиты, – сказал он наконец. – Но кого защищают?

– Прошу прощения?

– Вы говорите, что девизом монастыря могли бы стать слова «На всякий случай».

– Да, «Exsisto paratus». Я пошутил.

Бовуар кивнул:

– Я слышал, что многие истины подаются в шутливой форме. На какой такой случай, mon frère? Для чего запираются двери? Чтобы не впустить внешний мир или не выпустить монахов? Чтобы защитить вас или чтобы защитить нас?

– Я вас не понимаю, – сказал брат Бернар.

Но по выражению его лица Бовуар видел, что монах прекрасно все понял. И еще он видел, что полная не так давно корзина с ягодами опустела. Идеальное подношение исчезло.

– Может быть, ваш драгоценный настоятель оказался вовсе не дальновидным политиком и не святым, а тюремщиком. Может быть, именно поэтому он так возражал против записи. Категорически противился отмене обета молчания. Осуществлял давнюю традицию молчания? Или боялся выпустить в мир какого-то монстра?

– Не могу поверить, что вы это сказали, – проговорил Бернар, с трудом сдерживая себя. – Вы намекаете на педофилию? Вы думаете, мы здесь, потому что насиловали маленьких мальчиков? Вы думаете, что брат Шарль, брат Симон, настоятель… – Монах брызгал слюной. – Что я… Не считаете же вы в самом деле…

Он не мог продолжать. Его лицо покраснело от ярости, и Бовуар даже испугался, что голова монаха вот-вот взорвется.

Но все же полицейский инспектор ничего не сказал. Он ждал. И ждал.

Ведь молчание было его другом. И врагом монаха. Потому что в молчании прятался призрак. Он вырос. Он обзавелся плотью. Плотью всех маленьких мальчиков. Всех мальчиков хора. Мальчиков-школьников.

Мальчиков – церковных служек. Доверчивых мальчиков. И их родителей.

И этот призрак навечно обосновался в молчании церкви.

Если у церкви имелся выбор, если она получала свободу рук, то защищала священников. А защитить клириков самым надежным образом можно, отправив их в глушь. В монастырь почти вымершего ордена. И возведя вокруг них стену.

Где они смогут петь, но не говорить.

Разве не мог отец Филипп служить в той же мере охранником, что и настоятелем? Святым, присматривающим за грешниками?

Глава девятнадцатая

– Вы знаете, почему гильбертинцы носят черные мантии и белые капюшоны? Ни у какого другого ордена нет таких одеяний. Они уникальны.

Старший суперинтендант Сильвен Франкёр сидел за письменным столом приора, небрежно откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу.

Старший инспектор Гамаш сидел на стуле для посетителей по другую сторону стола. Он пытался прочесть отчет коронера, привезенный Франкёром. Гамаш поднял глаза и увидел, что суперинтендант улыбается.

Обаятельная улыбка. Не оскорбительная, не снисходительная. Теплая и уверенная. Улыбка человека, которому можно доверять.

– Нет, сэр, не знаю. Почему?

Франкёр пришел в кабинет двадцатью минутами ранее и принес Гамашу документы. Потом сел и принялся мешать ему читать всякими банальными замечаниями.

Гамаш узнал в действиях Франкёра карикатуру на старую методику допроса, призванную выбивать из колеи, досаждать. Прерывать, прерывать, прерывать, пока допрашиваемый, раздраженный тем, что ему ничего не дают сказать толком, не взорвется и не скажет того, чего не сказал бы в нормальной ситуации.

Эта изощренная, изматывающая методика требовала больших затрат времени. Торопливые молодые полицейские ею не пользовались. Но офицеры постарше знали ее. И знали, что она приносит результаты, – нужно только не спешить.

Старший суперинтендант Квебекской полиции пользовался этим методом применительно к своему подчиненному – главе отдела по расследованию убийств.

Гамаш, вежливо выслушивавший прозаические замечания Франкёра, спрашивал себя, зачем тот это делает. Получает удовольствие? Играет со своим подчиненным? Или в этом есть какой-то скрытый смысл (у старшего суперинтенданта ничто не обходилось без скрытого смысла)?

Гамаш взглянул в обаятельное лицо суперинтенданта, спрашивая себя, что кроется за этой улыбкой. В этом порочном мозгу. В изощренном, предательском разуме.

Пусть Жан Ги считал Франкёра идиотом, но Гамаш-то знал,

что суперинтендант далеко не глуп. Никто не может сделать такую карьеру в Квебекской полиции, в одном из самых уважаемых силовых подразделений в мире, если он глуп.

Держать Франкёра за дурака было серьезной ошибкой. Хотя Гамаш никогда не мог полностью отделаться от впечатления, что отчасти Бовуар прав. Пусть Франкёр не был идиотом, но он не был и таким умником, каким казался. И определенно не был таким умником, каким считал себя сам. В любом случае Франкёр был достаточно опытен, чтобы пользоваться старой изощренной методикой допроса, но и слишком высокомерен, используя старый прием на человеке, который почти наверняка его распознает. Он отличался скорее хитростью, чем умом.

Но это не делало его менее опасным.

Гамаш перевел взгляд на отчет коронера. За двадцать минут он сумел одолеть всего одну страницу. Там говорилось, что приор был здоровым человеком шестидесяти с небольшим лет. Отмечался обычный износ шестидесятилетнего тела. Небольшой артрит, частичная потеря эластичности артериями.

– Я выяснил про гильбертинцев, как только узнал об убийстве приора.

Голос Франкёра звучал приятно, властно. Люди не только подпадали под его обаяние – они доверяли ему.

Гамаш оторвался от отчета и придал лицу вежливо-заинтересованное выражение:

– Правда?

– Я, конечно, читал и статьи в газетах, – сказал суперинтендант, отводя взгляд от узкого окна. – Новости главным образом относятся к тому периоду, когда их запись била все рекорды. Она у вас есть?

– Да.

– И у меня тоже. Сам я не понимаю, что в ней привлекательного. Скукотища. Но многим нравится. А вам?

– И мне.

Франкёр едва заметно улыбнулся:

– Я так и думал.

Гамаш ждал, спокойно глядя на суперинтенданта. Словно у него впереди вечность, а бумага в его руке гораздо менее интересна, чем откровения босса.

– А какая получилась сенсация! Удивительно: монахи обитали здесь сотни лет, но никто вроде их не видел. А потом они выпускают одну маленькую запись – и пожалуйста. Всемирная известность. Вот в чем проблема.

– В чем именно?

– Когда известие об убийстве брата Матье станет достоянием гласности, поднимется шум. Он ведь более знаменит, чем «Братец Яков»[49]. – Франкёр улыбнулся и, к удивлению Гамаша, запел: – Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous? Dormez-vous?

«Братец Яков, братец Яков, спишь ли ты? Спишь ли ты?»

Но веселую детскую песенку он пел как панихиду. Медленно, гнусаво. Как будто в этих глупеньких стишках имелся какой-то скрытый смысл. Закончив петь, Франкёр несколько долгих, гнетущих секунд смотрел на Гамаша.

– За это придется дорого заплатить, Арман. Даже вы, наверно, уже сообразили.

– Да, сообразил. Merci.

Гамаш подался вперед и положил отчет коронера на середину стола. Посмотрел прямо в глаза Франкёру. Тот не отвел взгляда. Смотрел не мигая холодными, жесткими глазами. Он бросал вызов старшему инспектору. И Гамаш ответил на него:

– Зачем вы прилетели?

– Чтобы помочь вам.

– Простите меня, суперинтендант, – сказал Гамаш, – но я все еще не понимаю, почему вы здесь. Прежде вы никогда не чувствовали потребности помогать.

Они уставились друг на друга. Воздух между ними вибрировал от неприязни.

– Я имею в виду, в расследовании, – с улыбкой добавил Гамаш.

– Конечно. – Франкёр посмотрел на Гамаша с почти нескрываемой ненавистью. – При отсутствии связи, – он взглянул на ноутбук на столе, – и единственном телефоне в монастыре я понимал, что кто-то должен доставить сюда документы.

Он показал на лежащую на столе папку. Отчет коронера и криминалистов.

– Очень важные документы, – кивнул Гамаш.

И он не лукавил. Но он, как и Франкёр, знал, что старший суперинтендант прилетел сюда не в качестве курьера Квебекской полиции. Напротив, если бы он хотел поскорее доставить сюда документы, он мог бы с большей пользой для дела прислать одного из следователей Гамаша.

– Если вы приехали помочь, вы, вероятно, хотите, чтобы я ввел вас в курс дела, – предложил Гамаш.

– Прошу.

Следующие несколько минут Гамаш пытался втолковать суперинтенданту Франкёру факты, а суперинтендант постоянно прерывал его бессмысленными вопросами и комментариями. Большинство из них подразумевало, что Гамаш, вероятно, пропустил что-то, или не удосужился спросить, или не удосужился расследовать.

Но Гамаш, хотя и не без препятствий, смог все-таки изложить историю убийства брата Матье.

Тело, защищавшее пожелтевший пергамент с невмами и латинской абракадаброй. Три монаха, которые молились над мертвым приором в саду. Настоятель отец Филипп, его секретарь брат Симон, доктор брат Шарль.

Свидетельства все увеличивающегося раскола в Сен-Жильбере. Между теми, кто хотел отказаться от обета молчания и сделать еще одну запись, и теми, кто не хотел ни того ни другого. Между людьми приора и людьми настоятеля.

Суперинтендант постоянно перебивал Гамаша, но тот все же рассказал ему о потайном зале для собраний братии и о тайном саде настоятеля. О том, что ходят слухи о других потайных помещениях и даже о сокровище.

Суперинтендант смотрел на Гамаша, как смотрят на легковерного ребенка.

Но Гамаш просто продолжал рассказ, давая краткие характеристики монахам.

– Похоже, со времени вашего прибытия вы ничуть не приблизились к раскрытию убийства, – проговорил Франкёр. – Все по-прежнему остаются подозреваемыми.

– Хорошо, что вы приехали, – сказал Гамаш и после паузы добавил: – Чтобы помочь расследованию.

– Да, хорошо. Но вы, например, так и не нашли орудие убийства.

– Верно.

– И даже не знаете, чем его убили.

Гамаш открыл рот, чтобы сказать, что, по их версии, убийство совершено камнем, подобранным в саду, – именно таким орудием и пробили череп приору, а потом камень перебросили через стену в лес. Но чутье и, наверное, искорки удовлетворения в глазах Франкёра отсоветовали Гамашу рассказывать об их гипотезе. Он посмотрел на суперинтенданта и вернулся к отчету коронера.

Гамаш перевернул страницу, просмотрел ее. Потом взглянул в глаза Франкёру. Искорки стали сиянием радости.

Гамаш ухватил правую руку в тиски левой. Чтобы не дрожала. Чтобы

Франкёр не увидел легкого тремора и не подумал, что стал его причиной.

– Вы читали отчеты? – спросил Гамаш.

Франкёр кивнул:

– В самолете. Насколько я понимаю, вы ищете камень, – проговорил он, подчеркивая интонацией всю нелепость подобных действий.

– Верно. Очевидно, мы ошибались. Его убили вовсе не камнем.

– Не камнем. – Франкёр убрал одну ногу с другой и подался вперед. – Земли или какой-то иной грязи в ране не обнаружено. Как видите, коронер считает, что убийство совершено длинным металлическим предметом вроде трубы или кочерги.

– Вы знали и не сообщили мне сразу же? – проговорил Гамаш спокойно, но не скрывая осуждения.

– Что? Вы считаете, я должен учить великого Гамаша, как ему работать? Мне такое и в голову не приходило.

– Тогда зачем вы прилетели, если не для того, чтобы передать важную информацию?

– Затем, Арман, – Франкёр произнес его имя так, будто ему в рот попал кусок дерьма, – что один из нас заботится о службе, а другой – о карьере. Я здесь для того, чтобы мы не выглядели полными идиотами, когда известие об убийстве станет достоянием гласности и сюда прилетят сотни корреспондентов со всего мира. Я, по крайней мере, смогу создать впечатление, что Квебекская полиция – компетентная служба. Что мы делаем все возможное, чтобы расследовать убийство одного из самых уважаемых монахов в мире. Вы знаете, о чем захочет узнать мир, когда станет известно о смерти здешнего приора?

Гамаш хранил молчание. Он знал, что к информационному взрыву приводит не только непрерывное перебивание, но и молчание. Человеку вроде Франкёра, который с трудом умеет сдерживать эмоции, нужно только дать какое-то пространство. И вовремя его подтолкнуть.

– Почему прославленная Квебекская полиция, имея всего две дюжины подозреваемых в закрытом монастыре, до сих пор не нашла убийцу? – Франкёр ухмыльнулся. – По каким причинам следствие так затягивается – вот что они спросят.

– И что вы им скажете, Сильвен? Что трудно добраться до истины, когда ваши собственные люди утаивают от вас информацию?

– До истины, Арман? Вы хотите, чтобы я сказал им, что следствие возглавляет самоуверенный, самодовольный, некомпетентный говнюк?

Гамаш вскинул брови и сделал едва уловимое движение в ту сторону, где сидел Франкёр. Через стол.

И Франкёр сорвался. Он вскочил, отбросив стул, заскрежетавший по каменному полу. Красивое лицо суперинтенданта посинело.

Гамаш остался сидеть, но мгновение спустя он медленно, очень медленно поднялся, и, разделенные столом, они замерли лицом к лицу. Гамаш сцепил руки за спиной и выпятил грудь, словно приглашая Франкёра ударить его.

Раздался тихий стук в дверь.

Ни Гамаш, ни Франкёр не ответили.

Стук повторился, послышалось осторожное:

– Шеф?

Дверь чуть приоткрылась.

– Вы должны относиться к вашим людям с бóльшим уважением, Арман! – резко сказал Франкёр громким голосом. Он повернулся к двери. – Входите!

Бовуар ступил на порог и посмотрел на обоих. Войти в кабинет приора было почти невозможно – настолько сгустилась там атмосфера. Но Бовуар вошел. Шагнул внутрь и встал плечом к плечу с Гамашем.

Франкёр перевел взгляд со старшего инспектора на Бовуара, глубоко вздохнул. И даже выдавил робкую улыбку:

– Вы пришли как раз вовремя, инспектор. Я думаю, мы с вашим шефом наговорили друг другу уже достаточно. Наверное, даже более чем достаточно. – Он обезоруживающе хохотнул и протянул руку. – Не мог поздороваться сразу по прилете. Примите мои извинения, инспектор Бовуар.

Жан Ги помедлил и тоже протянул руку.

Раздался звук колокола, и Бовуар скорчил гримасу:

– Что, опять?

Суперинтендант Франкёр рассмеялся:

– Просто у меня с языка сняли. Но возможно, пока монахи занимаются своими молитвенными делами, мы займемся нашими. По крайней мере, узнаем, на каком мы свете.

Он почти подмигнул Бовуару, потом повернулся к Гамашу:

– Подумайте, о чем я вам сказал, старший инспектор. – Голос его звучал тепло, даже сердечно. – Ни о чем другом я не прошу.

Он двинулся к дверям, но Гамаш сказал ему вслед:

– Полагаю, старший суперинтендант, вы обнаружите, что колокол зовет не к молитве, а к ланчу.

– Что ж, – Франкёр улыбнулся во весь рот, – значит Господь услышал мои молитвы. Говорят, еда здесь отличная. Да? – спросил он у Бовуара.

– Неплохая.

– Bon. Тогда увидимся на ланче. Я, конечно, останусь на несколько дней. Настоятель так любезен – предоставил мне одну из комнат. Если вы не возражаете, я освежусь и присоединюсь к вам в столовой.

Он кивнул обоим и вышел уверенным шагом. Человек, который прекрасно владеет собой и ситуацией, держит под контролем монастырь.

– Что тут произошло? – спросил Бовуар у Гамаша.

– Честно тебе говорю: понятия не имею.

– С вами все в порядке?

– Все отлично. Спасибо.

– Отвратительно, Тошнотворно, Лейкозно, Истерично, Чахоточно, Нудно, Омерзительно? ОТЛИЧНО?

– Наверное, именно такую оценку дал бы суперинтендант, – улыбнулся Гамаш.

Они вышли в коридор и направились через Благодатную церковь к трапезной.

– Он прилетел, чтобы сообщить вам об этом?

– Нет. Он говорит, что прилетел помочь. А еще привез отчет коронера и выводы криминалистов.

Гамаш начал пересказывать содержание отчета, а Бовуар слушал на ходу. Потом Бовуар остановился и посмотрел на Гамаша:

– Он знал, что написано в отчете, и не сказал вам? – В его голосе прозвучала злость. – Знал, что орудие убийства не камень, и не сообщил нам сразу же? Что за игру он ведет?

– Не знаю. Мы должны сосредоточиться на убийстве, а не отвлекаться на суперинтенданта.

– D’accord, – неохотно согласился Бовуар. – Так где же орудие убийства, черт его побери? Мы искали за стенами и ничего не нашли.

«Кроме черники, – подумал он. – Но черника штука не смертельная, пока ее не обмакнешь в шоколад».

– Я знаю одно, – сказал старший инспектор. – Отчет сообщает нам нечто крайне важное.

– Что?

– К убийству брата Матье почти наверняка подготовились. Если ты в саду, то можешь в ярости схватить с земли камень и убить кого-нибудь…

– Но не кусок металла, – подхватил Бовуар, продолжая мысль шефа. – Такое орудие убийца должен принести с собой. Кочерга или труба в саду настоятеля не валяются.

Гамаш кивнул.

Кто-то из монахов не просто набросился на приора и в ярости убил его. Убийство было спланировано.

Mens rea.

Эта латинская фраза вдруг всплыла в голове Гамаша.

Mens rea. Виновная воля. Намерение.

Один из монахов встретил приора в саду, будучи уже вооружен металлической трубой и виновной волей. Мысль и действие соединились, а результатом стало убийство.

– Не могу поверить, что Франкёр остается, – сказал Бовуар, когда они шли по Благодатной церкви. – Я сам бы признался в убийстве, только бы этот тупоголовый говнюк убрался.

Гамаш остановился. Они находились в самом центре церкви.

– Осторожнее, Жан Ги, – тихо произнес Гамаш. – Суперинтендант Франкёр вовсе не глуп.

– Вы смеетесь? Почему он не передал вам документы сразу же, как только сошел с самолета? Вместо этого он демонстративно делает перед всеми вид, что не замечает вас, и начинает разговоры с настоятелем.

– Говори потише, – предупредил его Гамаш.

Бовуар незаметно огляделся и произнес взволнованным шепотом:

– Этот человек опасен.

Он посмотрел на дверь из коридора – нет ли за ней суперинтенданта. Гамаш повернулся, и они пошли дальше – в трапезную.

– Послушайте… – Бовуар поспешил догнать шефа, идущего широким шагом. – Он подрывает ваш авторитет. Вы же понимаете. Все видели, что произошло на пристани, и теперь они считают, что главный здесь – Франкёр.

Гамаш открыл дверь и жестом пригласил Бовуара за собой, в следующий коридор. Их встретил запах свежеиспеченного хлеба и супа. Оглянувшись назад, в сумерки Благодатной церкви, Гамаш закрыл дверь.

– Он и есть здесь главный, Жан Ги.

– Да ладно вам!

Но улыбка сошла с губ Бовуара при взгляде на серьезное лицо шефа.

– Он старший суперинтендант Квебекской полиции, – сказал Гамаш. – А не я. Он мой босс. Он всегда будет главным. – Заметив возмущение Бовуара, Гамаш улыбнулся. – Все будет хорошо.

– Я знаю, шеф. Да и вообще, что плохого может случиться, когда старший офицер Квебекской полиции начинает злоупотреблять властью?

– Именно, старина. – Шеф улыбнулся и перехватил взгляд Бовуара. – Прошу тебя, Жан Ги, оставайся в стороне.

Бовуару не потребовалось спрашивать: «В стороне от чего?» Карие глаза старшего инспектора Гамаша пристально смотрели на Бовуара. В них была мольба. Не о помощи, а совсем о другом. Гамаш просил Бовуара не соваться в его распри с Франкёром.

Бовуар кивнул:

– Oui, patron.

Но он знал, что солгал.

Глава двадцатая

К приходу Гамаша и Бовуара большинство монахов уже собрались в трапезной. Старший инспектор кивнул настоятелю, который сидел во главе длинного стола. Рядом с ним стоял пустой стул. Настоятель поднял в приветствии руку, но сесть рядом с собой Гамашу не предложил. Впрочем, и старший инспектор не выказал желания присоединиться к нему. У них были разные планы.

Корзинки со свежими багетами, кругами сыра, кувшины с водой и бутылки с сидром стояли на деревянном столе, а вокруг сидели монахи в черных мантиях с откинутым назад белым капюшоном. Гамаш вдруг понял, что суперинтендант Франкёр так и не рассказал ему, почему Гильберт из Семпрингхема девять столетий назад выбрал такое невиданное одеяние для членов ордена.

– Вон там брат Раймон, – прошептал шеф, кивая на место между доктором (братом Шарлем) и другим монахом. – Он отвечает за хозяйство.

– Понял, – сказал Бовуар и быстро направился к другой стороне стола. – Не возражаете? – спросил он, подойдя к монахам.

– Ничуть, – ответил брат Шарль.

Вид у него, когда он увидел полицейского, сделался счастливым, чуть ли не истерически счастливым. Редко кто во время расследования убийства приветствовал Бовуара с такой радостью.

А вот сосед Гамаша по ланчу вовсе не обрадовался его появлению. Он не радовался и хлебу с сыром. И солнцу в небесах, и птицам за окном.

– Bonjour, Frère Simon, – сказал старший инспектор, садясь.

Но секретарь настоятеля явно принял свой персональный строгий обет молчания. А еще – обет недовольства.

Бовуар уже успел завязать разговор с братом Раймоном.

– Первые братья знали, что делали, – сказал Раймон в ответ на вопрос Бовуара о первоначальных архитектурных планах строителей монастыря.

Его ответ удивил Бовуара. Не столько содержание, сколько голос монаха.

Он говорил с грубоватым, почти неразборчивым деревенским произношением. Гнусавый голос из лесов, гор и крохотных деревень Квебека. Этот говор восходил к первым поселенцам и путешественникам из Франции, появившимся в этих краях сотни лет назад. К крепким людям, умевшим делать то, что здесь требовалось. Они владели

не великосветскими манерами, а способностью к выживанию. Да, Новый Свет открыли аристократы, обученные администраторы, моряки, но обживали его закаленные крестьяне. Их голоса, словно древний дуб, глубоко укоренились в Квебеке. Они не изменялись на протяжении многих веков. А потому историк, разговаривающий с этими квебекцами, мог подумать, что совершил путешествие во времени в средневековую Францию.

За многие поколения большинство квебекцев утратили прежний акцент. Но время от времени такой голос доносился из долины, из деревни.

Вошли в моду шутки над такими голосами; считалось, что если голос звучит по-деревенски, то и мысли у человека отсталые. Но Бовуар думал иначе.

Так говорила его бабушка, когда они лущили горох на ветхой веранде их дома. Она говорила об огороде. О сезонах. О терпении. О природе.

Его грубоватый дед, если решал высказаться, тоже говорил как крестьянин. Но думал и действовал как благородный человек. Всегда помогал соседям. Всегда делился той малостью, что имел.

Нет, Бовуар ничуть не собирался отказывать брату Раймону в уме. Напротив. Его тянуло к монаху.

Раймон смотрел на мир умными карими глазами, и даже под просторной мантией чувствовалось, что у него крепкое тело. Целая жизнь тяжелой, грубой работы сделала его руки жилистыми, мускулистыми. На вид ему было чуть больше пятидесяти.

– Сен-Жильбер строили на века, – сказал брат Раймон. Он взял бутылку с сидром и налил Бовуару и себе. – Мастерство – вот как это называется. И дисциплина. Но после тех первых монахов – сплошная катастрофа.

Засим последовала длинная речь о том, как каждое последующее поколение монахов по-своему предавало монастырь. Не духовно. Духовность, казалось, не очень заботила брата Раймона. Его волновали вопросы материальные. Что-то добавить, что-то заменить. Снова добавить. Отремонтировать крышу. Вот где катастрофы.

– А туалеты! Только не заводите меня, иначе я начну рассказывать про туалеты.

Но предупреждение запоздало. Брат Раймон уже завелся. И Бовуар начал понимать, почему брат Шарль чуть с ума не сошел от радости, когда между ним и братом Раймоном сел кто-то третий. Не из-за голоса, а из-за речей, что он произносил. Без остановки.

– Они все испоганили, – сказал брат Раймон. – Туалеты стали…

– Катастрофой? – спросил Бовуар.

– Именно. – Раймон почувствовал, что рядом с ним сидит родная душа.

Появились последние несколько монахов и заняли свои места. В дверях остановился старший суперинтендант Франкёр. В трапезной воцарилась тишина, говорил только брат Раймон, который никак не мог остановить поток слов:

– Дерьмо. Громадные ямы, наполненные дерьмом. Я могу вам показать, если хотите.

Брат Раймон с энтузиазмом повернулся к Бовуару, но тот отрицательно покачал головой и взглянул на Франкёра.

– Merci, mon frère, – прошептал Бовуар. – Но говна в своей жизни я насмотрелся.

Брат Раймон хохотнул:

– Я тоже.

Он наконец замолчал.

Суперинтендант Франкёр умел привлекать к себе внимание. Головы монахов одна за другой поворачивались в сторону суперинтенданта.

«Он и их одурачил», – подумал Бовуар. Божьи люди наверняка должны уметь видеть, что таится за обманчивой внешностью. Они должны видеть подлость, мелочность. Они должны видеть, что он отвратительный говнюк. Катастрофа.

Но, судя по ним, ничего такого они не видели. Как и многие квебекские полицейские. Его бравада обманула их. Его мужественность, его самодовольство.

Бовуар понимал, как мог повестись на манеры Франкёра перенасыщенный тестостероном мир Квебекской полиции. Но чтобы тихие, вдумчивые монахи?..

Но и они, похоже, испытывали трепет перед этим человеком, появившимся так неожиданно. Прилетел, приводнился, чуть ли не на крышу им сел. Никакой изнеженности, никакой робости, сплошная мужественность. Франкёр словно свалился с небес. Прямо в их монастырь. Прямо к ним на колени.

И, судя по выражению их лиц, они им восхищались.

Но Бовуар видел, что не все. Его утренний собеседник, брат Бернар, собиравший чернику, и несколько других монахов поглядывали на Франкёра подозрительно.

Возможно, эти монахи были совсем не так наивны, как представлял поначалу Бовуар. Но потом он понял. Люди настоятеля смотрели

на Франкёра настороженно. Вежливо, хотя и не без опаски.

В экстаз впали именно люди приора.

Франкёр окинул взглядом комнату и остановился на настоятеле. И на пустом стуле рядом с ним. Из трапезной как будто выкачали воздух, когда все взгляды переместились с суперинтенданта на стул. Потом снова на суперинтенданта.

Отец Филипп неподвижно сидел во главе стола. Он не приглашал суперинтенданта сесть рядом с ним, но и не делал ничего, чтобы воспрепятствовать этому.

Наконец Франкёр коротко, уважительно поклонился монахам и целеустремленно пошел вдоль длинного стола. К его главе. И занял место по правую руку от настоятеля.

Место приора. Пустота, вакуум заполнились.

Бовуар снова взглянул на брата Раймона и удивился, увидев восторженное выражение на худощавом морщинистом лице, повернутом к суперинтенданту.

– Место приора, ну разумеется, – сказал Раймон. – Король мертв! Да здравствует король!

– Вы называете королем приора? Я думал, что королем считается настоятель.

Брат Раймон посмотрел на Бовуара пристальным, оценивающим взглядом:

– Только по положению. Настоящим лидером был приор.

– Вы сторонник приора? – удивленно спросил Бовуар.

Он полагал, что брат Раймон лоялен настоятелю.

– Безусловно. Для меня некомпетентность имеет свои границы во времени. Он, – брат Раймон кивнул в сторону настоятеля, – разрушает монастырь. А приор хотел его спасти.

– Разрушает? Как?

– Ничего не делая. – Раймон понизил голос, но его раздражение все равно прорывалось. – Приор дал ему шанс заработать все необходимые нам деньги, чтобы привести монастырь в порядок, чтобы он простоял тысячу лет, но отец Филипп отверг его предложение.

– Но мне показалось, тут проведены большие работы. Кухня, крыша, отопление. Нельзя сказать, что настоятель ничего не делал.

– Но он делал не то, что требовалось. Мы могли какое-то время просуществовать без новой кухни или отопления.

Брат Раймон помолчал, словно в потоке слов внезапно образовалась пустота. Бовуар ждал. А брат Раймон балансировал на грани молчания

или нового потока слов.

Бовуар решил чуточку подтолкнуть его:

– А без чего вы не можете существовать?

Монах произнес еще тише:

– Фундамент разрушается.

Бовуар немного растерялся, не зная, то ли это метафорическое выражение из тех, что свойственны религиозным людям, то ли прямое утверждение. Но потом он подумал, что этот монах с его произношением, вероятно, не стал бы прибегать к метафорам.

– О чем это вы? – спросил Бовуар тоже шепотом.

– Как иначе истолковать мои слова? – удивился Раймон. – Фундамент разрушается.

– Требуется серьезный ремонт?

– Вы шутите? Вы же видели монастырь. Если фундамент разрушится окончательно, монастырь рухнет.

Бовуар уставился на неистового монаха, сверлящего его взглядом:

– Рухнет? Здание упадет?

– Совершенно верно. Не сегодня. Не завтра. Я бы сказал, что у нас есть еще лет десять. Но и на ремонт уйдет не меньше. Фундамент нес на себе стены сотни лет, – сказал Раймон. – Удивительно, как первые монахи сумели построить такое. Они намного опередили время. Но они не взяли в расчет жуткие зимы. Промерзание с последующим размораживанием и его последствия. И еще кое-что.

– Что?

– Лес. Сен-Жильбер-антр-ле-Лу стоит на месте, но лес наступает. На нас. Корни прорастают сквозь фундамент, в нем появляются трещины, он ослабевает. В трещины попадает вода. Фундамент крошится, разрушается.

Разрушается, повторил про себя Бовуар. Значит, монах имел в виду не метафору, хотя фундамент монастыря подточен не только в буквальном смысле.

– Когда мы здесь появились, то обратили внимание, что многие деревья вокруг монастыря недавно срублены, – сказал Бовуар. – Зачем?

– Срубили слишком мало и слишком поздно. Ущерб уже нанесен, корни проникли внутрь. На ремонт потребуются миллионы. И много квалифицированных рабочих. Но он, – Раймон показал ножом на настоятеля, – считает, что эту работу могут сделать две дюжины стареющих монахов. Он не только некомпетентен – он еще и неадекватен.

Бовуар не мог с этим не согласиться. Он посмотрел на настоятеля,

ведущего светский разговор с суперинтендантом, и в первый раз задал себе вопрос о его вменяемости.

– И что же он отвечает, когда вы говорите, что вам самим будет не по силам починить фундамент?

– Он отвечает, что я должен делать то же, что и он: молиться о чуде.

– А вы в чудо не верите?

Брат Раймон повернул голову и взглянул в глаза Бовуару. Гнев, столь очевидный несколько мгновений назад, исчез.

– Напротив. Я сказал настоятелю, что ему пора перестать молиться. Что чудо уже произошло. Господь дал нам голоса. И самые прекрасные песнопения. А еще – время, когда их можно распространить по всему миру. Вдохновить ими миллионы людей и заработать миллионы долларов. Если это не чудо, то я вообще не знаю, что такое чудо.

Бовуар откинулся на спинку стула и посмотрел на монаха, который не только верил в молитву и чудеса, но и считал, что Господь уже одарил их таким чудом. Орден, наложивший на себя обет молчания, зарабатывает деньги своими голосами и спасает монастырь от разрушения.

Но настоятель – настоящий слепец, он не видит, что Господь услышал его молитву и даровал то, о чем он просил.

– Кто еще знает про фундамент?

– Никто. Я обнаружил эту проблему всего два месяца назад. Провел кое-какие испытания, потом сообщил настоятелю, предполагая, что он расскажет братии.

– Но он не рассказал?

Брат Раймон покачал головой, оглядел своих братьев монахов и проговорил, еще больше понизив голос:

– Настоятель приказал срубить деревья, но братии сказал, что ради дров. На тот случай, если геотермальный источник иссякнет.

– Он солгал?

Монах пожал плечами:

– Иметь запас дров на всякий случай совсем неплохо. Но причина-то в другом. И она им неизвестна. Только настоятелю. И мне. Он взял с меня обещание, что я никому не скажу.

– А как вы думаете, приор знал?

– Хотелось бы мне, чтобы знал. Он бы нас спас. Без особых трудов. Всего еще одна запись. И наверное, концертное турне. И нам бы хватило, чтобы спасти Сен-Жильбер.

– Но брат Матье мертв, – сказал Бовуар.

– Убит, – согласился монах.

– Чьими руками?

– Да бросьте вы, сын мой. Вы не хуже меня знаете.

Бовуар скосил глаза на настоятеля, сидящего во главе стола. Отец Филипп встал. Зашевелились и другие монахи. Поднялись и полицейские.

Настоятель благословил еду. Когда он закончил, все сели, а один из монахов поднялся на возвышение, откашлялся и начал петь.

«Опять!» – со вздохом подумал Бовуар и с тоской посмотрел на свежий хлеб и сыр, лежащие перед ним так искусительно близко. Но главным образом Бовуар думал под песнопение об откровенном, прямодушном монахе. Монахе – стороннике приора. Монахе, который считал настоятеля катастрофой. И хуже того, убийцей.

Когда монах на возвышении прекратил наконец петь, другие монахи принесли на стол кастрюли с теплым овощным супом – из тех овощей, что Бовуар помогал собирать сегодня утром.

Бовуар взял ломоть теплого багета, намазал на него сбитое масло и полюбовался тем, как оно начинает таять. Потом отрезал кусок сыра камбоцола с сырной тарелки, передававшейся из рук в руки. Брат Раймон продолжил свою песнь монастырских бед, а Бовуар отправил в рот ложку супа с морковкой, горошком, пастернаком и картошкой, плавающими в наваристом ароматном бульоне.

Бовуар заметил, что если ему с трудом удается приостановить почти библейский поток слов, льющийся из собеседника, то Гамашу с трудом удается выудить пару слов из брата Симона.

Гамашу часто попадались подозреваемые, которые отказывались говорить. По большей части они сидели с воинственным видом, сложив руки на груди, и смотрели на него через исцарапанный старый стол в каком-нибудь отделении Квебекской полиции у черта на куличках.

В конце концов старшему инспектору удавалось разговорить их всех. Некоторые из них признавались в преступлении. Но почти все они говорили больше, чем ожидали от себя, и, уж конечно, больше, чем намеревались.

Арман Гамаш умел выуживать тайны из людей.

Но, разговаривая с братом Симоном, он подумал, что эта беседа, вероятно, его Ватерлоо.

Он начал с погоды. Потом, решив, что тема слишком приземленная для секретаря настоятеля, спросил о святой Цецилии:

– Мы нашли ее статую в келье брата Матье.

– Она святая покровительница музыки, – сказал Симон,

сосредоточиваясь на супе.

«Ну, по крайней мере, хоть какое-то начало», – подумал старший инспектор, отрезая ломтик камамбера и размазывая его по теплому куску багета. Одна тайна разгадана. Брат Матье каждый вечер молился святой покровительнице музыки.

Почувствовав некоторую слабину, Гамаш спросил о Гильберте из Семпрингхема. И о фасоне монашеских мантий.

Это вызвало предсказуемую реакцию. Брат Симон посмотрел на него так, словно Гамаш спятил. Потом вернулся к еде. Как и Гамаш.

Старший инспектор отхлебнул сидра.

– Вкусно, – сказал он, ставя стакан. – Насколько я понимаю, вы обмениваете чернику на сидр, который делают в одном из монастырей на юге.

С тем же успехом он мог бы разговаривать с камамбером.

Возникни подобная поразительно неловкая ситуация на каком-нибудь светском приеме, Гамаш, вероятно, сдался бы и заговорил с монахом, сидящим по другую сторону от него, но он вел расследование убийства и не имел такого выбора. И потому старший инспектор продолжал наступать на брата Симона, надеясь найти брешь в его обороне.

– Род-айленд.

Ложка брата Симона опустилась в тарелку, голова медленно повернулась. Он посмотрел на Гамаша:

– Как вы сказали?

Природа наделила брата Симона прекрасным голосом, прозвучавшим во всем своем блеске даже в такой короткой фразе. Сочным. Мелодичным. Как крепкий кофе или старый коньяк. Со всеми оттенками и глубиной.

Гамаш с удивлением понял, что за все время своего пребывания в монастыре слышал от секретаря настоятеля не более десятка слов.

– Род-айленд, – повторил Гамаш. – Прекрасная порода.

– Что вам о ней известно?

– У них фантастическое оперение. И на мой взгляд, пренебрежительное отношение к ним недопустимо.

Гамаш, конечно, ничего не знал о породе кур под названием «род-айленд», он лишь понимал, что завернул нечто красивое и это может вызвать отклик собеседника. И маленькое чудо действительно случилось. Старший инспектор запомнил одну фразу из своих разговоров с настоятелем.

Брат Симон неравнодушен к курам.

Гамаш, равнодушный к курам, запомнил одну-единственную породу.

Он уже собирался сказать «Фоггорн Леггорн», но тут произошло первое чудо, и он вовремя вспомнил, что Фоггорн Леггорн – мультипликационный персонаж, а не порода кур[50].

«Кемптаунские гонки длиной пять миль»[51]. К ужасу старшего инспектора, слова из любимой песни мультипликационного петуха проникли ему в голову и никак не желали уходить. «Ду-да». Он гнал эти слова прочь. «Ду-да».

Гамаш повернулся к брату Симону, надеясь, что его реплика сработала. «Ду-да, ду-да».

– Вы правы, у них хороший характер, но будьте осторожны. Они становятся агрессивными, когда раздражены, – сказал брат Симон.

Магическим словом «род-айленд» Гамаш не просто пробил оборону монаха – ворота перед ним широко распахнулись. И старший инспектор смог войти в крепость.

Но он все же сделал остановку, чтобы сообразить, чем можно вызвать раздражение у курицы. Вероятно, тем же, что раздражает брата Симона и других монахов, втиснутых в крохотные кельи. Полной свободой это не назовешь. Скорее свободой сельдей в бочке.

– Здесь у вас они есть? – спросил Гамаш.

– Род-айленды? Нет. Они довольно выносливы, но пока мы нашли только одну породу, которая имеет высокую яйценоскость в наших северных широтах.

Секретарь настоятеля полностью повернулся к Гамашу. Все его немногословие куда-то исчезло – монах почти умолял Гамаша задавать ему вопросы. И старший инспектор, конечно, не заставил просить себя дважды:

– О какой породе вы говорите?

Гамаш молился и надеялся, что брат Симон не попросит его догадаться.

– Вам будет стыдно, что вы не знаете, – сказал брат Симон чуть ли не с упреком.

– Наверняка.

– Шантеклер.

Брат Симон произнес слово «шантеклер» так торжественно, что Гамашу и в самом деле почти стало стыдно. Но, правда, он тут же понял, что вообще не слышал о такой породе.

– Конечно же! – сказал он. – Шантеклер. И как я не догадался! Великолепные куры!

– Вы правы.

В течение следующих десяти минут Гамаш слушал, а брат Симон, жестикулируя и рисуя коротким пальцем на деревянном столе, без умолку рассказывал о породе шантеклер. И о его собственном петушке-чемпионе Фернандо.

– Фернандо? – не мог не переспросить Гамаш.

Симон даже рассмеялся, к удивлению и чуть ли не оцепенению других монахов. Вряд ли они слышали от него прежде такой звук.

– Если откровенно, – сказал Симон, наклоняясь к Гамашу, – то я имел в виду песню квартета «АББА».

Монах напел знакомую мелодию, одну фразу о барабанах. Сердце Гамаша вспорхнуло, словно захотело прилепиться к монаху. Ах, какой удивительный был у него голос! Если другие голоса были прекрасны своей чистотой, то голос Симона поражал тембром, сочностью. Он возвышал простую популярную песенку до немыслимого великолепия. Старший инспектор пожалел, что у брата Симона нет курочки по имени Мама Миа.

Гамаш видел перед собой страстного человека. Пусть он и пылал страстью всего лишь к курам. Пылал ли он такой же страстью к музыке, Богу, монашеской жизни – другой вопрос.

День сплошных «ду-да».

– Ваш босс, кажется, одержал победу, – заметил брат Шарль, наклонившись к Бовуару.

– Oui. Любопытно, о чем они беседуют.

– И мне тоже любопытно, – сказал доктор. – От брата Симона я всегда слышал одно ворчание. Правда, молчаливость делает его идеальным привратником.

– Я думал, привратником у вас брат Люк.

– Он портье. Швейцар. У Симона другая работа. Он верный пес настоятеля. К отцу Филиппу можно попасть только через брата Симона. Он очень предан настоятелю.

– А вы? Вы преданы настоятелю?

– Он настоятель, наш вожак.

– Это не ответ, mon frère, – сказал Бовуар.

Ему удалось отвернуться от брата Раймона к монаху-врачу, когда Раймон потянулся к кувшину с сидром.

– Вы один из людей настоятеля? Или вы человек приора?

Взгляд доктора, до этого дружелюбный, вдруг стал острым, изучающим. Наконец брат Шарль снова улыбнулся:

– Я нейтрален, инспектор. Как Красный Крест. Ухаживаю

за ранеными.

– А таких много? В смысле, раненых.

Улыбка сошла с лица брата Шарля.

– Хватает. Раскол в прежде счастливом монастыре доставляет боль каждому.

– Включая и вас?

– Oui, – согласился доктор. – Но вообще-то, я не принимаю ту или иную сторону. Считаю, что для меня это неприемлемо.

– А для других приемлемо?

– Раскол в монастыре произошел не в одночасье, – сказал доктор, и в его дружеском голосе прозвучала нетерпеливая нотка. – Мы не проснулись однажды утром с решением разделиться на команды, как в игре «Красный разбойник». Все происходило мучительно и медленно. Как если бы кого-то потрошили. Вынимали внутренности. Даже дуэль благородных джентльменов заканчивается отнюдь не благородным убийством. – Монах перевел взгляд с Бовуара на Франкёра, расположившегося рядом с настоятелем, потом на Гамаша, сидевшего по другую сторону стола. – Что вам, вероятно, известно.

С губ Бовуара чуть не сорвалось отрицание, но он промолчал. Монах знал. Они все знали.

– С ним все в порядке? – спросил брат Шарль.

– С кем?

– Со старшим инспектором.

– А что с ним может быть не в порядке?

Брат Шарль помедлил, вглядываясь в лицо Бовуара. Потом посмотрел на свою неподвижную руку:

– Тремор его правой руки. Вы наверняка заметили.

– Заметил. Но он в порядке.

– Понимаете, я спрашиваю не из любопытства, – не отступал брат Шарль. – Подобный тремор иногда служит признаком серьезной болезни. Я замечаю, что он у него то появляется, то проходит. Вот, например, сейчас его рука, кажется, ничуть не дрожит.

– Дрожь появляется, когда месье Гамаш устает или при стрессе.

Доктор кивнул:

– И давно это у него?

– Недавно, – ответил Бовуар, стараясь говорить беспечно.

Он знал, что шеф вроде бы не особо переживает, если кто-то обращает внимание на случающееся у него изредка легкое подрагивание руки.

– Значит, это не Паркинсон?

– Ни в коем случае, – ответил Бовуар.

– Тогда в чем причина?

– Ранение.

– Вот как, – сказал брат Шарль и посмотрел на старшего инспектора. – Шрам у его левого виска.

Бовуар промолчал. Он уже жалел, что отвернулся от брата Раймона с его длинным списком строительных и прочих катастроф, постигших монастырь из-за некомпетентных настоятелей, самым выдающимся из которых был отец Филипп. Теперь Бовуар хотел повернуться назад. Услышать про артезианскую скважину, септики и несущие стены.

Все, что угодно, только не обсуждать ранения шефа. И по ассоциации – тот ужасный день на заброшенной фабрике.

– Если ему что-то нужно, то у меня в лазарете есть кое-что, возможно полезное для него.

– С ним все будет в порядке.

– Не сомневаюсь. – Брат Шарль помолчал. – Но нам всем время от времени бывает нужна помощь. Включая и вашего шефа. У меня есть релаксанты и болеутоляющие. Вы ему передайте.

– Непременно, – сказал Бовуар. – Merci.

Он занялся едой. Но слова монаха не давали ему покоя. Все глубже и глубже оседали в нем.

«Релаксанты».

Наконец они достигли самого дна и обосновались в потайной комнате Бовуара.

«И болеутоляющие».

Глава двадцать первая

Когда ланч закончился, старший инспектор Гамаш и Бовуар пошли обратно в кабинет приора, сопоставляя то, что удалось выяснить: Бовуару – о фундаменте, а Гамашу – о курах.

– Это не какие-то обычные куры, а шантеклеры, – с энтузиазмом сказал Гамаш.

Бовуар никогда не знал, шутит ли шеф или говорит серьезно, но подозрения у него возникали.

– Ах да, благородные шантеклеры.

Гамаш улыбнулся:

– Не насмешничай, Жан Ги.

– Чтобы я насмешничал над монахом?

– Похоже, наш брат Симон – выдающийся эксперт по шантеклерам. Эту породу вывел у нас в Квебеке один монах.

– Правда? – Бовуар невольно почувствовал интерес. – Прямо здесь?

– Нет, не здесь, не в Сен-Жильбере, а в монастыре близ Монреаля, около сотни лет назад. Климат в Канаде слишком суров, думал тот монах, обычная птица тут не выживет, и он посвятил жизнь выведению канадской породы кур. Шантеклер. Потом они почти вымерли, но брат Симон их возродил.

– К нашей радости, – сказал Бовуар. – Все другие монастыри делают алкоголь. Бренди и бенедиктин. Шампанское. Коньяк. Вина. А здесь поют забытые песнопения и выводят почти вымерших кур. Неудивительно, что они и сами почти вымерли. Но это наводит меня на мысль о моем застольном разговоре с братом Раймоном. Кстати, с вашей подачи, спасибо.

Гамаш ухмыльнулся:

– Он оказался разговорчивым, да?

– Вы своего не могли разговорить, а я своего – остановить. Но послушайте, что он мне рассказал.

Они вошли в Благодатную церковь. Монахи рассеялись по монастырю – кто работал, кто читал, кто молился. День у монахов был не менее занят, чем утро.

– Фундамент монастыря начал крошиться, – сказал Бовуар. – Брат Раймон говорит, что обнаружил проблему месяца два назад. Если немедленно не начать ремонт, то монастырь через десять лет рухнет. Первая запись принесла им неплохие деньги, но этого недостаточно.

Требуется еще.

– То есть здание монастыря может обрушиться? – спросил Гамаш и остановился как вкопанный.

– Бах – и нет, – сказал Бовуар. – Брат Раймон обвиняет настоятеля.

– Почему? Настоятель наверняка не устраивал подкоп под здание. По крайней мере, в буквальном смысле.

– Брат Раймон говорит, что, если они не заработают денег на второй записи и во время концертного турне, спасти монастырь не удастся. А настоятель ничего этого не позволяет.

– Отец Филипп знает о проблеме с фундаментом?

Бовуар кивнул:

– Брат Раймон говорит, что известил только настоятеля – больше никого. Он умолял настоятеля отнестись к его словам серьезно. Позаботиться о деньгах на ремонт фундамента.

– И больше об этом никто не знает? – спросил Гамаш.

– Ну, брат Раймон никому не говорил. Может быть, настоятель…

Гамаш сделал несколько шагов, обдумывая услышанное. Потом остановился:

– Приор был правой рукой настоятеля. Интересно, сказал ли ему отец Филипп?

Бовуар откликнулся:

– Вроде бы положено говорить своему заместителю о таких вещах.

– Если только ты не ведешь с ним войну, – пробормотал Гамаш, погруженный в свои мысли.

Он пытался понять, что произошло. Предположим, настоятель сказал приору, что монастырь разрушается. Но позже он все равно препятствовал выпуску второй записи. И, даже зная о неприятностях, грозящих монастырю, отказывался снять обет молчания, чтобы монахи могли отправиться в гастрольную поездку и давать интервью. Заработать несколько миллионов ради спасения монастыря.

Внезапно вторая запись григорианских песнопений из проекта, щекочущего самолюбие монахов и брата Матье, превратилась в нечто жизненно важное. Она не просто обозначила бы Сен-Жильбер-антр-ле-Лу на карте – она спасла бы монастырь.

Чисто теологический спор между настоятелем и приором перерос в нечто большее. Само сохранение монастыря оказалось под угрозой.

Что бы сделал брат Матье, если бы знал?

– Отношения между ними уже были напряженными, – сказал Гамаш.

Он двинулся дальше, хотя и медленно. Думая вслух. Понизив голос,

чтобы их не услышали. Из-за этого создавалось впечатление, что по Благодатной церкви идут заговорщики.

– Приор точно бы охре… – Заметив реакцию Гамаша, Бовуар быстро заменил слово: – Взбесился.

– Он и без того был в ярости, – согласился шеф. – А от такой новости вообще сошел бы с ума.

– А если, зная обо всех проблемах, настоятель продолжал бы противиться второй записи? Наверняка брат Матье пригрозил бы сообщить другим монахам. И тогда всё гов… э-э… – Ему не удалось придумать другого способа выразить свою мысль.

– Конечно всплыло бы, – согласился Гамаш. – А потому…

Шеф снова замолчал и уставился в пространство. Он склеивал полученные обрывки информации, и перед его мысленным взором возник похожий, но все же иной образ.

– А потому, – повернулся он к Бовуару, – отец Филипп мог и не сказать своему приору, что есть опасность разрушения фундамента. Он человек умный, и ему нетрудно было представить, как воспользуется этим брат Матье. Тем самым он собственноручно передал бы своему противнику водородную бомбу информации. Треснувший фундамент стал бы последним и самым убедительным аргументом, в котором нуждались приор и его сторонники.

– Вы думаете, настоятель придержал эти сведения?

– Вполне возможно. И заставил брата Раймона держать это в тайне.

– Но мне Раймон обо всем рассказал, – возразил Бовуар. – Кто знает, рассказал он другим монахам или нет.

– Вероятно, он считал, что обещание, данное настоятелю, распространяется только на братию. Не на тебя.

– Или ему уже надоело молчать, – заметил Бовуар.

– И возможно, – сказал Гамаш, – брат Раймон солгал тебе и все-таки открыл тайну кому-то еще.

Они услышали тихое шарканье ног по Благодатной церкви и увидели монахов – те шли кто куда по своим делам, прижимаясь к стенам. Словно боялись обнаружить себя.

Полицейские разговаривали вполголоса, и Бовуар надеялся, что их никто не услышал. Но если услышали, то теперь уже ничего не поделаешь.

– Приору, – закончил мысль Бовуар. – Если бы брат Раймон нарушил свое обещание настоятелю, то сообщил бы брату Матье. Он бы чувствовал, что имеет на это право, раз настоятель не предпринимает никаких действий.

Гамаш кивнул. Это имело смысл. В том маленьком логическом мире, который они только что создали. Но в жизни монахов мало что укладывалось в рамки логики. И старшему инспектору пришлось напомнить себе: есть разница между тем, что должно было бы случиться, что могло случиться и что случилось на самом деле.

Им требовались факты.

– Если бы брат Раймон сказал приору, к чему бы это привело? – спросил Бовуар.

– Можно предположить, что приор впал бы в бешенство…

– Или нет, – прервал его Бовуар, и шеф удивленно посмотрел на него. – Не исключено, что настоятель, храня молчание о столь важных обстоятельствах, в конечном счете дал бы приору необходимое оружие. Приор, возможно, продемонстрировал бы притворную злость, но на самом деле он только обрадовался бы.

Гамаш представил себе приора. Вообразил, как тот выслушивает известие о неприятностях с фундаментом. Настоятель все знает, но ничего не предпринимает. Только молится. Как бы в таком случае поступил приор?

Сказал бы кому-нибудь еще?

Наверное, не сказал бы. По крайней мере, сразу.

В ордене, принявшем обет молчания, информация становилась твердой валютой, и брат Матье явно не имел склонности разбрасываться ею. Он бы никогда не поделился полученной информацией сразу же. Он приберег бы ее про запас. Подождал бы подходящего момента.

Гамаш, конечно, не знал, но мог предполагать, что приор, вероятно, попросил бы встречи с настоятелем. Где-нибудь в укромном месте. Где их никто не услышит. И не увидит. Где только птицы, и столетний клен, и мошка. Если не считать Господа.

Но старший инспектор опять покачал головой. Эта гипотеза не отвечала всем фактам. Один из фактов, подтвержденный свидетельскими показаниями, состоял в том, что именно настоятель искал встречи с приором. А не наоборот.

Правда, и тут не обошлось без «но».

Гамаш вспомнил один из его разговоров с настоятелем. В саду. Когда настоятель сказал, что именно приор предложил встретиться. Настоятель только назначил время.

Значит, о встрече просил приор. О чем он хотел говорить – о фундаменте?

И опять сценарий изменился. Настоятель дает своему секретарю фальшивое поручение. Просит его найти приора и сообщить о встрече

позднее этим утром.

Брат Симон уходит.

И настоятель остается один в своем кабинете, в своей келье, в своем саду. И ждет там брата Матье и встречи, тайно им организованной. Но не после одиннадцатичасовой мессы, а после мессы первого часа.

Они направляются в сад. Отец Филипп не знает наверняка, о чем хочет говорить с ним приор, но подозревает. Он берет с собой отрезок трубы, прячет его в длинном рукаве мантии.

Брат Матье сообщает настоятелю, что знает о проблемах с фундаментом. Требует сделать вторую запись. Требует снять обет молчания. Спасти монастырь. Иначе в зале для собраний братии он сегодня же расскажет монахам о фундаменте. О молчании настоятеля. О бездействии настоятеля перед лицом кризиса.

Когда брат Матье достает свою бомбу, настоятель достает водопроводную трубу. Одно оружие фигуральное, другое – самое что ни на есть настоящее.

Секунда – и приор лежит, умирая, у ног настоятеля.

Да, подумал Гамаш, представляя себе эту сцену. Все совпадает.

Почти.

– Что не так? – спросил Бовуар, заметив беспокойство на лице шефа.

– Все вроде выстраивается в логичную цепочку, но есть одна проблема.

– Какая?

– Невмы. Клочок пергамента, найденный у приора.

– Может быть, он просто принес его с собой. И эта бумажка не имеет никакого значения.

– Может быть, – сказал Гамаш.

Но они оба сомневались. Лист пергамента оказался в руке приора не случайно. Не случайно он, умирая, защищал эту бумажку.

Пергамент и разрушающийся фундамент монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. Как они могут быть связаны?

– Я совсем запутался, – признался Бовуар.

– И я тоже. Что тебя смущает, mon vieux?

– Настоятель, отец Филипп. Я говорил с братом Бернаром, он, кажется, добрый парень и считает настоятеля чуть ли не святым. Потом я говорил с братом Раймоном, который тоже кажется весьма порядочным человеком, и он считает, что настоятель – ближайший родственник Сатаны.

Гамаш помолчал несколько секунд.

– Ты можешь снова найти брата Раймона? Он, вероятно, в подвале.

Я думаю, там у него кабинет. Спроси его напрямую, говорил ли он приору о фундаменте.

– И если орудием убийства послужила труба, то убийца, вероятно, взял ее в подвале. А потом отнес назад.

Бовуар понимал, что эти соображения делают жилистого разговорчивого брата Раймона первостепенным подозреваемым. Сторонник приора, который знал о трещинах в фундаменте, любил монастырь и верил, что настоятель собирается его разрушить. А кто лучше человека, занимающегося хозяйством, мог знать, где найти отрезок трубы?

Вот только… Вот только… Опять Бовуар упирался в тот факт, что убили не того монаха. Все было бы логично, если бы убили настоятеля. Но настоятель жив-здоров. Убили приора.

– Я еще спрошу брата Раймона о потайной комнате, – сказал Бовуар.

– Bon. Возьми чертежи. Послушай, что он скажет. И осмотри фундамент. Если он в таком ужасном состоянии, то ты увидишь. Интересно, почему никто прежде не обращал внимания на состояние фундамента?

– Думаете, он солгал?

– Я слышал, что некоторые люди иногда лгут.

– Мне претит цинизм, шеф, но я попытаюсь. А вы куда?

– Брат Симон, вероятно, уже заканчивает копировать песнопение, найденное на теле приора. Пойду возьму копию и оригинал. А еще у меня есть к нему несколько вопросов. Но сначала хочу дочитать в спокойной обстановке отчеты коронера и криминалистов.

В церкви раздался резкий, уверенный звук шагов. Гамаш и Бовуар повернулись на него, хотя оба знали, кого увидят. Уж конечно, не кого-то из монахов, умеющих ходить по-кошачьи.

Подошвы туфель старшего суперинтенданта Франкёра цокали по каменному полу.

– Джентльмены, – сказал Франкёр, – вам понравился ланч? – Он посмотрел на Гамаша. – Я слышал, как вы с монахом разговаривали о птице, верно?

– О курах, – подтвердил Гамаш. – Точнее, о породе шантеклер.

Бовуар с трудом сдержал улыбку. Франкёр никак не ждал такой живой реакции от Гамаша. «Вот говнюк», – подумал Бовуар. Потом он увидел холодные глаза Франкёра, устремленные на шефа, и ледяную улыбку на его губах.

– Надеюсь, у вас на сегодня запланировано что-то более полезное, – сказал суперинтендант небрежным тоном.

– Запланировано. Инспектор Бовуар собирается посетить в подвале брата Раймона – поискать потайную комнату, если таковая существует. И возможно, орудие убийства, – добавил Гамаш. – А мне нужно еще поговорить с секретарем настоятеля братом Симоном – тем монахом, с которым я говорил за ланчем.

– Теперь о свиньях? Или о козах?

Бовуар замер. Двое этих людей в мирной, прохладной церкви поедали друг друга взглядом. Готовые к схватке.

Потом Гамаш улыбнулся:

– Если он захочет. Но в основном разговор будет о песнопении – я вам о нем рассказывал.

– О том, которое нашли на теле брата Матье? – спросил Франкёр. – А при чем тут секретарь настоятеля?

– Он делает копию документа вручную. Хочу ее забрать.

Бовуар отметил, что Гамаш преуменьшает важность своего разговора с братом Симоном.

– Вы отдали ему единственное вещественное доказательство?

Бовуар прекрасно понимал, что Франкёр лишь изображает удивление. А вот чего он не мог понять, так это почему Гамаш сдержался и не окоротил наглеца.

– У меня не оставалось выбора. Мне требовалась помощь монахов, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Ксерокса у них нет, и я остановился на этом решении. Если у вас есть другое предложение, я его с удовольствием выслушаю, сэр.

Франкёр отбросил напускную вежливость. Бовуар слышал его тяжелое дыхание. Он подозревал, что монахи, молча двигающиеся вдоль стен, тоже слышат прерывистое громкое дыхание суперинтенданта. Словно работали мехи, раздувавшие бешенство Франкёра.

– Тогда я пойду с вами, – сказал суперинтендант. – Чтобы увидеть этот знаменитый клочок бумаги.

– Буду рад, – откликнулся Гамаш и сделал приглашающий жест.

– Вообще-то… – вмешался Бовуар, быстро все обдумав. Он словно шагнул с обрыва в пропасть. – Вообще-то, я думал, что суперинтендант захочет пойти со мной.

Гамаш и Франкёр уставились на Бовуара. И он почувствовал себя как в свободном падении.

– Почему? – одновременно спросили они.

– Понимаете…

Истинную причину назвать он не мог. А состояла она в том, что глаза

Франкёра горели убийственным огнем. И он видел, как шеф ухватил левой рукой правую. И надежно удерживает ее.

– Понимаете, – повторил Бовуар, – я думал, что суперинтендант захочет пройтись по монастырю, увидеть места, которые мало кто видел. И я бы мог воспользоваться его помощью.

Брови Гамаша чуть-чуть поднялись, потом опустились. И Бовуар отвернулся, не в силах выдержать его взгляд.

Гамаш был недоволен Бовуаром. Такое, конечно, случалось время от времени в их работе, когда напряжение и ставки высоки. Между ними случались и столкновения. Но такого выражения на лице Гамаша Бовуар не видел никогда.

Это было раздражение, но не только. Гамаш прекрасно понимал, что делает Бовуар. И чувства старшего инспектора выходили за рамки простого неодобрения, даже за рамки гнева. Бовуар достаточно хорошо знал Гамаша, чтобы видеть это.

На лице шефа появилось что-то еще, промелькнуло в тот момент, когда он поднял брови.

Страх.

Глава двадцать вторая

Жан Ги Бовуар взял свернутый в трубочку план монастыря со стола в кабинете приора и посмотрел на Гамаша, расположившегося на стуле для посетителя. На коленях у него лежали отчеты коронера и криминалистов.

Франкёр ждал Бовуара в Благодатной церкви, и инспектор спешил. И все же он задержался.

Гамаш надел свои полукруглые очки, взглянул на Бовуара.

– Извините, что я вмешался, шеф, – пробормотал Бовуар. – Я только…

– Да, я знаю, что ты «только». – Гамаш говорил жестким, холодным голосом. – Он ведь не глуп, Жан Ги. Не обращайся с ним подобным образом. И никогда не обращайся подобным образом со мной.

– Désolé, – пробормотал Бовуар.

Намереваясь оградить Гамаша от суперинтенданта, он не предполагал, что шеф так отреагирует. Он ожидал благодарности.

– Мы здесь не в игрушки играем, – сказал Гамаш.

– Я знаю, patron.

Старший инспектор продолжал смотреть на Бовуара:

– Никаких конфронтаций с суперинтендантом Франкёром. Если он будет тебя поддевать, не реагируй. Если он будет на тебя наезжать, не отвечай ему тем же. Просто улыбайся и думай о нашей цели. Раскрыть убийство. Только и всего. Он приехал сюда со своими собственными целями, это понятно нам обоим. Мы не знаем его цели, а что касается меня, то мне она и неинтересна. Важно только раскрыть убийство и уехать домой. Верно?

– Oui, – сказал Бовуар. – D’accord.

Он кивнул Гамашу и вышел. Франкёр преследовал свою цель, но свою цель преследовал и Бовуар. Простую цель. Не подпускать суперинтенданта к Гамашу. Что бы там ни надумал Франкёр, это наверняка было направлено против Гамаша. И Бовуар твердо решил помешать суперинтенданту.

– Бога ради, будь осторожен.

Напутственные слова Гамаша звучали в ушах Бовуара, пока он шел по коридору в Благодатную церковь. А перед его мысленным взором оставался Гамаш, сидящий на стуле с папкой на коленях и бумагой в руке.

Он видел легкое дрожание листа бумаги, как на сквозняке. Правда, никакого сквозняка в кабинете не ощущалось.

Бовуар заметил суперинтенданта не сразу – тот стоял у стены, читал надпись на доске.

– Значит, вот она, потайная дверь в зал для собраний братии, – сказал Франкёр, не поворачиваясь к Бовуару. – Боюсь, что жизнеописание Гильберта из Семпрингхема не самое занятное чтение. Как вы думаете, они поэтому сделали потайную комнату за памятной плитой? Предполагали, что любой незваный гость умрет от скуки, читая надпись?

Старший суперинтендант Франкёр повернулся и взглянул Бовуару в глаза.

И Бовуар увидел, что глаза суперинтенданта светятся юмором. И уверенностью.

– Я к вашим услугам, инспектор.

Бовуар попытался понять, что кроется за дружеским расположением суперинтенданта. Франкёр наверняка знал о том, что Бовуар предан Гамашу. Что он один из людей старшего инспектора. Но если Гамаша суперинтендант пытался уязвить, разозлить и оскорбить, то по отношению к Бовуару он был сама вежливость, даже очарование.

Бовуар насторожился еще больше. Одно дело лобовая атака, но как быть с подозрительной попыткой навязать дружбу? В любом случае чем дольше он будет отвлекать Франкёра от Гамаша, тем лучше.

– Лестница здесь.

Двое полицейских направились в угол церкви, и Бовуар открыл дверь. Вниз вели стертые каменные ступени. Освещалась лестница хорошо, и они быстро спустились в подвал. Бовуар остановился не на земляном полу, как предполагал, а на громадных сланцевых плитах.

Посмотрел вверх – потолок высокий, сводчатый.

– Похоже, гильбертинцы все делают основательно, – сказал Франкёр.

Бовуар не ответил, но именно такая мысль и ему пришла в голову. Здесь было прохладнее, чем наверху, но не холодно, и Бовуар предположил, что температура внизу не меняется независимо от сезона.

В камень стен были вделаны большие кованые подсвечники, но освещался подвал лампочками, висевшими на стенах и потолке.

– Куда? – спросил Франкёр.

Бовуар посмотрел в одну сторону, в другую. Он не знал толком. Он понял, что не продумал свой план до конца. Предполагал, что спустится в подвал и тут же увидит брата Раймона.

Он почувствовал себя болваном. Если бы он спустился сюда с Гамашем, то они пошутили бы и вместе отправились на поиски монаха. Но он спустился не с Гамашем. А со старшим суперинтендантом

Квебекской полиции. И Франкёр поедал Бовуара глазами. Не рассерженными. Напротив, он принял терпеливый вид, словно работал с начинающим агентом, который хоть и неумело, но старается изо всех сил.

Бовуар с удовольствием ударил бы по этому лицу, чтобы прогнать с него наглое выражение.

Но он только улыбнулся.

Глубокий вдох. Полный выдох.

В конце концов, он сам пригласил сюда суперинтенданта. И по меньшей мере должен выглядеть довольным, что его приглашение принято. Чтобы скрыть неуверенность, Бовуар подошел к одной из каменных стен и приложил к ней ладонь.

– Брат Раймон за ланчем сообщил мне, что фундамент растрескивается, – сказал Бовуар, рассматривая стену, словно для того и спустился сюда.

Он мысленно выругал себя за то, что не договорился с монахом.

– Vraiment?[52] – спросил Франкёр равнодушно. – И что из этого следует?

– Из этого следует, что монастырь разрушается. Монах говорит, что полное обрушение произойдет в течение ближайших десяти лет.

Теперь Франкёр стал слушать внимательно. Он подошел к стене напротив Бовуара и вгляделся в нее.

– На мой взгляд, стена как стена, – сказал он.

На взгляд Бовуара, тоже. Никаких трещин, никаких проросших сквозь камни корней. Оба полицейских осмотрелись. Их глазам предстало величественное зрелище. Еще одно инженерное чудо отца Клемана.

Каменные стены проходили под всем монастырем. Они напоминали Бовуару монреальское метро, только вот шума поездов здесь не было слышно. Четыре гулких коридора, похожие на туннели, тянулись отсюда в разные стороны. Все хорошо освещены. Вычищены. Ничего лишнего.

Орудия убийства нигде не видно. Деревья из стен не растут.

Но если верить брату Раймону, то Сен-Жильбер-антр-ле-Лу дышал на ладан. И хотя Бовуар не испытывал особой любви к монахам, священникам, церквям или монастырям, он поймал себя на том, что огорчился бы, если бы монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу не стало.

И уж тем более он бы огорчился, если бы монастырь обрушился, пока они стоят в подвале.

До них донесся гулкий звук закрывающейся двери, и Франкёр двинулся в том направлении, даже не оглянувшись, идет ли Бовуар за ним. Словно для него не имел никакого значения этот незначительный

и некомпетентный инспектор Бовуар.

– Дубина тупоголовая, – пробормотал Бовуар.

– Здесь хорошая акустика, – сказал Франкёр, не поворачиваясь.

Несмотря на предупреждение Гамаша, несмотря на собственные намерения, Бовуар уже поддался на провокацию Франкёра. И дал волю чувствам.

Но может быть, оно и к лучшему, подумал Бовуар, медленно двигаясь за Франкёром. Гамаш мог ошибаться, и Франкёру нужно дать понять, что Бовуар его не боится. Франкёр должен знать, что имеет дело со взрослым человеком, а не с выпускником академии, который трепещет перед одним званием «старший суперинтендант». Что он, Бовуар, не позволит собой манипулировать.

Они подошли к закрытой двери, и Бовуар постучал. После долгой паузы Франкёр потянулся к ручке, но тут дверь открылась. За ней стоял брат Раймон. Он выглядел встревоженным, но при виде полицейских на его лице появилось раздражение.

– Хотите напугать меня до смерти? Я подумал – убийцы.

– Убийцы редко стучат, – сказал Бовуар.

Он повернулся и с удовлетворением увидел, что старший суперинтендант смотрит на брата Раймона с полным недоумением.

Казалось, его ошарашил вид грубоватого подземного монаха, говорившего на древнем диалекте. Возникло впечатление, будто дверь открылась – и они шагнули в общество той первой братии, приведенной сюда отцом Клеманом.

– Вы из каких мест, mon frère? – спросил наконец Франкёр.

И настал черед удивляться Бовуару. И брату Раймону.

Старший суперинтендант Франкёр задал свой вопрос на том же самом диалекте, на каком говорил и монах. Бовуар посмотрел на суперинтенданта – не издевается ли тот над монахом, но нет, Франкёр оставался серьезным. Напротив, его лицо выражало восторг.

– Из Сан-Фели-де-Бос, – сказал брат Раймон. – А вы?

– Из Сан-Гедеон-де-Бос, – ответил Франкёр. – Совсем рядом.

За этим последовал скорострельный обмен между двумя земляками на языке, почти непонятном Бовуару. Наконец брат Раймон обратился к Бовуару:

– Его дед и мой двоюродный дед после пожара восстанавливали церковь в Сан-Эфреме.

Брат Раймон пригласил их к себе. В громадное помещение. Широкое и длинное, оно словно компенсировало недостатки коридора. Монах

устроил для них экскурсию, рассказал про геотермальную систему, вентиляционную систему, систему горячего водоснабжения, систему фильтрации. Про септик. Про всё.

Бовуар пытался не потерять нить рассказа – вдруг промелькнет что-то полезное, но постепенно его мозг как будто оглох. В конце экскурсии брат Раймон зашел в кладовку и взял там бутылку и три стакана.

– Мы должны это отпраздновать, – сказал он. – Редко доводится встретить соседа. У меня есть приятель из ордена бенедиктинцев, и он присылает мне это. – Брат Раймон протянул Бовуару пыльную бутыль. – Хотите глотнуть?

Бовуар осмотрел бутылку. «БиБ». Бренди и бенедиктин. К счастью, изготовленный не какими-то пьяными монахами – хотя, как подозревал Бовуар, и их хватало, – а настоящими бенедиктинцами по древнему рецепту.

Они подтащили стулья к чертежному столу и сели.

Брат Раймон разлил напиток.

– Santé[53], – сказал он, предлагая темно-янтарную жидкость редким гостям.

– Santé, – откликнулся Бовуар и поднес стакан к губам.

Он вдохнул запах, приятный и насыщенный, сладковатый, но еще и целебный. Жидкость имела такую высокую концентрацию, что у него защипало глаза. Он сделал глоток, и ему обожгло горло, потом алкоголь взорвался в его желудке, из глаз потекли слезы.

И это было здорово.

– Итак, mon frère… – Суперинтендант Франкёр откашлялся и начал снова. Он вернулся к своему обычному голосу без акцента, словно «БиБ» выжег древний диалект. – У инспектора Бовуара есть к вам несколько вопросов.

Бовуар стрельнул в него раздраженным взглядом. Франкёр не упустил случая поддеть его. Бовуару помощь не требовалась. Однако он просто улыбнулся и поблагодарил суперинтенданта. Потом развернул свиток, наблюдая за реакцией брата Раймона. Но никакой реакции не последовало, монах лишь вежливо кивнул, встал и наклонился над старинным планом монастыря.

– Вы видели чертеж монастыря прежде? – спросил Бовуар.

– Много раз. – Он посмотрел на Бовуара. – Он мой старый друг. – Его гибкая рука застыла над пергаментом. – Я практически заучил этот чертеж наизусть, когда мы планировали провести геотермальное отопление. – Он снова посмотрел на план почти с нежностью. –

Он прекрасен.

– Но насколько он точен?

– Вот эти части не точны. – Монах показал на сады. – А все остальное удивительно точно.

Брат Раймон откинулся на спинку стула и погрузился в объяснения того, как первые монахи в семнадцатом веке строили монастырь. Как они проводили измерения. Как доставляли камни. Как копали.

– Они потратили на строительство не один год, – сказал Раймон с теплом в голосе. – Десятилетия. Только для того, чтобы вырыть подвал. Вы только представьте.

Бовуар поймал себя на том, что очарован. Деяние, воистину не имевшее себе равных. Эти люди бежали сюда от инквизиции. И нашли здесь климат столь суровый, что и несколько дней не выживешь. Их встретили волки, медведи и множество всяких необычных диких зверей. Мошка жалила так нещадно, что прокусывала кожу новорожденного лося. Слепни не давали покоя – они и святого могли свести с ума.

Какими ужасами грозила им инквизиция, если они предпочли ей все это?

И они не стали строить себе какое-нибудь скромное деревянное жилище – возвели каменный монастырь.

Это возвышало веру.

Кто способен на такое умерщвление плоти? На такое терпение? Только монахи. Но может быть, у кого-то это было в крови, как у брата Раймона. Как у бабушки Бовуара с ее терпением, готовым ко всему: к недугам, засухам, градам и наводнениям. К жестокосердию. К наступающим на деревню городкам и новым умным соседям.

Бовуар посмотрел на суперинтенданта Франкёра, сына той же земли, на которой родился брат Раймон, откуда вышли дед и бабка Бовуара.

В каком долгосрочном плане участвовал сейчас Франкёр? Сколько еще лет нужно на его реализацию? Или он составлял его на ходу? И какая часть плана привела суперинтенданта сюда?

Бовуар знал, что ему самому нужно проявлять терпение, чтобы найти ответы, хотя и понимал, что терпение не самая сильная его сторона.

Брат Раймон все бубнил и бубнил без конца.

Вскоре Бовуар потерял интерес к его рассказу. Брат Раймон обладал редким даром: он умел превратить самую захватывающую историю в скучнейшую. Этакая разновидность алхимии. Тип трансмутации.

Наконец, когда молчание обволокло уже онемевший череп Бовуара,

он очнулся от своих размышлений.

– Значит, – проговорил Бовуар, цепляясь за последнюю уместную фразу, сохранившуюся в его голове, – план верен?

– Он верен в достаточной степени, мне даже не понадобилось рисовать уточненный, когда встраивали новую систему. Это геотермальное отопление…

– Да, я знаю. Merci.

«Черт меня побери, – подумал Бовуар, – если я позволю одному человеку спровоцировать меня, а другому уморить до смерти болтовней».

– Я вот что хочу знать: нет ли где-то здесь, в монастыре, потайной комнаты…

Его прервал смешок.

– Вы что, верите в истории, которые вам рассказывают старые кумушки? – спросил брат Раймон.

– Эту рассказывают старые монахи. И вы наверняка ее слышали.

– Я также слышал про Атлантиду, Санта-Клауса и единорога. Однако вряд ли они могут найтись в монастыре.

– Но Бога вы найти предполагаете, – сказал Бовуар.

Эти слова ничуть не оскорбили брата Раймона. Напротив, он улыбнулся:

– Поверьте мне, инспектор, даже вы найдете здесь Бога скорее, чем потайную комнату или сокровище. Вы полагаете, мы могли сделать здесь отопление и не заметить потайной комнаты? Вы думаете, мы могли установить солнечные панели, провести электричество, водопровод и при этом пропустить комнату?

– Нет, – ответил Жан Ги. – Это вряд ли. Я думаю, вы бы ее нашли.

Монах уловил смысл его слов, но ничуть не насторожился. Просто улыбнулся.

– Послушайте меня, сын мой, – неторопливо сказал брат Раймон; Бовуару начало уже надоедать, что с ним разговаривают как с сыном. С ребенком. – Это байки, их рассказывают друг другу монахи, чтобы убить долгие зимние вечера. Такая забава. Ничего больше. Нет никакой потайной комнаты. Никаких сокровищ. – Брат Раймон наклонился вперед, вытянув вперед руки, а локти уперев в тощие колени. – Скажите мне, что вы на самом деле ищете?

– Человека, который убил приора.

– Здесь вы его не найдете.

Несколько секунд они смотрели друг на друга, и холодная атмосфера потеплела.

– Я надеялся, мы найдем здесь орудие убийства, – сказал Бовуар.

– Камень?

– Почему вы думаете, что камень?

– Вы же сами нам сказали. Мы все поняли так, что брата Матье убили ударом камня по голове.

– Согласно отчету коронера, его убили, скорее, отрезком трубы или чем-то похожим. У вас тут есть трубы?

Брат Раймон встал и повел его к двери. Включил свет, и они увидели помещение размером не больше монашеской кельи. Полки на стенах, все аккуратно разложено по местам. Доски, гвозди, шурупы, молотки, старые куски разломанных кованых вещей, всякая всячина, какая бывает в любом хозяйстве, хотя и в гораздо меньшем количестве.

А в углу стояли отрезки водопроводных труб. Бовуар двинулся туда, но тут же остановился и спросил у брата Раймона:

– Это все, что у вас есть?

– Мы стараемся ничего не выбрасывать, используем многократно.

Инспектор снова повернулся к углу. Да, там стояли трубы, но все длиннее пяти футов, часть из них – гораздо длиннее. Убийца с такой трубой мог разве что перепрыгнуть через стену, как с шестом, но не вышибить мозги приору.

– А где еще можно найти отрезок трубы? – спросил Бовуар, когда они вышли из кладовки и монах закрыл дверь.

– Не знаю. У нас такие вещи не валяются где попало.

Бовуар кивнул. Он своими глазами видел: подвал безупречен. Он понимал, что если бы где и лежал отрезок трубы, то брат Раймон знал бы.

Раймон служил настоятелем подвала. Мастером подземного мира. И если монастырь наверху наполняли ладан и тайна, музыка и странный танцующий свет, то здесь царили чистота и порядок. И постоянство. Температура, свет – все оставалось неизменным.

Бовуару это нравилось. Здесь, под землей, отсутствовало всякое творческое начало, что-либо прекрасное. Но здесь не наблюдалось и хаоса.

– Настоятель говорит, что спускался сюда вчера утром после молитвы первого часа, но вас тут не видел.

– После молитвы я работаю в саду. Настоятель в курсе. – Брат Раймон говорил легким, дружеским тоном.

– В каком саду?

– В огороде. Я видел вас там сегодня утром. – Он посмотрел на суперинтенданта Франкёра. – И ваше прибытие видел. Очень

театральное.

– Вы там работали? – спросил Бовуар. – В огороде?

Брат Раймон кивнул:

– Наверное, все монахи на одно лицо.

– Вас кто-нибудь видел? – спросил Бовуар.

– В огороде? Ну, я ни с кем не говорил, но вряд ли оставался невидимым.

– Значит, возможно, что вас там и не было?

– Нет, невозможно. Меня могли не видеть, но я там был. А вот то, что настоятель здесь не появлялся, – это вполне возможно. Уж его-то в подвале точно никто не видел.

– Он говорит, что приходил проверить геотермальную систему. Могло такое быть?

– Нет.

– Почему?

– Настоятель ничего не понимает в этих вещах. – Брат Раймон махнул рукой в сторону приборов. – А когда я пытаюсь объяснить, он теряет всякий интерес.

– То есть вы считаете, что он не появлялся здесь вчера, после ваших молитв?

– Не появлялся.

– Где же он, по-вашему, был?

Монах стоял молча. Они как камни, подумал Бовуар. Большие черные камни. И их естественное состояние, как и у камней, – безмолвие. И неподвижность. Говорить для них неестественно.

Бовуар знал единственный способ разбить камень.

– Вы полагаете, он был в саду? – спросил Бовуар.

Из его голоса исчезли дружеские нотки.

Монах продолжал молча смотреть перед собой.

– Я говорю, конечно, не об огороде, – продолжил Бовуар, делая шаг к брату Раймону. – А о личном саде настоятеля.

Брат Раймон не издал ни звука. Не шелохнулся. Не отступил, когда Бовуар приблизился.

– Вы думаете, настоятель был в саду не один?

Голос Бовуара становился все громче. Заполнял гулкое помещение. Эхом отдавался от стен. Краем глаза Бовуар видел суперинтенданта, ему показалось, что тот откашливается. Прочищает горло. Явно для того, чтобы остановить наглого и неадекватного полицейского.

Поправить его. Оттащить Бовуара подальше от монаха.

Но Бовуар не собирался сдаваться. Брат Раймон, при всей его мягкости, при всей его страсти к механике, притом что говорил с Бовуаром как дед с внуком, в то же время скрывал что-то. Прятался за удобным молчанием.

– Вы думаете, что туда же пришел и приор.

Бовуар бросал хлесткие, резкие слова. Словно закидывал каменного монаха камешками. Слова отскакивали от брата Раймона, но производили на него некоторое воздействие. Бовуар сделал еще шаг к монаху. Остановился так близко, что увидел тревогу в его глазах.

– Вы сами подвели нас к такому выводу, – сказал Бовуар. – Имейте же мужество пройти начатый путь до конца. Сказать, что вы думаете на самом деле.

Бовуар знал, что единственный способ разбить камень – это ударить по нему. Продолжать бить, пока он не расколется.

– Или вы просто распространяете порочащие слухи, сплетни? – усмехнулся Бовуар. – И ждете, что кто-нибудь более смелый сделает за вас грязную работу. Вы готовы отдать настоятеля на съедение волкам, но не хотите иметь груз на своей совести. Поэтому вы намекаете и предполагаете. Вроде как подмигиваете нам. Но у вас не хватает мужества взять и сказать, что вы думаете в действительности. Лицемер вы долбаный!

Брат Раймон сделал шаг назад. Камешки становились все крупнее. И Бовуар кидал их точно в цель.

– Какое жалкое оправдание для такого человека, как вы! – продолжил Бовуар. – Посмотрите на себя. Вы молитесь и разбрызгиваете святую воду, размахиваете кадилом и делаете вид, что верите в Бога. Но вы готовы только на то, чтобы убежать. Как те монахи в древности. Они убежали в Квебек, чтобы спрятаться, и вы тоже пришли сюда. Спрятались в вашем подвале. Организовали тут все, вычищали, прибирали. Объясняли. А наверху тем временем происходила реальная работа. Грязная работа по поискам Бога. Грязная долбаная работа по поискам убийцы.

Бовуар стоял так близко к брату Раймону, что чувствовал бренди и бенедиктин в его дыхании.

– Вы думаете, что знаете, кто убийца? Ну тогда скажите нам. Произнесите нужные слова. – Голос Бовуара становился все громче, он почти кричал в лицо брату Раймону. – Произнесите их!

На лице монаха появился испуг.

– Вы не понимаете, – пробормотал он. – Я и так сказал слишком много.

– Да вы еще и не начинали. Что вам известно?

– Мы должны оставаться верными своему настоятелю, – сказал Раймон, отодвигаясь от Бовуара. Он посмотрел на Франкёра и заговорил умоляющим голосом: – Когда мы поступаем в монастырь, мы приносим клятву верности не Риму, даже не местному архиепископу или епископу, а настоятелю. Такова часть нашего обета, нашей веры.

– Смотрите на меня! – потребовал Бовуар. – Не смотрите на него. Сейчас вы отвечаете на мои вопросы.

Теперь брат Раймон испугался по-настоящему, и Бовуар подумал, что монах и в самом деле верит в Бога. Верит, что Господь поразит его молнией, если он заговорит. И Бовуар спросил себя: кто другой может быть настолько предан Господу?

– Я никогда не думал, что дело зайдет так далеко, – прошептал брат Раймон. – Кто же мог знать?

Он обращался к Бовуару чуть ли не с мольбой. Но о чем он молил? О понимании? О прощении?

Ни того ни другого от Бовуара он получить не мог. Инспектору требовалось одно. Найти убийцу и вернуться домой, как сказал Гамаш. Убраться отсюда к чертям собачьим. И убраться от Франкёра, который сидел, закинув ногу на ногу, и изображал заинтересованность.

– А чего вы ждали? – надавил Бовуар.

– Я думал, что верх возьмет приор.

Наконец-то брат Раймон раскололся. И теперь слова полились из него.

– Я думал, что настоятель образумится, когда выслушает все аргументы. Поймет наконец, что сделать еще одну запись будет только правильно. Даже если бы не стоял вопрос о фундаменте. – Брат Раймон, совершенно разбитый, опустился на стул. – Понимаете, одну запись мы уже сделали. Ну какой вред принесла бы еще одна? А ведь она могла спасти монастырь. Спасти Сен-Жильбер. Какой тут мог быть вред?

Он поймал взгляд Бовуара, словно надеялся найти ответ в его глазах.

Но ответа не было.

На самом деле Бовуар неожиданно столкнулся с новой загадкой. Когда брат Раймон раскололся, это были не только слова. Монах заговорил совсем иным голосом. Без какого-либо древнего диалекта.

Сильный акцент исчез.

Брат Раймон говорил на том французском, на котором говорят ученые и дипломаты. На литературном языке.

Может быть, он наконец говорит правду? Может быть, после всей этой борьбы он хочет быть уверенным, что его правильно поймут? Что каждое

из этих вымученных слов дойдет до Бовуара?

Но его усилия привели к противоположному результату: Бовуар заподозрил, что монах затеял новую игру. Таким голосом его бабушка говорила с новыми соседями. И с нотариусом. И со священниками.

Это был не настоящий ее голос. Настоящий она приберегала для тех, кому доверяла.

– Когда вы решили отказаться от повиновения вашему настоятелю? – спросил Бовуар.

Брат Раймон помедлил.

– Я вас не понимаю.

– Прекрасно понимаете. Когда вам стало ясно, что он не передумает и не согласится на новую запись?

– Я ничего такого не знал.

– Но вы опасались, что он заявит об этом. В зале для собраний. Скажет, что вопрос о второй записи закрыт. А после его запрета пути назад уже не будет.

– Настоятель со мной не делится, – сказал Раймон. – Я не знал, что он собирается делать.

– Но рисковать вы не могли, – продолжал давить Бовуар. – Вы обещали настоятелю не говорить никому о состоянии фундамента, но потом решили нарушить обещание. Отказались ему повиноваться.

– Я ничего такого не делал.

– Делали-делали. Вы ненавидели настоятеля. И любили монастырь. Вы знаете его лучше, чем кто-либо, да? Вы знаете каждый камень, каждый дюйм, каждый скол. И каждую трещинку. Вы могли спасти Сен-Жильбер. Но вам требовалась помощь. Настоятель глуп. Он молится о чуде, а оно уже произошло. Вам дарованы средства на ремонт фундамента. Ваши голоса. Записи. Но настоятель ничего не хотел слушать. И поэтому вы переметнулись к приору. Единственному человеку, который мог спасти Сен-Жильбер.

– Нет, – возразил брат Раймон.

– Вы всё сказали приору.

– Нет.

– Сколько раз вы собираетесь повторить «нет», mon frère? – прорычал Бовуар.

– Я ничего не говорил приору! – почти прорыдал монах.

Бовуар наконец отступил. Он кинул взгляд на сидевшего с мрачным видом суперинтенданта Франкёра. Потом снова посмотрел на брата Раймона:

– Вы сказали все приору в надежде спасти монастырь, но вместо этого отправили его на смерть. – Бовуар говорил обыденным тоном. – А теперь прячетесь здесь и делаете вид, будто ничего не случилось.

Бовуар повернулся и взял старый чертеж.

– Скажите мне, брат Раймон, что, по вашему мнению, случилось в саду?

Губы монаха беззвучно зашевелились.

– Скажите.

Он уставился на монаха, но тот закрыл глаза.

– Говорите! – потребовал Бовуар.

И услышал тихое бормотание:

– Радуйся, Мария, благодати полная…

Брат Раймон молился. О чем он молится? О том, чтобы приор восстал из мертвых? Чтобы трещины в фундаменте затянулись?

Глаза монаха открылись, и он посмотрел на инспектора с таким смирением, что Бовуару пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. На него смотрели глаза его бабушки. Терпеливые и добрые. И всепрощающие.

Бовуар понял, что брат Раймон молится о нем.

Арман Гамаш неторопливо закрыл последнюю папку. Он перечитал ее дважды, каждый раз задерживаясь на одной фразе в отчете коронера.

Жертва, брат Матье, умер не сразу.

Они, конечно, уже знали об этом. Они видели, что он уползал с места, где получил удар, пока уползать дальше стало некуда. А потом умирающий сложился в позу эмбриона. Принял ту самую форму, которую вынашивала его мать. Которую она убаюкивала, когда он, голый и орущий, появился в мир.

А вчера Матье снова принял форму эмбриона, но уже покидая мир.

И Гамаш, и все остальные следователи, и, вероятно, настоятель и монахи, молившиеся над телом, понимали, что брат Матье умер не сразу.

Но они не знали, сколько он умирал.

А теперь это стало известно.

Старший инспектор Гамаш встал, взял папку и вышел из кабинета приора.

– Инспектор Бовуар, – повысил голос суперинтендант Франкёр, – мне нужно поговорить с вами.

Бовуар сделал еще несколько шагов по коридору подвала, потом

повернулся.

– А чего вы от меня ожидали? – спросил он. – Чтобы я позволил ему врать? Мы расследуем убийство. Если вам не нравится, что вылезает столько грязи, тогда отойдите в сторону и не мешайте.

– Грязь меня не волнует, – сказал Франкёр жестким, но ровным голосом. – Я просто не предполагал, что вы будете вести дело подобным образом.

– Правда? – проговорил Бовуар с откровенным презрением, не желая больше прятать его. – А как, по-вашему, я собирался его вести?

– Как мужчина без яиц.

Это так удивило Бовуара, что он не нашел подходящего ответа. Он уставился на Франкёра, который прошел мимо него и начал подниматься по лестнице.

– И что это должно означать, черт подери?

Франкёр остановился спиной к Бовуару. Потом повернулся. Серьезно посмотрел на Бовуара:

– Лучше вам не знать.

– Нет, скажите.

Франкёр улыбнулся и двинулся дальше вверх по лестнице. Секунду спустя Бовуар сорвался с места и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал вдогонку суперинтенданту.

Франкёр открыл дверь в тот момент, когда Бовуар поравнялся с ним. Они услышали стук подошв по каменному полу Благодатной церкви и увидели старшего инспектора Гамаша – тот целеустремленно направлялся к коридору, ведущему в кабинет и сад настоятеля.

Словно по обоюдному согласию, Бовуар и Франкёр стояли молча, пока дверь в коридор не закрылась и звук шагов не затих.

– Скажите мне, – повторил Бовуар.

– Предполагается, что вы – опытный следователь Квебекской полиции. Так что догадайтесь сами.

– Предполагается? – проговорил Бовуар в удаляющуюся спину. – Предполагается?

Это слово гулко разнеслось по церкви, усиливаясь, отражаясь от стен и возвращаясь к Бовуару, но, видимо, не достигая ушей Франкёра.

Глава двадцать третья

– А вот и вы, старший инспектор.

Брат Симон вышел из-за стола, протягивая руку. Гамаш пожал ее и улыбнулся. Интересно, какие изменения в человеке может произвести обычная курица.

«Ду-да, ду-да».

Гамаш вздохнул про себя. Надо же: здесь звучало столько божественной в буквальном смысле слова музыки, а у него в голове засела песенка петушка «Кемптаунские гонки».

– Я собирался вас искать, – продолжил Симон. – Ваша бумага готова.

Брат Симон передал старшему инспектору пожелтевший пергамент и улыбнулся. Улыбка на его лице никогда не казалась уместной. Но сейчас выглядела естественной.

Правда, через секунду лицо монаха приняло обычное строгое выражение.

– Merci, – сказал Гамаш. – Очевидно, вам удалось сделать копию. Вы не начали перевод невм в ноты?

– Нет. Собирался заняться этим сегодня попозже. Я мог бы попросить помощи кого-нибудь из братьев, если вы не возражаете.

– Конечно, – согласился Гамаш. – Чем скорее, тем лучше.

И опять брат Симон ухмыльнулся:

– Я думаю, что наши с вами представления о времени слегка расходятся. Мы здесь имеем дело с тысячелетием, но я постараюсь закончить быстрее.

– Поверьте мне, столь долгое наше пребывание здесь станет для вас слишком большой обузой. Вы не возражаете? – Гамаш показал на удобное кресло, и секретарь настоятеля кивнул.

Они сели друг против друга.

– Пока вы работали над этим, – Гамаш приподнял руку с листком, – вам не удалось перевести хоть немного латинского текста?

Брат Симон слегка скривился:

– Я не большой специалист в латыни. И подозреваю, что тот, кто писал, тоже.

– Почему вы так думаете?

– Потому что то немногое, что я понял, просто смехотворно. – Он отошел к столу и вернулся с блокнотом. – Я тут набросал кое-какие

мысли. Даже если нам удастся разобрать невмы и превратить их в ноты, то пропеть слова, я думаю, не получится.

– Значит, это не какой-то известный псалом, песнопение или даже молитва? – Гамаш скользнул взглядом по оригиналу.

– Нет, разве только существовал пророк или апостол, которому не мешало бы подлечиться. – Брат Симон сверился с блокнотом. – Вот первая фраза. – Он показал на верхнюю строку. – Возможно, я ошибаюсь, но мой перевод таков: «Я тебя не слышу. У меня банан в ухе».

Голос его прозвучал так торжественно, что Гамаш не мог не рассмеяться. Он попытался подавить смех, но безрезультатно. Снова опустил глаза на пергамент, чтобы скрыть свое веселье.

– О чем еще там говорится? – Его голос слегка дрожал от усилий сдержать смех.

– Это не смешно, старший инспектор.

– Да, конечно. Святотатство.

Но вырвавшийся смешок выдал его, а когда он осмелился снова поднять глаза на монаха, то с удивлением увидел легкую ухмылку и на лице брата Симона.

– Вам удалось разобрать что-нибудь еще? – спросил Гамаш, титаническим усилием взяв себя в руки.

Брат Симон вздохнул и подался вперед, показывая на строку чуть ниже:

– Это вам, вероятно, известно.

«Dies irae».

Гамаш кивнул. Ему больше не хотелось смеяться, и все «ду-да» исчезли.

– Да, я обратил внимание. «День гнева». Одна из латинских фраз, которую я здесь узнал. Мы с настоятелем говорили о ней.

– И что он сказал?

– Он тоже решил, что тут написана чепуха. Мне кажется, он удивился не меньше вас.

– Он не высказывал никаких соображений?

– Никаких особенных. Но ему, как и мне, показалось странным, что, хотя тут очевидно присутствует «dies irae», день гнева, здесь нет сопутствующего «dies illa».

– Да, меня это тоже поразило. Даже сильнее, чем банан.

Гамаш снова улыбнулся, но мимолетно.

– Как вы думаете, что это значит?

– Мне кажется, тот, кто это написал, хотел пошутить, – сказал брат

Симон. – Он просто напихал сюда всякую латынь.

– Но почему не использовать больше фраз или слов из песнопений? Почему «день гнева» – единственная фраза из молитвы?

Брат Симон пожал плечами:

– Хотелось бы мне знать. Может, он разозлился. А может, эта запись как раз то, чем она и кажется. Пародия. Он хочет показать свой гнев и действительно объявляет о нем. Dies irae. А потом записывает самые нелепые латинские слова и фразы, отчего оно становится подобно песнопению, выглядит как нечто похожее на то, что мы поем Господу.

– Но на самом деле это кощунство, – сказал Гамаш, и брат Симон кивнул в ответ. – Кто здесь мог бы помочь с переводом?

Брат Симон задумался.

– Единственный, кто приходит мне на ум, – брат Люк.

– Привратник?

– Он недавно выпустился из семинарии, так что латынь у него в голове свежее, чем у нас. И ему хватает чванства, чтобы хвастаться этим перед нами.

– Он вам не нравится?

Этот вопрос удивил брата Симона.

– Не нравится? – Такая мысль, похоже, никогда не приходила ему в голову, и Гамаш с легким удивлением понял, что, вероятно, так оно и есть. – Здесь вопрос «нравится – не нравится» не стоит. Тут все дело в том, принимаешь ты кого-то или нет. В закрытом сообществе симпатия довольно легко превращается в антипатию. Мы здесь научаемся даже не думать в таких терминах, мы принимаем как Божью волю факт, что тот или иной монах оказывается здесь. Что хорошо для Господа, хорошо и для нас.

– Но вы только что назвали его чванливым.

– Ну да. А он, вероятно, называет меня брюзгливым. И это верно. У нас у всех есть недостатки, и мы над ними работаем. Что толку отрицать свои недостатки.

Гамаш опять поднял руку с листком пергамента:

– А не мог сам брат Люк быть автором?

– Сомневаюсь. Брат Люк не любит совершать ошибки или быть неправым. Если бы он написал песнопение на латыни, то идеальное.

– И вероятно, ему не хватает чувства юмора, – сказал Гамаш.

Брат Симон чуть улыбнулся:

– В отличие от остальных – мы ведь так и пышем весельем.

Гамаш почувствовал сарказм в словах брата Симона, но подумал,

что тот ошибается. Монахи, с которыми он уже познакомился, демонстрировали неплохое чувство юмора, они могли посмеяться над собой и своим миром. Их юмор был тихим, мягким, и они довольно хорошо скрывали его за напускной серьезностью, но он присутствовал.

Гамаш снова взглянул на пергамент. Он был согласен с Симоном: брат Люк не мог бы написать это. Но кто-то из монахов написал.

Старший инспектор Гамаш более, чем когда-либо, уверился, что лист пергамента в его руке – ключ к разгадке убийства.

И он знал, что с помощью пергаментного ключа раскроет тайну убийства, хоть бы и через тысячу лет.

– Невмы… – начал он, пытаясь выудить из брата Симона то, что ему требовалось. – Вы говорите, что еще не начали переводить их в ноты, но они вам понятны?

– О да. Они путаные. – Брат Симон взял сделанную им копию. – Нет, не то слово. Они сложные. Большинство невм для песнопений кажутся путаными, но если ты знаешь, что они обозначают, то разобраться в них довольно просто. В этом их суть. Простые указания исполнителям хоралов.

– Но эти не простые, – сказал Гамаш.

– Далеко не простые.

– Вы можете дать мне представление о том, как они звучат?

Брат Симон оторвал взгляд от листа, на его лице появилось строгое, даже суровое выражение. Но Гамаш не отступился. Несколько секунд они смотрели друг на друга, наконец Симон опустил глаза на лист бумаги.

После целой минуты молчания Гамаш услышал звук. Он казался таким далеким – Гамашу даже почудилось, что снова приближается самолет. В его уши проникало какое-то навязчивое гудение.

Потом он понял, что источник звука не снаружи монастыря. Он внутри.

Этот звук издавал брат Симон.

То, что началось гудением, жужжанием, повисшей в воздухе нотой, обернулось чем-то другим. Нота резко упала и зазвучала в более низком регистре, а потом снова поднялась. Но не резким скачком, а плавно воспарила.

Словно проникла в грудь Гамаша, окутала его сердце и повлекла его за собой. Все выше и выше. Но ни на миг он не почувствовал себя на краю бездны, не почувствовал опасности. Ни на миг Гамаш не испытал страха, что музыка или его сердце рухнут с высоты вниз.

Он чувствовал определенность, уверенность. Мелодичную радость.

Потом вместо гудения возникли слова, и брат Симон запел. Гамаш,

конечно, не знал латыни, но ему казалось, что он понимает каждое слово.

Чистый, спокойный, сочный тенор брата Симона любовно выводил мелодию, произнося бессмысленные слова. В его голосе и музыке не слышалось никакого суждения, одно приятие.

А потом последняя нота опустилась на землю. Легко, неторопливо. Мягкая посадка.

Голос смолк. Но музыка осталась с Гамашем. Скорее чувство, чем воспоминание. Он хотел, чтобы то чувство вернулось. Та легкость. Он хотел попросить брата Симона продолжить и никогда не прекращать пение.

«Кемптаунские гонки» куда-то исчезли. Их вытеснил короткий, но величественный песенный взрыв.

Даже брат Симон удивился тому, что произвел его голос.

Гамаш знал, что теперь он еще долго будет напевать себе под нос эту прекрасную мелодию. «Ду-да» сменилось на «Я тебя не слышу. У меня банан в ухе».

Бовуар швырнул в воду камень, швырнул далеко, насколько хватило сил.

Никаких шлепков плоского камешка по воде. Он нашел еще один тяжелый камень, взвесил его в руке, отвел руку назад и опять швырнул.

Камень пролетел по дуге и с хлопком ушел под воду.

Бовуар стоял на берегу среди скругленных водой камней, гальки и ракушек и смотрел в прозрачную, чистую синь озера. Рябь от брошенного камня достигла берега, накатила на гальку белой тонкой пеной. Словно в миниатюрном мире неожиданно нахлынула на берег приливная волна. Созданная Бовуаром.

После столкновения с Франкёром он почувствовал, что ему нужно подышать свежим воздухом.

Брат Бернар, старший по чернике, говорил о тропинке. Бовуар нашел эту тропинку и двинулся по ней, почти не обращая внимания на окружающее. Он снова и снова прокручивал в голове те несколько слов, которыми обменялся с Франкёром.

И те слова, что он должен был бы сказать. Мог бы сказать. Умные, колкие замечания.

Но после нескольких минут бешеного метания мыслей его стремительный шаг замедлился, и он понял, что тропинка упирается в озеро. В берег, усыпанный камнями и кустиками черники.

Он перешел на нормальный шаг, потом на прогулочный, наконец

остановился на небольшом каменистом полуострове, вдающемся в далекое северное озеро. Над ним парили и срывались в пике громадные птицы, почти не делая взмахов крыльями.

Бовуар снял туфли и носки, закатал брючины и попробовал большим пальцем воду. Тут же отдернул ногу. От холода палец чуть не обожгло. Он попробовал еще раз, потом миллиметр за миллиметром погрузил ноги в воду по щиколотку. Ноги привыкли к ледяной воде. Он не переставал удивляться, к чему только не привыкает человек. В особенности если его чувства притупились.

Он тихо посидел с минуту, срывая и закидывая в рот чернику с ближайшего кустика и стараясь не думать.

А когда он все же думал, на ум ему приходила Анни. Он вытащил смартфон. От нее пришло сообщение. Он прочел его, улыбнулся.

Она рассказывала о прошедшем дне на работе. Забавная маленькая история о путанице, случившейся в Интернете. Тривиальная, но Бовуар перечитал каждое слово дважды. Он представлял ее недоумение, переписку с выяснением обстоятельств, счастливое разрешение. Она писала, как ей не хватает его. Как она его любит.

Он ответил. Рассказал о том, где находится. Рассказал, что расследование продвигается. Он помедлил, прежде чем нажать «отправить»: понимал, что хотя и не солгал, но всей правды все равно не сообщил. О том, что чувствует. О своем смятении и злости. Казалось, что эти чувства направлены на Франкёра. И в то же время не на Франкёра. Бовуар злился на брата Раймона, на монахов, на то, что он находится в монастыре, а не с Анни. Злился на молчание, прерываемое бесконечными мессами.

Злился на себя за то, что позволил Франкёру задеть его за живое.

И сильнее всего злился на суперинтенданта Франкёра.

Но он больше ни о чем не написал Анни. Просто поставил в конце послания смайлик и нажал «отправить».

Бовуар вытер ноги свитером, надел носки и туфли.

Пришло время возвращаться, но он подобрал еще один камень, бросил его и стал смотреть, как расходятся круги по спокойной воде.

– Забавно, – сказал брат Симон, закончив петь. – Все слова прекрасно подходят.

– Вы же говорили, что это сплошная нелепица, чепуха, – удивился Гамаш.

– Так оно и есть. Я имею в виду, что они укладываются в ритм музыки.

Как и стихи, они должны соответствовать музыкальному ритму.

– И они соответствуют?

Гамаш перевел взгляд на пожелтевший листок, не зная, что надеется там увидеть. Думал, что произойдет какое-то волшебство и он вдруг поймет? Но он не понял ничего. Ни слов, ни невм.

– По-моему, автор разбирался в музыке, – сказал брат Симон. – Но писать стихи он не умел.

– Как Лернер и Лоу, – заметил Гамаш.

– Саймон и Гарфанкел, – подхватил брат Симон.

– Гильберт и Салливан[54], – улыбаясь, возразил Гамаш.

Симон рассмеялся:

– Я слышал, они презирали друг друга. В одной комнате не могли находиться.

– Значит, – сказал Гамаш, пытаясь подвести итог, – вывод первый: музыка прекрасна. И вывод второй: слова нелепы.

Брат Симон кивнул.

– И вы полагаете, что тут действовала команда – не один монах, а два?

– Один написал музыку, – сказал Симон, – а другой – слова.

Они посмотрели на листы у них в руках. Потом в глаза друг другу.

– Но у нас нет объяснения, почему слова такие глупые, – проговорил брат Симон.

– Если только автор невм не знал латыни. Может быть, он полагал, что его напарник написал стихи, по своей красоте достойные музыки.

– А когда узнал, какой смысл кроется за словами… – начал брат Симон.

– Oui, – кивнул Гамаш. – Дело закончилось убийством.

– Неужели люди в самом деле убивают из-за таких вещей? – спросил Симон.

– Церковь кастрировала мужчин, чтобы у них сохранялось сопрано, – напомнил ему Гамаш. – Когда дело доходит до божественной музыки, эмоции воспаряют ввысь. Тогда до калечения или убийства остается один шаг.

Брат Симон задумался, выпятив нижнюю губу. Это неожиданно придало ему юный вид. Мальчишка, складывающий пазл.

– Ваш приор… – заговорил Гамаш. – Что он написал бы скорее всего? Слова или музыку?

– Несомненно, музыку. Он имел репутацию всемирного авторитета по невмам и григорианским песнопениям.

– Но мог ли он писать оригинальную музыку, используя невмы? –

спросил старший инспектор.

– Он определенно знал невмы, так что вполне мог.

– И все же что-то вас смущает, – заметил Гамаш.

– Мне это кажется маловероятным. Брат Матье любил григорианские песнопения. Не просто любил – они стали для него предметом обожания. Огромной религиозной страстью.

Гамаш понимал мысль монаха. Если приор так сильно восторгался хоралом, если посвятил ему всю жизнь, то зачем нужно вдруг отказываться от главной страсти и создавать то, что старший инспектор держит сейчас в руке?

– Разве что… – сказал брат Симон.

– Разве что автор – кто-то другой. – Гамаш чуть приподнял руку с листком. – А приор нашел запись у кого-то и высказал ему свое недовольство. В том единственном месте, где их никто не мог увидеть.

Эти соображения навели старшего инспектора на следующий вопрос:

– Когда вы нашли приора, он был еще жив?

Глава двадцать четвертая

Дверь в кабинет приора оказалась закрыта.

Когда Бовуар приходил сюда в прошлый раз, он прервал яростную перепалку между Гамашем и Франкёром.

Теперь он приложил ухо к двери и прислушался.

Такое плотное, толстое дерево. Звуки через него почти не проникали. Но он услышал голос шефа. Слова звучали приглушенно, однако голос он узнал.

Бовуар отошел, не зная, что ему делать. Решение пришло быстро. Если у шефа снова перепалка с этим жопоголовым Франкёром, то Бовуар придет на выручку.

Он постучал два раза и открыл дверь.

Звуки в комнате резко смолкли.

Бовуар огляделся, но Гамаша там не было.

За столом сидел суперинтендант Франкёр. Один.

– В чем дело? – спросил суперинтендант.

Бовуар редко видел Франкёра таким раздраженным, как сейчас. Он увидел ноутбук. Прежде тот стоял монитором к стулу для гостя, а теперь Франкёр развернул его к себе. Похоже, он работал на ноутбуке, когда Бовуар его прервал.

Загружал что-то? Вряд ли. Спутниковая связь со времени их прибытия не работала. Если, конечно, Франкёр не наладил ее, что очень сомнительно. Ему не хватило бы ума.

У Франкёра был виноватый вид, как у тинейджера, которого мать застала за чем-то непотребным.

– Ну? – Он сердито посмотрел на Бовуара.

– Я слышал голоса, – сказал Бовуар и тут же пожалел об этом.

Франкёр смерил его пренебрежительным взглядом, взял со стола папку и начал читать. Словно Бовуара тут и нет. Словно в комнате образовалась воздушная яма. А кроме нее – ничего. И никого. С точки зрения Франкёра, Бовуар был пустым местом.

– Что вы имели тогда в виду? – Бовуар громко захлопнул дверь, и Франкёр поднял голову.

Жан Ги не хотел спрашивать, клялся себе, что не будет ничего спрашивать. И будь Гамаш здесь, он ни за что не задал бы этот вопрос. Но шефа здесь не оказалось – один Франкёр, и вопрос вырвался,

как молния из грозовой тучи.

Франкёр проигнорировал его.

– Скажите мне. – Бовуар подцепил ногой стул, оперся руками о спинку и наклонился к суперинтенданту.

– А то что? – спросил Франкёр.

Ему было забавно и ничуть не страшно, и Бовуар почувствовал, как у него загорелись щеки. Костяшки пальцев, ухвативших спинку стула, побелели.

– Собираетесь меня побить? – спросил суперинтендант. – Угрожаете мне? Этим вы и занимаетесь, верно? Вы – пес Гамаша. – Франкёр отложил папку и подался к Бовуару. – Вы хотите знать, что я имел в виду, когда сказал, что у вас нет яиц? Именно то, что сказал. Все ваши коллеги это говорят, Жан Ги. И ведь так оно и есть?

– Что за хрень вы несете?

– Я говорю, что единственная ваша функция – быть щенком при Гамаше. Коллеги называют вас его сучкой, потому что, хотя вы рычите и иногда кусаетесь, они считают, что яиц-то у вас нет.

Франкёр посмотрел на Бовуара как на некую мягкую и вонючую субстанцию, иногда прилипающую к подошвам ботинок настоящих мужчин. Стул скрипнул – суперинтендант откинулся назад, приняв удобную позу. Его пиджак распахнулся, и Бовуар увидел пистолет.

Несмотря на ярость, бушевавшую в нем, Бовуару хватило присутствия духа задать себе вопрос: зачем старшему суперинтенданту, чиновнику, пистолет?

И зачем он взял его в монастырь?

Даже Гамаш, в отличие от Бовуара, не носил пистолета. И Бовуар порадовался тому, что при нем есть оружие.

– Вот что я имел в виду, – сказал Франкёр. – Я пошел с вами к тому монаху не потому, что вы меня пригласили, а из любопытства. Посмотреть, как инспектор Бовуар, посмешище всей Квебекской полиции, поведет допрос. Но вы меня удивили. Произвели впечатление.

И Бовуар удивил сам себя. Какая-то малая его часть с облегчением восприняла последние слова. Но это чувство не шло ни в какое сравнение с той яростью, бешенством, почти библейским гневом, вызванными оскорблением, которое он услышал.

Он открыл рот, но выдал лишь какие-то непонятные звуки. Никаких слов. Один воздушный выхлоп.

– Только не говорите мне, что вы не знали. – Франкёр смотрел на него с искренним удивлением. – Да бросьте, старина, только идиот мог

не заметить. Вы идете по управлению в полушаге от хозяина, чуть ли не сопли пускаете, и вам кажется, что другие агенты и инспектора восхищаются вами? Они восхищаются старшим инспектором и чуть побаиваются его. Если он сумел отрезать яйца вам, то и с ними может сделать то же самое. Слушайте, никто вас не винит. Вы служили жалким агентишкой в одном из полицейских подразделений на выселках. Вас собирались уволить, потому что никто не хотел с вами работать, а Гамаш взял вас к себе. Верно?

Бовуар ошеломленно глядел на Франкёра.

– Верно! – Франкёр подался вперед. – И почему же он так поступил? Почему, вы думаете, он окружает себя агентами, которые больше никому не нужны? Он повысил Изабель Лакост до инспектора. До вашего звания. – Франкёр бросил на Бовуара пронзительный взгляд. – Я бы на вашем месте насторожился. Ничего хорошего вам его кадровые манипуляции не сулят: вы считаетесь его заместителем, но она остается в управлении за старшую. О чем я говорил? Ах да, о том, как Гамаш подбирает людей. Вы присматривались к составу отдела по расследованию убийств? Он же создал подразделение лузеров. Принимает всякие отбросы. Почему?

Ярость Бовуара прорвалась наконец наружу. Он поднял стул и с такой силой опустил его, что две задние ножки отломились. Но Бовуар даже внимания не обратил. Он не отрывал взгляда от человека, сидящего перед ним, готовый броситься на него.

– Лузеры? – прошипел Бовуар. – Старший инспектор окружает себя людьми, которые умеют думать, умеют действовать. А все вы, говнюки, боитесь нас. Вы перебрасываете нас с места на место, понижаете в званиях, относитесь к нам как к дерьму, пытаетесь нас выжить. И почему? Потому что вы боитесь нас. Мы не играем в ваши коррумпированные игры. Старший инспектор Гамаш подобрал ваш мусор и дал нам шанс. Он поверил в нас, когда нам никто больше не верил. И вы, вы, тупоголовый скот, думаете, что я поверю в ваш бред? Пусть ваши прихлебатели смеются надо мной. Да большего комплимента я в жизни не слышал! У нас лучшие показатели по расследованиям во всей Квебекской полиции. Вот что имеет значение. А если вы и ваши говнюки смеются над нами, то и пусть смеются.

– Лучшие показатели по расследованиям? – ледяным голосом произнес Франкёр, поднимаясь со стула. – Как в случае с Брюле? Ваш шеф арестовал его. Правительство потратило огромные деньги на то, чтобы предать его суду за убийство. Его, беднягу, осудили. А что потом? Выяснилось, что убийца не он. И что сделал ваш Гамаш? Стал разгребать за собой

собственное дерьмо? Ничуть. Он отправил вас на поиски настоящего убийцы. И вы его нашли. Тогда я и начал думать, что, может быть, вы не полная бездарь, какой кажетесь.

Франкёр собрал бумаги, но потом замер у стола.

– Вам любопытно, почему я прилетел сюда, верно?

Бовуар ничего не ответил.

– Конечно вам любопытно. Гамашу тоже. Он даже спросил у меня. Ему я правды не сказал, а вам скажу. Я хотел, чтобы вы с ним оказались вне управления, где он имеет кое-какое влияние. Чтобы я мог поговорить с вами. Ведь не для того же, чтобы привезти эти отчеты, я прилетел сюда. Я как-никак старший суперинтендант, черт побери. А возить бумажки – дело простых агентов. Но я увидел в этом шанс и воспользовался им. Я прилетел, чтобы спасти вас. От него.

– Вы сумасшедший.

– Подумайте о том, что я сказал. Соберите все воедино. Вы умнее, чем кажетесь. Подумайте. А пока будете думать, поразмышляйте еще и над тем, почему он повысил Изабель Лакост до инспектора.

– Потому что она отличный следователь. Он повысил ее по заслугам.

Франкёр снова посмотрел на него прежним взглядом: ну разве можно быть таким невыносимо глупым? И направился к двери.

– Что? – спросил Бовуар. – Что вы хотите сказать?

– Я уже и без того сказал слишком много, инспектор Бовуар. Так что думайте. – Он окинул Бовуара оценивающим взглядом. – Вы, как выясняется, неплохой следователь. Используйте свои навыки. И я разрешаю передать Гамашу весь наш разговор до последнего слова. Пора ему знать, что о его планах все известно.

Дверь закрылась, и Бовуар остался один на один со своей яростью. И компьютером.

Брат Симон уставился на Гамаша:

– Вы считаете, что, когда я нашел приора, он был еще жив?

– Это вполне вероятно. Я думаю, вы видели, что он умирает, но, вместо того чтобы отправиться за помощью – и тогда он почти наверняка умер бы в одиночестве, – вы в эти последние мгновения оставались с ним. Чтобы утешить его. Соборовать. Вы проявили по отношению к нему доброту. Сострадание.

– Тогда зачем бы я стал молчать? Остальные монахи вздохнули бы с облегчением, узнав, что приор умер пусть и ужасной смертью, но как христианин. – Он внимательно посмотрел на старшего инспектора. –

Вы полагаете, я стал бы скрывать? Зачем?

– Это хороший вопрос.

Гамаш положил ногу на ногу и устроился поудобнее, к явному неудобству брата Симона. Старший инспектор подготовился к долгому разговору.

– У меня не было времени подумать об этом, – признался он. – Я только что прочитал результаты вскрытия. Коронер считает, что брат Матье после рокового удара мог прожить около получаса.

– «Мог» еще не означает «прожил».

– Совершенно верно. Но если все же прожил? Ему хватило сил доползти до стены. Он, наверное, до последней секунды боролся со смертью. Цеплялся за оставшиеся мгновения жизни. Это похоже на приора?

– Я не думаю, что время смерти зависит от нашего выбора, – сказал брат Симон, и Гамаш улыбнулся. – Будь оно так, – продолжил монах, – подозреваю, что приор вообще бы не умер.

– Да и отец Клеман, будь у него выбор, тоже продолжал бы ходить знакомыми коридорами, – заметил Гамаш. – Я не хочу сказать, что сила воли способна отразить смертельный удар. Но я знаю из личного опыта, что сильная воля может отсрочить смерть на секунды. Иногда на минуты. А в моей работе эти секунды и минуты имеют нередко решающее значение.

– Почему?

– Потому что в то золотое мгновение между этим светом и тем, который, по вашей вере, ждет нас, человек знает, что уходит. И если он умирает насильственной смертью, то что он будет делать?

Брат Симон ничего не ответил.

– Он назовет нам убийцу, если хватит сил, – закончил Гамаш.

Щеки монаха покраснели, глаза чуть прищурились.

– Вы думаете, брат Матье сказал мне, кто его убил? А я скрыл его последние слова?

Настала очередь Гамаша промолчать. Он разглядывал монаха. Полное, круглое лицо. Щеки не то чтобы отвислые, но похожие на бурундучьи. Бритая голова. Короткий курносый нос. Почти не сходящее с лица брюзгливое выражение. И карие, цвета сосновой коры, глаза. В крапинку. Жесткие. И непреклонные.

И при этом – голос архангела. Не просто член небесного хора, но один из избранных. Любимчик Господа. Одаренный больше других.

Если не считать остальных монахов. Двух дюжин.

Может быть, монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу и есть такое золотое

мгновение между двумя мирами? Похоже, что так. Вне времени и пространства. Нейтральная полоса. Среди яркой жизни Квебека. С его бистро, ресторанчиками, фестивалями. С его двужильными фермерами и блестящими учеными.

Между миром смертных и раем. Или адом. Вот оно, золотое мгновение, – здесь.

Где царствует тишина. Властвует покой. И слышны лишь птичьи трели в деревьях и хоралы.

А всего день назад здесь убили монаха.

Не нарушил ли приор обет молчания в свой последний момент, лежа спиной к стене?

Жан Ги Бовуар сломанным стулом подпер изнутри дверь в кабинет приора.

Стул, конечно, никого не остановит, но хотя бы замедлит. И определенно предупредит Бовуара.

Затем он обошел стол и сел на стул, только что покинутый Франкёром и еще хранивший тепло суперинтенданта. Тепло Франкёра вызвало у Бовуара легкий приступ тошноты, но он его поборол и подтащил к себе ноутбук.

Ноутбук тоже еще не остыл. Франкёр работал на нем, но закрыл, когда вошел Бовуар.

Запустив ноутбук, Бовуар попытался подключиться к Интернету.

Ничего не получилось. Спутниковая связь не действовала.

Так чем же тут занимался суперинтендант? И почему так быстро закрыл ноутбук?

Жан Ги решил докопаться до истины.

– Хотите, я вам скажу, что думаю? – спросил Гамаш.

Все существо брата Симона кричало «нет!». Но Гамаш, конечно, продолжил.

– Я нарушаю правила, – признался старший инспектор. – Обычно мы предпочитаем, чтобы говорили главным образом те, с кем мы беседуем. Но в данном случае разумно проявить гибкость.

Он с лукавым видом посмотрел на монаха, чем-то схожего с мулом. Потом его лицо посерьезнело.

– Вот что произошло, как мне кажется. Я думаю, брат Матье еще жил, когда вы вышли в сад. Он лежал, свернувшись, у стены, и вы, вероятно, не сразу увидели его – через минуту-другую.

Пока Гамаш говорил, в пространстве между ними возникало видение брата Симона, входящего в сад с лопатой и граблями. С тех пор как он убирал здесь в последний раз, напа́дало много новых осенних листьев, да и кое-какие цветы ждали обрезки. Солнце взошло, воздух дышал свежестью, прохладой и запахом яблонь-дичков, плоды которых подпекало осеннее солнце.

Брат Симон шел по газону, разглядывал клумбы, подмечал, что нужно срезать и укрыть в преддверии неуклонно надвигающейся суровой зимы.

Вдруг он остановился. Увидел примятую траву в дальнем конце сада. Нарушенную. Не слишком заметно. Человек, случайно зашедший сюда, и внимания бы не обратил. Но секретарь настоятеля заходил сюда каждый день. Знал каждый лист, каждую травинку. Он ухаживал за этим садом, как за собственным ребенком.

Что-то здесь произошло.

Он огляделся. Нет ли здесь настоятеля? Но он знал, что настоятель отправился в подвал проверить отопительную систему.

Брат Симон неподвижно стоял в лучах осеннего солнца – его глаза смотрели зорко, чувства обострились.

– Я пока ничего не напутал? – спросил Гамаш.

Голос старшего инспектора был таким гипнотическим, слова – такими образными, что брат Симон даже забыл, что сидит у себя в кабинете. Он почти чувствовал прохладный осенний воздух на своих щеках.

Он посмотрел на старшего инспектора, который, сосредоточившись, сидел напротив него. И брат Симон уже не в первый раз подумал, что перед ним очень опасный человек.

– Молчание – знак согласия, – сказал Гамаш с полуулыбкой, – хотя нередко верно противоположное.

Он продолжил свой рассказ, и опять между ними возникло и начало двигаться видение.

– Вы делаете несколько шагов, пытаясь понять, что там такое лежит в дальнем углу сада. Вы еще не встревожены, но вам уже любопытно. Тут вы замечаете, что трава не просто примята – на ней кровь.

Они оба увидели, как брат Симон нагибается, разглядывает примятые стебли, видит там и тут пятна крови, словно на опавших листьях проступили стигматы.

Потом он остановился и посмотрел перед собой, следуя за полосой примятой травы.

В конце примятого следа лежал человек. Он свернулся в плотный черный шар. С отчетливым белым гребешком. Впрочем, не совсем белым.

С темно-красными разводами.

Брат Симон бросил инструмент на землю и побежал к этому темному шару. Он продирался сквозь кусты, ломал драгоценные многолетники. Растоптал веселый черноглазый северный гибискус, попавшийся ему на пути.

Он увидел монаха, одного из своих братьев. С раной. Страшной раной.

– Я подумал… – сказал брат Симон, не глядя на Гамаша.

Он смотрел на четки в своих руках. Голос его звучал едва ли громче шепота, и старший инспектор наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова.

– Я подумал…

И только теперь брат Симон поднял глаза. Ему хватило одного лишь воспоминания, чтобы снова пережить страх.

Гамаш ничего не сказал. Выражение его лица оставалось нейтральным, незаинтересованным. Но умные карие глаза не отпускали глаз монаха.

– Я подумал, что там лежит отец Филипп.

Брат Симон опустил глаза на простой крестик, прикрепленный к четкам. Наконец он поднял руки и обхватил голову, так что крестик тихонько ударился о лоб монаха. И замер.

– Боже мой, я решил, что он мертв. Я решил, что с ним что-то случилось.

Голос брата Симона звучал приглушенно. Но если слова его были невнятны, то чувств он никак не мог скрыть.

– И что вы сделали? – тихо спросил Гамаш.

Монах по-прежнему придерживал голову руками и говорил в пол:

– Я не знал, что делать. Да простит меня Господь, я не знал, что делать.

Он поднял голову и посмотрел на Гамаша. На своего исповедника. Надеясь на понимание, если не на прощение.

– Продолжайте, – сказал Гамаш, не сводя глаз с монаха.

– Я не хотел смотреть. Я испугался.

– Конечно. Любой бы испугался. Но вы все же подошли к нему, – сказал старший инспектор. – Вы не убежали.

– Нет, не убежал.

– И что дальше?

Брат Симон впился взглядом в глаза Гамаша, словно висел над пропастью, держась только на канате своего взгляда.

– Я опустился на колени и чуть повернул его. Думал, может, он упал

со стены или дерева. Я знаю, мои слова покажутся вам смешными, но я не понимал, как иначе могло случиться такое. А если он свернул себе шею, я не хотел…

– Oui, – сказал Гамаш. – Продолжайте.

– И тут я его узнал. – Голос монаха изменился. В нем по-прежнему слышались напряжение и тревога, ожившие при воспоминании о тех ужасных минутах. Но накал ослаб. – У стены лежал не настоятель.

В его голосе послышалось облегчение.

– Это был приор.

Еще больше облегчения. То, что началось как ужасная трагедия, закончилось чуть ли не как хорошее известие. Брат Симон не мог скрыть свои чувства. Или решил не скрывать.

И все же он не отводил глаз от старшего инспектора. Искал в его взгляде неодобрение.

Но не нашел такового. Только понимание того, что он наконец почти наверняка говорит правду.

– Он был еще жив? – спросил Гамаш.

– Oui. Его глаза были открыты. Он посмотрел на меня, схватил за руку. Вы правы. Он знал, что умирает. И я знал. Не могу вам сказать почему, но я знал. Я не мог просто оставить его там.

– Он долго умирал?

Брат Симон задумался. Приор умирал, наверное, целую вечность. А он стоял на коленях и держал умирающего за окровавленную руку. Перед ним лежал такой же, как он, брат монах. Человек, которого он презирал.

– Не знаю. Минуту. Может, чуть дольше. Я его соборовал, и он немного успокоился.

– А вы не могли бы повторить мне слова соборования?

– Неужели вы никогда не слышали?

Гамаш их слышал и знал. Он сам на скорую руку, в срочном порядке соборовал своих умирающих агентов. Но он хотел услышать эти слова от брата Симона.

Симон закрыл глаза. Он чуть вытянул правую руку и согнул ладонь чашечкой, держа невидимую руку.

– Господи Иисусе Христе, всесострадательный, мы просим Тебя принять в руки свои чадо сие, чтобы он преодолел сей трудный час, как Ты обещал нам в бесконечном милосердии своем.

Глаза его оставались закрыты. Брат Симон поднял другую руку и начертил большим пальцем изображение креста. На лбу умирающего монаха.

Бесконечное милосердие, думал Гамаш, глядя на молодого агента, на свое собственное создание в своих собственных руках, и времени у него хватало только на несколько слов, а не на всю формулу, и потому он наклонился и прошептал: «Прими чадо сие».

Но агент уже ушел. А Гамашу тоже нужно было уходить.

– И тогда умирающий, если он в силах, исповедуется, – сказал старший инспектор.

Брат Симон хранил молчание.

– Что же он сказал? – спросил Гамаш.

– Он произвел какой-то звук, – проговорил почти в трансе брат Симон. – Попытался откашляться, а потом произнес что-то вроде «гомо».

Симон сосредоточился. Он вернулся из своего далека. Они посмотрели друг на друга.

– Гомо? – переспросил Гамаш.

Брат Симон кивнул:

– Вы понимаете, почему я молчал. Его последнее слово не имеет никакого отношения к его смерти.

«Но, – подумал Гамаш, – возможно, имеет очень большое отношение к его жизни». Он немного помолчал, размышляя.

– Что же он хотел этим сказать?

– По-моему, мы оба знаем, что он хотел сказать.

– Он был геем? Гомосексуалом?

Несколько мгновений брат Симон пытался сохранять на лице свое обычное брюзгливое выражение, потом перестал. Они уже перешли черту.

– Мне трудно вам объяснить, – сказал брат Симон. – Нас здесь две дюжины мужчин. Наша цель, наша молитва в том, чтобы найти Божественную любовь. Сострадание. Раствориться в любви Господа.

– Вы говорите про идеальный случай, – заметил Гамаш. – Но ведь вы еще и обычные люди.

Он знал, что потребность в физическом удовольствии сильна и первородна. И не обязательно проходит с принятием обета безбрачия.

– Но нам нужна не физическая любовь, – сказал брат Симон, верно поняв ход мыслей Гамаша и поправляя его. В голосе монаха не слышалось никакой настороженности. Он просто пытался найти подходящие слова. – Я думаю, большинство из нас, если не все, оставили мирское далеко позади. Мы не сексуальны и маловозбудимы в сексуальном плане.

– Что же вам требуется?

– Доброта. Близость. Не сексуальная. А дружеская. В наших любовных привязанностях Господь должен заменять человека,

но реальность такова, что нам всем необходим друг.

– Такое чувство вы и испытываете по отношению к настоятелю? – Гамаш задал этот вопрос напрямик, но мягко и деликатно. – Я видел, как вы реагировали, рассказывая, что поначалу подумали, будто это он лежит раненый и умирает.

– Вы правы, я его люблю. Но у меня нет желания физической близости. Трудно объяснять любовь, которая настолько возвышается над всем плотским.

– А приор? Он любил кого-нибудь?

Брат Симон погрузился в молчание. Но не ослиное молчание, а задумчивое.

Приблизительно минуту спустя он заговорил:

– Я иногда думал, что он и настоятель…

Дальше развивать эту мысль он пока не мог. Последовала еще одна пауза.

– Многие годы они оставались неразлучны. Только приора и меня настоятель допускал в сад.

Впервые Гамашу пришла в голову мысль, уж не находится ли сад в каком-то ином измерении. Представляет собой не только площадку земли с травой и цветами, но еще и аллегорию. Аллегорию того самого интимного места внутри каждого из них. Для кого-то – темной, запертой комнаты. Для других – сада.

Доступ в него имел секретарь. И еще приор.

И приор умер там.

– Как вы считаете, что имел в виду приор? – спросил Гамаш.

– По-моему, есть одно возможное объяснение. Он знал, что умирает, и искал прощения.

– За свою гомосексуальность? Мне показалось, вы сейчас говорили, что он, вероятно, не был гомосексуалом.

– Мне больше ничто не приходит в голову. Отношения могли быть платоническими, но он мог желать большего. Он знал о своих желаниях. И Господь знал.

– И Господь мог покарать его за это? – спросил Гамаш.

– За то, что он гей? Может быть, и нет. За нарушение обета безбрачия – вероятно, да. Такие вещи нуждаются в исповедании.

– И для исповедания достаточно сказать «гомо»?

Гамашу слова монаха показались неубедительными. Впрочем, когда человек умирает, разум играет очень малую роль. Или не играет вообще никакой. Когда приближается конец и остается место только для одного

слова, каким оно будет?

Старший инспектор точно знал, какими будут его последние слова. И какие он произносил, когда думал, что умирает; он повторял два слова, повторял их опять и опять, пока не потерял сознания.

«Рейн-Мари».

Ему бы никогда не пришло в голову сказать «гетеро». Правда, любовь Гамаша не отягощала его чувством вины. В отличие, вероятно, от приора.

– У вас есть его личное дело? Не могли бы вы показать его мне? – спросил Гамаш.

– Нет.

– «Нет» в смысле не хотите показывать или такого дела вообще нет?

– У нас нет никаких личных дел.

Заметив, что старший инспектор удивлен, брат Симон объяснил:

– Прежде чем мы принимаем монашеский обет, нас самым тщательным образом проверяют. И в нашем первом монастыре должно оставаться личное дело. Но у отца Филиппа здесь, в Сен-Жильбере, никаких дел нет.

– Почему?

– Потому что они никому не нужны. Мы вроде французского Иностранного легиона. Мы порываем с прошлым.

Гамаш уставился на монаха. Неужели он настолько наивен?

– Оттого что вы хотите порвать с прошлым, оно не остается за дверями, – заметил старший инспектор. – Оно умеет проникать через трещинки.

– Если оно приходит за нами сюда, значит на то есть воля Божья, – сказал брат Симон.

Гамаш подумал, что если следовать такой логике, то и смерть приора произошла по воле Бога. Стала следствием Его замысла. Руки Бога явно переполнены гильбертинцами. Целый Иностранный легион монахов. Логично. Отступать некуда. Нет прошлого, к которому можно вернуться. За стенами нет ничего, кроме лесной чащи.

– Кстати, если уж мы заговорили о трещинках. Вы знаете о проблемах с фундаментом? – спросил Гамаш.

– С каким фундаментом?

– Фундаментом монастыря.

Брат Симон посмотрел на него смущенно:

– Поговорите лучше с братом Раймоном. Только выделите полдня и будьте готовы к тому, что обогатитесь знаниями о нашей канализационной системе, а это, вероятно, будет вредно для вашего

здоровья.

– Значит, настоятель ничего не говорил о состоянии фундамента? И приор тоже?

На этот раз брат Симон понял:

– У нас какие-то проблемы с фундаментом?

– Я спрашивал, слышали ли вы что-нибудь о проблемах с фундаментом.

– Нет, не слышал. А должен был?

Значит, как и подозревал Гамаш, настоятель придерживал эту информацию. О том, что Сен-Жильбер разрушается, о том, что ему осталось максимум лет десять, знали только настоятель и брат Раймон.

Может быть, знал и приор. Может быть, брат Раймон в отчаянии сообщил ему. Если так, то приор умер, не успев ни с кем поделиться тревожной новостью. Может быть, это и есть мотив? Заткнуть приору рот?

«Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?»

– Вы поняли, что приора убили?

Брат Симон кивнул.

– Когда вы догадались?

– Когда увидел его голову. И…

Монах замолчал. Гамаш не издал ни звука. Ждал.

– …потом я увидел что-то на клумбе. Что-то, чего там быть не должно.

Гамаш затаил дыхание. Оба застыли, словно в немой сцене, замерли во времени. Гамаш ждал. И ждал. Дышал неглубоко, тихо, боясь потревожить даже воздух.

– Знаете, это был не камень.

– Я знаю, – сказал старший инспектор. – И что вы сделали?

Он чуть не закрыл глаза, обращая в прошлое свои мольбы: пусть брат Симон не возьмет орудие убийства и не перебросит его через стену, чтобы оно исчезло в большом мире.

Брат Симон встал, открыл главную дверь в кабинет настоятеля и шагнул в коридор. Гамаш последовал за ним, предполагая, что монах ведет его к тайнику.

Но брат Симон остановился на пороге, поднял орудие убийства и подал его Гамашу. Это была старая чугунная колотушка, которой монахи сотни лет стучались в двери личных покоев настоятеля.

А вчера этой колотушкой воспользовались, чтобы размозжить голову приору монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Глава двадцать пятая

Жан Ги Бовуар шел по коридорам монастыря. Искал кого-то.

Монахи, попадавшиеся на его пути, останавливались, чтобы приветствовать его привычным поклоном. Но стоило ему приблизиться, как они отступали. Отходили в сторону.

И облегченно вздыхали, когда он проходил мимо.

Жан Ги Бовуар обошел коридоры монастыря. Он осмотрел огород. Скотный двор с пасущимися козами и курами породы шантеклер.

Он заглянул в подвал, где голос невидимого брата Раймона разносился по длинным, прохладным коридорам. Слова звучали неразборчиво, а голос, хотя и оставался прекрасным, воспевал не Божественное, а скорее бренди и бенедиктин.

Бовуар пробежал наверх по каменной лестнице и, запыхавшись, остановился в Благодатной церкви. Посмотрел в одну сторону, в другую.

Монахи в длинных черных мантиях стояли вдали от пляшущего света, наблюдали за ним. Но он не обращал на них внимания. Он искал не их, а кое-кого другого.

Потом он повернулся, открыл дверь и вышел. В пустой коридор, в конце которого находилась закрытая дверь. И запертая.

– Откройте! – потребовал он.

Брат Люк не стал медлить. Вставил массивный ключ в скважину, повернул, сдвинул щеколду, и через несколько секунд дверь распахнулась. Бовуар, одетый в черное, словно монах в рясе, вышел из монастыря.

Люк быстро закрыл дверь. У него возникло искушение выглянуть и посмотреть, что сейчас произойдет. Но он преодолел себя. Брат Люк не хотел ни слышать, ни видеть, ни знать. Он вернулся в свою каморку, положил на колени большую книгу и погрузился в песнопения.

Бовуар сразу же нашел то, что искал. На берегу озера.

Не размышляя и не заботясь о последствиях – он уже перешагнул эту черту, – Бовуар побежал со всех ног.

Он бежал так, как если бы на карту была поставлена его жизнь.

Как если бы на карту было поставлено множество жизней.

Бежал прямо на человека, стоявшего в тумане.

На бегу он издавал жуткий звук, исходивший из самого его нутра. Звук, который он сдерживал в себе несколько месяцев. Звук, который он проглотил, спрятал и запер. Но теперь этот звук вырвался наружу. И толкал

его вперед.

Старший суперинтендант Франкёр повернулся за считаные мгновения до того, как Бовуар врезался в него. Он успел сделать полшага в сторону, чем ослабил силу удара. Они оба упали на камни, но Франкёру при падении досталось меньше, чем Бовуару.

Он выбрался из-под Бовуара и потянулся за пистолетом, а Бовуар перекатился через себя, вскочил на ноги и тоже потянулся за оружием.

Но поздно. Франкёр уже успел вытащить свой пистолет и прицелился в грудь Бовуару.

– Ты сволочь! – закричал Бовуар, едва ли замечая оружие. – Говнюк! Я тебя убью!

– Ты только что напал на старшего по званию! – рявкнул потрясенный Франкёр.

– Я напал на мерзавца и на этом не остановлюсь! – Бовуар кричал во всю силу голоса, срываясь на визг.

– Что тут вообще происходит, черт побери? – прокричал в ответ Франкёр.

– Ты прекрасно знаешь! Я видел, что у тебя в ноутбуке! Что ты смотрел, когда я вошел.

– Черт! – сказал Франкёр, неуверенно глядя на Бовуара. – А Гамаш видел?

– Какая разница? – прорычал Бовуар, потом нагнулся и упер руки в колени, пытаясь перевести дыхание. Наконец он поднял голову. – Важно, что видел я.

«Глубокий вдох, – умолял он свое тело. – Выдох полной грудью.

Господи боже, только не вырубись.

Глубокий вдох, выдох полной грудью».

Голова у него закружилась.

«Боже мой, только бы не вырубиться».

Бовуар убрал руки с коленей и медленно выпрямился. Он уступал в росте стоявшему напротив него человеку. Человеку, направившему в его грудь пистолет. Но Бовуар стоял не сгибаясь. И смотрел на эту тварь.

– Это вы слили видео в Интернет.

Голос его изменился. Стал хриплым. Ломким. Каждое слово выкатывалось из его рта на глубоком-глубоком дыхании из самых-самых его глубин.

Дверь в его потайное пространство вышибли, и оттуда возникали слова.

И намерение.

Он убьет Франкёра. Сейчас.

Бовуар впился взглядом в суперинтенданта. Своим затуманенным зрением он видел пистолет. И, вскакивая на ноги, знал, что у Франкёра есть время как минимум на два выстрела, прежде чем Бовуар преодолеет расстояние между ними.

Он прикинул, что, если пуля не попадет ему в голову или сердце, он сумеет дотянуться до Франкёра. И ему хватит сил и воли, чтобы свалить суперинтенданта на землю. Схватить камень. И проломить череп.

На одно безумное мгновение перед его мысленным взором вспыхнула история, которую снова и снова читал ему отец. О поезде.

«Думаю, что смогу. Думаю, что смогу»[55].

«Думаю, что смогу убить Франкёра, прежде чем он убьет меня».

При этом Бовуар знал, что и он умрет. Но не первый. Господи боже, только не первый.

Он напрягся и чуть подался вперед, но Франкёр не сводил с него глаз и слегка приподнял ствол пистолета. Бовуар остановился.

Он должен выиграть время. Дождаться, когда что-то на долю секунды отвлечет внимание Франкёра.

«Мне больше ничего и не нужно».

«Думаю, что смогу. Думаю, что смогу».

– Вы считаете, это я слил видео? – спросил суперинтендант.

– Прекратите ваши сраные игры. Вы предали моих друзей. Ваших собственных подчиненных. Они погибли. – Бовуар почувствовал, что скатывается в истерику, чуть ли не рыдает, и попытался взять себя в руки. – Они погибли, а вы опубликовали запись того, как они умирали.

Горло у Бовуара перехватывало, голос срывался на писк. Дыхание с трудом пробивалось через сузившиеся проходы.

– Вы превратили трагедию в цирк, вы… вы…

Он больше не мог продолжать. Его переполняли видения той операции на заброшенной фабрике. Гамаша, возглавлявшего их команду. Полицейских, следующих за своим начальником. Они спасали похищенного товарища. Пытались остановить террористов.

Жан Ги Бовуар стоял на тихом берегу озера и слышал звуки выстрелов. Слышал, как пули рикошетят от бетона, от пола, от стен. Попадают в его друзей. Он ощущал едкий запах дыма, смешанный с бетонной пылью. Он чувствовал, как сердце колотится от притока адреналина. И от страха.

Но он продолжал бежать за Гамашем. Все глубже и глубже в здание заброшенной фабрики. Они все бежали за Гамашем.

Их действия фиксировались на камеры и микрофоны, установленные

в шлемах всех участников. А позднее, несколько месяцев спустя, запись похитили, отредактировали и вывесили в Интернете.

Бовуар подсел на видеозапись, как на болеутоляющие таблетки. Две половинки целого. Сначала боль, потом то, что ее утоляет. Снова, и снова, и снова. Пока видео с фабрики не стало его жизнью. Смотреть, как умирают его друзья. Снова, и снова, и снова.

Но оставался вопрос: кто похитил запись? Бовуар знал, что это сделал кто-то из своих. Теперь он знал, кто именно.

И ему хотелось одного: оставаться в живых достаточно долго, чтобы убить стоящего перед ним человека.

Человека, предавшего своих подчиненных. Агентов Гамаша. Друзей Бовуара. Их смерть стала большим горем, но видеть эту запись в Интернете… Где ее могли видеть миллионы и миллионы. Весь Квебек.

И Квебек смотрел.

Они трескали попкорн и смотрели снова и снова, как расстреливают полицейских на заброшенной фабрике. Смотрели так, будто смерть – развлечение.

Семьи убитых тоже все видели. Запись стала сенсацией Интернета, вытеснив с первых мест видео про котят.

Бовуар уставился в глаза Франкёра. Ему не нужно было смотреть на пистолет. Он знал, что ствол направлен в его грудь. И знал, что почувствует, когда первая пуля войдет в его плоть, ждал выстрела в любое мгновение.

Он помнил собственные ощущения. Удар, шок, а потом мучительная боль.

Прежде он видел столько фильмов про войну, столько вестернов. Видел столько мертвых тел. Не в кино – в реальности. Ему как-то удалось обмануть себя, уверовать, что он знает, каково это – получить пулю.

Он ошибался.

Ужас оказался сильнее боли. Ужас и кровь. А еще – безумное желание докопаться до невыносимого жжения внутри, но боль гнездилась слишком глубоко.

Это случилось меньше года назад. Ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться. Больше, чем шефу. Гамаш целиком отдался восстановлению. Физиотерапии. Физкультуре, ходьбе, упражнениям. Консультациям психологов.

Бовуар знал, что каждый образ, каждый запах, каждый звук теперь воспринимаются шефом острее. Он словно жил за пятерых. За себя и своих четырех погибших агентов.

Это каким-то образом вселяло в шефа энергию.

Но на Бовуара эта атака, эти потери оказывали противоположное воздействие.

Он пытался. Изо всех сил. Но боль проникла в него слишком глубоко. И пытка была слишком мучительна. А болеутоляющие слишком эффективны.

А потом в Интернете появилось видео, и боль снова вернулась. Вонзилась в него еще глубже. Ему потребовалось увеличить дозу болеутоляющих. И еще увеличить. И еще. Чтобы притупить боль. И воспоминания.

Но тут вмешался шеф. Гамаш спас его тогда на фабрике. И спас снова несколько месяцев спустя, когда заставил Бовуара обратиться за помощью, чтобы избавиться от таблеток и образов, роившихся в его голове. Он заставил его пройти курс интенсивной терапии. Реабилитацию. Заставил его перестать убегать и отворачиваться. Заставил смотреть в лицо происходящему.

А еще Гамаш взял с него обещание никогда больше не смотреть видео с фабрики.

И Бовуар сдержал обещание.

«Они бы отдали все, чтобы быть сейчас здесь», – сказал Гамаш как-то весной, когда они с Бовуаром шли по парку от квартиры Гамаша в Утремоне. Бовуар знал, о ком говорит шеф. Он видел, как Гамаш впитывает все вокруг, словно для того, чтобы разделить эти ощущения со своими убитыми агентами. Шеф тогда остановился полюбоваться старым кустом сирени в полном цвету. Потом повернулся к Бовуару: «Ты знаешь, что обламывать сирень в парке противозаконно?»

«Только если вас поймают».

Бовуар перешел на другую сторону куста и увидел, как он сотрясается, будто от смеха, пока Гамаш срывал ветки с пахучими крохотными цветочками.

«Занятное отношение к правосудию, – сказал Гамаш. – Ты не прав, только если пойман».

«Хотите, чтобы я вас арестовал?» Бовуар тоже обломал несколько веток. И услышал смех шефа.

Бовуар понимал, какое бремя легло на плечи Гамаша. Жить за нескольких человек. Поначалу ноги у старшего инспектора подгибались, но в конце концов увеличившаяся нагрузка сделала его сильнее.

И Бовуар тоже с каждым днем стал чувствовать себя лучше, очищаясь от таблеток и власяницы изображений, которую надел на себя.

Шеф вручил мадам Гамаш букет украденной сирени, и она поставила его в белую вазу на столе. Потом поставила меньший букет Бовуара в воду, чтобы тот оставался свежим, когда он принесет его домой после обеда. Но сирень, конечно, так и не попала в его маленькую квартирку.

Он принес букет Анни.

Они только-только начали встречаться, и прежде он не дарил ей цветов.

«Украл, – признался он, когда она открыла дверь и он протянул ей букетик. – К сожалению, под влиянием твоего отца».

«Ах, месье, вы украли не только это», – сказала Анни со смехом и отошла в сторону, пропуская его в дом.

Бовуар не сразу понял, что она имеет в виду. Он наблюдал, как она поставила букетик в вазу на кухонном столе, как, пытаясь придать ему форму получше, чуть распушила его. Бовуар остался у нее на ночь. В первый раз. А утром проснулся под запах сирени и с пониманием того, что сердце Анни теперь в его груди. А его сердце – в ее. И оно будет там в полной безопасности.

Бовуар сдержал обещание, которое дал своему шефу, отцу Анни. Он больше не смотрел то видео. До сегодняшнего дня, когда он стал выяснять, чем занимался суперинтендант Франкёр в кабинете приора. И зачем ему понадобился ноутбук.

Франкёр привез с собой то видео. И смотрел его.

Это голоса с записи слышал Бовуар через дверь. Голос шефа, отдающего приказы. Побуждающего к действиям. Ведущего своих людей вглубь той проклятой фабрики. Следом за террористами.

Бовуар нашел файл с записью в ноутбуке.

Нажимая кнопку «воспроизведение», он уже знал, что увидит. И да простит его Господь, он хотел увидеть все еще раз. Ему не хватило прежней му́ки.

Бовуар смотрел на Франкёра, стоявшего перед ним на берегу, подернутом туманом. Франкёр привез эту мерзость в монастырь. Чтобы заразить последнее место в Квебеке, последнее место на земле, где еще не видели этих кадров.

И тут Бовуар понял, почему, невзирая на странность обстановки, необычность монахов, обескураживающую скуку бесконечных песнопений, он чувствовал здесь какое-то непонятное спокойствие.

Потому что эти люди, единственные в Квебеке, не знали про видео в Интернете. Не смотрели на него и на Гамаша как на неизлечимо раненных, искалеченных. Нет, монахи смотрели на них как на обычных

людей. Таких же, как они. Занятых своим делом.

Но с небес свалился Франкёр, с пагубным диском в кармане.

Однако Бовуар пресечет распространение заразы. Сейчас же. Франкёр причинил достаточно вреда Гамашу, Бовуару, памяти погибших, их семьям.

– Вы считаете, это я слил видео? – повторил Франкёр.

– Вы сами все знаете, – выдохнул Бовуар. – Кто еще имел доступ к оригинальным записям? Кто еще мог оказывать влияние на внутреннее расследование? Целый отдел Квебекской полиции, занимающийся киберпреступностью, выяснял, как произошла утечка, но гора родила мышь: они пришли к выводу, что в архивные файлы полиции проник неизвестный везучий хакер!

– Вы в это не верите? – спросил Франкёр.

– Конечно не верю!

Бовуар шевельнулся, но замер, когда Франкёр вскинул ствол пистолета.

Ничего, будет и другая возможность. Через две-три секунды. Когда Франкёр отвлечется. Моргнет. Больше ничего и не нужно.

– А Гамаш верит?

– В гипотезу о хакере? – Впервые Бовуар почувствовал себя сбитым с толку. – Не знаю.

– Да знаешь ты прекрасно, маленький говнюк. Ну скажи: Гамаш верит?

Бовуар ничего не ответил. Его ум был занят только одним.

Подходящее ли сейчас мгновение?

– Гамаш расследует эту утечку? – прокричал Франкёр. – Или он согласился с официальным докладом? Мне нужно знать.

– Зачем? Чтобы и его убить?

– Убить его? – спросил Франкёр. – Кто, по-твоему, опубликовал видео?

– Вы.

– Господи, до чего ты глуп! Как ты думаешь, зачем я привез сюда диск с записью? Чтобы насладиться своей работой? Это видео омерзительно. Меня тошнит, когда я о нем вспоминаю. А когда смотрю…

Франкёра просто трясло, он извергал ярость, как вулкан.

– Конечно, я не верю этому чертову расследованию. Его результаты смехотворны. Явная дымовая завеса. Видео опубликовал кто-то из Квебекской полиции, а не какой-то мифический хакер. Один из нас. Я привез с собой эту долбаную запись, потому что смотрю ее, как только появляется время. Чтобы не забыть. Чтобы помнить, почему я все еще продолжаю поиск.

Голос его изменился. Акцент стал заметнее, воспитание и образование отшелушились, остался только человек, выросший в деревне по соседству с той, где жили бабушка и дедушка Бовуара.

Франкёр опустил дуло пистолета. Всего на дюйм.

Бовуар заметил, что Франкёр отвлекся. Вот он, подходящий миг.

Но он медлил.

– Что же вы ищете? – спросил Бовуар.

– Улики.

– Да бросьте вы вешать мне эту лапшу, – сказал Бовуар. – Вы сами опубликовали видео, а когда вас застукали, начинаете врать напропалую.

– Зачем бы я стал его вывешивать?

– Затем, что…

– Зачем? – прокричал Франкёр, побагровев от ярости.

– Затем, что…

Но Бовуар не знал зачем. Зачем старшему суперинтенданту Квебекской полиции публиковать запись, на которой убивают его людей? Бессмысленно.

Но Бовуар знал, что причина есть. Где-то есть.

– Не знаю, – откровенно сказал Бовуар. – Да мне и ни к чему знать. Я прекрасно понимаю, что это сделали вы.

– Тоже мне сыщик говенный! Тебе не нужны улики? Не нужен мотив? Ты обвинитель и судья в одном лице? Школа Гамаша? Я ничуть не удивлен. – Франкёр посмотрел на Бовуара как на нечто непроходимо, бесконечно глупое. – Но в одном ты прав, хотя и идиот. Это сделал кто-то из нас троих.

На Бовуара это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы.

– Вы шутите! – Он опустил руки, совершенно выбитый из колеи. Все мысли о броске на Франкёра исчезли. – Намекаете, что видео вывесил старший инспектор Гамаш?

– А кто еще? Он и есть главный приобретатель выгоды.

– Выгоды? – прошептал Бовуар. От потрясения у него сел голос. – Да он чуть не погиб во время той операции. Потерял своих агентов. Он принял их на службу, обучал. Он бы скорее умер…

– Но он ведь не умер, верно? Я видел запись. Знаю каждый ее кадр. И я видел оригиналы. Они еще более красноречивы.

– Что вы хотите сказать?

– Гамаш расследует утечку видео? – спросил Франкёр.

Бовуар не ответил.

– Расследует?! – даже не прокричал, а провизжал Франкёр в лицо

Бовуару. – Думаю, нет, – произнес он нормальным голосом. – Зачем ему? Он знает, кто вывесил запись. Он хочет, чтобы смолкли все голоса, задающие вопросы.

– Вы ошибаетесь.

Бовуара охватили смущение и злость. Суперинтендант перевернул все с ног на голову, и прежний низ стал верхом, а верх – низом. Все потеряло смысл. Голос Франкёра звучал как голос Бовуарова деда – только произносил он ужасные вещи.

Суперинтендант опустил пистолет, посмотрел на него, словно не понимая, откуда в его руке оружие, и засунул в кожаную кобуру на поясе.

– Я знаю, вы им восхищаетесь, – тихо сказал он. – Но Арман Гамаш совсем не тот человек, каким вы его представляете. Он превратил эту операцию спасения в настоящую бойню. Четыре агента погибли. Вы сами едва выжили. Он оставил вас на полу истекать кровью. Вы так его уважаете, так им восхищаетесь, а он привел вас туда и оставил умирать. Я вижу ту сцену каждый раз, когда просматриваю запись. Он даже поцеловал вас на прощание. Поцелуй иуды.

Голос Франкёра звучал спокойно, убедительно. Казался знакомым. Успокаивающим.

– У него не оставалось выбора, – хриплым голосом проговорил Бовуар.

Из него словно выпустили воздух. Весь его порыв иссяк.

Он уже не хотел броситься на Франкёра и размозжить ему камнем голову. В Бовуаре не осталось энергии. Ему теперь хотелось одного: опуститься на землю. Сесть здесь, на каменистом берегу, и ждать, когда туман поглотит его.

– У нас у всех есть выбор, – сказал Франкёр. – Зачем вывешивать то видео? Мы оба знаем, какой провальной оказалась операция на фабрике. Погибли четыре молодых агента. По любым стандартам это провал…

– А спасенные жизни не в счет? – проговорил Бовуар, хотя в нем и на слова-то почти не осталось энергии. – Сотни тысяч жизней. Благодаря старшему инспектору. Гибель агентов не его вина. Он получил неверную информацию…

– Он возглавлял операцию. Он нес ответственность. И кто после такого позора оказывается героем? Благодаря тому самому видео? Его можно было смонтировать и так и сяк. Показать что угодно. Показать правду. Но почему Гамаш выглядит там так хорошо?

– Он тут ни при чем.

– И уж конечно ни при чем я. Я знаю, что случилось на самом деле. И вы тоже. – Франкёр вперился взглядом в Бовуара. – Да простит меня Господь, но я даже наградил его медалью за храбрость. Не мог поступить иначе. Такова сила общественного мнения. Меня тошнит, когда я вспоминаю о тех минутах.

– Он не хотел никакой награды, – сказал Бовуар. – Его бесила вся история с награждением.

– Если не хотел, то почему же принял? У нас всегда есть выбор, Жан Ги. Правда.

– Он заслужил медаль, – возразил Бовуар. – Он спас больше людей, чем…

– Чем убил? Да. Возможно. Но вас он не спасал. Мог бы, но убежал. И вы это знаете. Я знаю. И он знает.

– Он не мог поступить иначе.

– Да, конечно. Не было выбора.

Франкёр посмотрел на Бовуара, явно пытаясь принять какое-то решение.

– Вероятно, он по-своему любит вас. Как любит свою машину или хороший костюм. Вы его устраиваете. Вы полезны. – Франкёр помолчал. – Но не больше.

Его тихий убедительный голос продолжал нанизывать слова:

– Вы никогда не станете его другом. Навсегда останетесь удобным подчиненным. Он приглашает вас к себе домой, относится к вам как к сыну. А потом оставляет умирать. Не дайте себя обмануть, инспектор. Вы никогда не станете членом его семьи. Он из Утремона. А откуда вы? Из Восточного Монреаля? Из Балконвиля?[56] Он учился в Кембридже и Университете Лаваля. А вы окончили какую-то заштатную школу и играли в хоккей на улицах. Он цитирует стихи, а вы их не понимаете, верно? – В его голосе прозвучало участие. – Вы не понимаете многого из того, что он говорит. Разве я не прав?

Бовуар невольно кивнул.

– И я тоже не понимаю, – сказал Франкёр, слегка улыбнувшись. – Я знаю, что после той операции вы ушли от жены. Извините, что задаю личный вопрос, но я подумал…

Франкёр замолчал, на его лице появилось почти застенчивое выражение. Он на миг поймал взгляд Бовуара.

– Я подумал, что у вас появилась другая женщина.

Увидев реакцию Бовуара, Франкёр поднял руку:

– Я знаю, такие вопросы не должны меня касаться. – Продолжая

смотреть в глаза Бовуару, он еще больше понизил голос: – Будьте осторожны. Вы хороший офицер. Я думаю, вы можете сделать отличную карьеру, если получите шанс. Если выйдете из-под опеки. Я заметил – вы набирали эсэмэску так, чтобы не видел Гамаш.

Наступила долгая пауза.

– Писали Анни Гамаш?

Воцарилась полная тишина. Смолкли птичьи трели, листья на деревьях замерли, рябь на воде застыла. Весь мир исчез, осталось только два человека и вопрос.

Наконец Франкёр вздохнул:

– Надеюсь, я ошибся.

Он направился назад к монастырю, взял металлическую колотушку и ударил в дверь.

Дверь открылась.

Но Бовуар не видел Франкёра. Он стоял спиной к монастырю Сен-Жильбер-антр-ле-Лу и смотрел туда, где могло быть замершее озеро, если бы оно не исчезло в тумане.

Мир Жана Ги Бовуара перевернулся с ног на голову. Собрались тучи, небо посерело. Боль в недоступных глубинах его существа – вот единственное, что оставалось знакомым.

Глава двадцать шестая

– Почему вы спрятали орудие убийства? – спросил Гамаш. – И почему не сообщили нам о последних словах приора?

Брат Симон опустил глаза в пол, потом поднял их:

– Думаю, вы догадываетесь.

– Догадываться я могу всегда, mon frère, – сказал старший инспектор. – Но от вас мне нужна правда.

Гамаш осмотрелся. Они вернулись в уединение кабинета настоятеля. Слабое солнце больше не освещало комнату, а секретарь настолько погрузился в себя, что даже не включил свет, не заметил такой необходимости.

– Мы можем поговорить в саду? – спросил Гамаш.

Брат Симон кивнул в ответ.

Казалось, у него иссяк запас слов – словно ему выделили определенное количество и он выговорил их все.

Но теперь ему надо было отчитаться за свои деяния.

Они вдвоем прошли через открытый книжный шкаф, заполненный томами раннехристианских мистиков вроде Юлианы Норвичской и Хильдегарды Бингенской, трудами других выдающихся умов христианства – от Эразма до Льюиса Стейплса. Заполненный молитвенниками и книгами благочестивых размышлений. Книгами о духовной жизни. О жизни праведного католика.

Они сдвинули в сторону мир слов и вышли в мир бытия.

Низкие тучи окутали холмы за стеной. На деревьях и между ними висел туман, перекрасивший в серый цвет мир, еще сегодня утром сверкавший всеми цветами радуги.

Но красота мира не уменьшилась, напротив, она приобрела известную степень мягкости, утонченности, уюта и интимности.

Старший инспектор держал в руке завернутую в полотенце колотушку, которая, как волшебная палочка, превратила живого приора в мертвеца.

Брат Симон остановился посреди сада под громадным, почти голым кленом.

– Почему вы не сообщили нам о том, что сказал приор перед смертью? – спросил Гамаш.

– Потому что последнее свое слово он произнес в форме исповеди. А исповедь – мое призвание, не ваше. Я чувствовал моральное

обязательство.

– У вас удобная мораль, mon frère. Она, видимо, допускает ложь.

Эти слова заставили брата Симона замереть, и он опять погрузился в молчание.

А еще, подумал Гамаш, у него удобный обет молчания.

– Почему вы не сообщили нам, что приор перед смертью произнес «гомо»?

– Потому что знал: вы его неправильно истолкуете.

– Потому что мы глупы, хотите вы сказать? Не примем во внимание детали, очевидные для монаха? Почему вы спрятали орудие убийства?

– Я его не прятал. Оно оставалось на виду.

– Хватит! – резко сказал Гамаш. – Я понимаю, вы испуганы. Вы загнаны в угол. Прекратите играть в эти игры, расскажите мне правду, и поставим точку. Имейте же благородство и мужество! И доверьтесь нам. Мы вовсе не так глупы, как вы думаете.

– Désolé. – Монах тяжело вздохнул. – Я страстно пытался убедить себя, что делаю благое дело, и почти забыл, насколько оно не благое. Я должен был вам сказать. Да простит меня Господь за то, что я унес колотушку.

– Но почему вы ее унесли?

Брат Симон уставился на Гамаша.

– Вы кого-то подозреваете? – спросил старший инспектор, не сводя глаз с монаха.

Монах смотрел на него умоляющим взглядом. Отчаянная мольба прекратить допрос. Перестать мучить его.

Но они оба знали, что это невозможно. Их разговор стал неизбежен с момента нанесения удара, с момента, когда брат Симон услышал последнее слово умирающего, а потом унес орудие убийства. Он знал, что так или иначе ему придется ответить за свои поступки.

– Как вы думаете, кто убийца? – спросил Гамаш.

– Не могу вам сказать. Не могу произнести такие слова.

И, судя по его виду, он и в самом деле физически не мог их произнести.

– Мы останемся здесь на целую вечность, mon frère, – сказал Гамаш. – Пока вы их не произнесете. И тогда мы оба будем свободны.

– Но не…

– Но не человек, которого вы подозреваете? – Гамаш смягчил голос и взгляд. – Вы думаете, я не знаю?

– Тогда зачем вынуждать меня? – спросил монах со слезами в голосе.

– Затем, что вы должны исполнить свой долг. Это ваш груз, не мой. – Гамаш с сочувствием посмотрел на монаха, как брат на брата. – Поверьте, у меня есть свой.

Симон помолчал в нерешительности.

– Oui. C’est la vérité[57]. – Он перевел дыхание. – Я не сказал вам, что приор произнес перед смертью «гомо», и спрятал орудие убийства, потому что опасался, что виноват настоятель. Я думал, что брата Матье убил отец Филипп.

– Спасибо, – сказал Гамаш. – Вы до сих пор так думаете?

– Я не знаю, что думать. Не знаю, что еще мне думать.

Старший инспектор кивнул. Он не знал, правду ли говорит брат Симон, но не сомневался, что цена этих слов – судьба монаха. Симон фактически передал настоятеля в руки инквизиции.

И теперь Гамаш задавал себе вопрос, тот вопрос, который не задавала инквизиция: правда ли то, что сообщил ему монах? Или же бедняга запуган настолько, что может сказать что угодно? Не назвал ли он имя настоятеля, чтобы спасти себя?

Гамаш не знал. Но он знал, что немногословный брат Симон любил настоятеля. До сих пор любил.

«Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?»

Не избавил ли брат Симон настоятеля от мятежного приора? Не воспринял ли он приподнятую бровь настоятеля, легкое движение руки как просьбу? И не предпринял ли соответствующие действия? А сейчас, отягощенный чувством вины и мучимый угрызениями совести, не пытается ли брат Симон свалить вину на самого настоятеля?

Гамаш допускал склонность приора к мятежу, но разве не лучше терпеть приора, чем мучиться угрызениями совести? Или навлекать на себя неприятности, которые сулило появление главы отдела по расследованию убийств.

Внешне жизнь монахов могла казаться простой, ею управляли звон колокола, песнопения и смена сезонов. Но их внутренняя жизнь кипела эмоциями.

Гамаш, много лет опускавшийся на колени подле мертвых тел, знал, что именно эмоции и приводят к появлению этих тел. Не пистолет и не нож. Не кусок старого железа.

Какие-то эмоции сорвались с поводка и убили брата Матье. И чтобы найти убийцу приора, Арману Гамашу требовалась не только логика, но и собственные чувства.

Настоятель обронил недавно: «Почему я не предвидел этого?»

Вопрос показался Гамашу искренним. А уж тревога точно была неподдельной. Он не увидел, что один из возглавляемого им сообщества, из его стада вовсе не овца. А волк.

Но что, если тот вопрос, полный удивления и потрясения, подразумевал не кого-то из братьев? Что, если настоятель обращал его к себе? «Почему я не предвидел этого?» Не предвидел свои собственные мысли и действия, чреватые убийством.

Что, если отец Филипп просто удивился тому, что он может совершить, и совершил убийство?

Старший инспектор сделал полшага назад. Физически – почти ничто, но этим он давал понять монаху, что у того есть немного пространства и времени. Чтобы тот взял себя в руки. Сжал волю в кулак, собрался с мыслями. Старший инспектор знал, что, вероятно, совершает ошибку, давая поблажку брату Симону. Его коллеги, включая и Жана Ги, почти наверняка лишь усиливали бы давление. Зная, что человек уже на коленях, они бы уложили его на землю.

Но Гамаш понимал, что, хотя такая тактика эффективна в краткосрочном плане, униженный человек, изнасилованный эмоционально, больше никогда не будет откровенным.

И пусть Гамашу очень хотелось раскрыть преступление, но он не мог позволить себе потерять душу. Он подозревал, что потерянных душ и без того хватает.

– Зачем отцу Филиппу убивать приора? – спросил наконец Гамаш.

В саду стояла тишина, туман приглушил все звуки. Правда, и звуков-то особых не раздавалось. Лишь изредка доносился птичий щебет, переговаривались между собой бурундуки и белки. Трещали хворостинки и веточки, когда какой-то крупный зверь двигался по густому канадскому лесу.

Мир словно завернули в вату.

– Вы не ошиблись, когда говорили о расколе, – сказал брат Симон. – Как только стало ясно, что первая запись имеет успех, всё в монастыре стало разваливаться. Я подозреваю, что дело тут в эгоизме. И власти. Внезапно появилось что-то такое, за что стоило бороться. Прежде мы все были равны, жили почти без цели в своем старом разваливающемся монастыре. Вполне счастливые, определенно удовлетворенные. Но запись привлекла к нам столько внимания и столько денег. И так быстро. – Монах воздел руки к серым небесам и слегка пожал плечами. – Настоятель хотел, чтобы мы не спешили. Не бросались вперед сломя голову, забыв о наших обетах. Но приор и другие видели в успехе знак Божий, считали, что мы

должны больше выходить в мир. Делиться с ним своими талантами.

– И каждый заявлял, что на то есть Божья воля, – сказал старший инспектор.

– У нас появились разногласия в толкованиях, – признал брат Симон со слабой улыбкой.

– Вероятно, ваш монастырь не первый, где возникла такая проблема.

– Вы так думаете?

Один лишь настоятель не сказал Гамашу о том, на что сетовали все остальные монахи. До записи здание монастыря разваливалось, но братия являла собой монолит. После записи монастырь начали ремонтировать, но братия стала распадаться на части.

«Бедствие некое близится ныне».

Настоятель никак не мог понять, в чем состоит воля Бога, который и сам как будто еще не определился.

– Настоятель и его приор до записи дружили, питали друг к другу теплые чувства.

Монах кивнул.

Гамаш подумал, что гильбертинцы могли бы ввести новый календарь. До записи – ДЗ. И после записи – ПЗ.

«Бедствие некое близится ныне». Бедствие, выдающее себя за чудо.

Прошло уже приблизительно два года эпохи ПЗ. Достаточно времени для того, чтобы тесная дружба переросла в ненависть. Так типично для хорошей дружбы. Ненависть уже проделала путь до самого сердца.

– А пергамент? – спросил Гамаш, показывая пожелтевший лист, все еще остававшийся в его руке. – Какую роль он мог играть?

Брат Симон задумался. Задумался и Гамаш.

Они вдвоем стояли в саду, куда через стену перекатывался туман.

– Настоятель любит песнопения, – медленно заговорил брат Симон, обдумывая каждое слово. – И у него великолепный голос. Очень чистый, очень искренний.

– Но?

– Но он не самый талантливый музыкант в Сен-Жильбере. И в латыни слабоват. Он, как и все мы, знает Священное Писание и латинскую мессу. И всё – латынь он не штудировал. Возможно, вы заметили, что все книги в кабинете на французском, а не на латыни.

Гамаш заметил.

– Сомневаюсь, что он знает, как на латыни будет, например, «банан». – Симон указал на эту дурацкую фразу на пергаменте.

– Но вы знали, – сказал Гамаш.

– Я посмотрел в словаре.

– Настоятель тоже мог посмотреть.

– Но зачем ему выискивать идиотские латинские слова и выстраивать их в предложения? – спросил брат Симон. – Если бы ему пришло в голову записать латинские слова на бумаге, то он, вероятно, использовал бы отрывки из молитв или песнопений. Сомневаюсь, что он был Гильбертом, а приор – Салливаном. Или наоборот.

Гамаш кивнул. Он и сам так думал. Он мог себе представить, что настоятель размозжил приору голову в приступе страсти. Не сексуальной, а более опасной страсти. В религиозном исступлении. Уверовав, что брат Матье собирается прикончить монастырь, прикончить орден. А Господь возложил на отца Филиппа обязанность воспрепятствовать приору.

Обязанность настоятеля по отношению к его чадам состояла в том, чтобы защитить их. Что означало защиту их дома. Его круговую оборону. Гамаш слишком часто заглядывал в полные скорби глаза отцов и потому знал силу такой любви.

Он и сам пылал такой же любовью к сыну и дочери. И к своим агентам тоже. Он отбирал их, принимал на службу, учил.

Они становились его сыновьями и дочерьми. И он каждый день отправлял их на поиски убийц.

И он подползал ко всем и каждому из них, получившим смертельную рану, держал за руку и произносил скорую молитву.

«Прими чадо сие».

Пули рикошетили от стен и пола, а он держал за руку Жана Ги, защищая его своим телом. Он поцеловал его в лоб и прошептал эти же слова. Ему показалось, что мальчишка, которого он успел полюбить, умирает. По глазам Жана Ги он видел, что и тот предчувствует близкий конец.

И он оставил его. Чтобы помочь другим. Гамаш в тот день убивал. Хладнокровно прицеливался и смотрел, как падают сраженные его пулями террористы. Он убивал и готов был убивать еще. Чтобы спасти своих людей.

Арман Гамаш знал силу отцовской любви. И не важно, биологический ты отец, или ты сам выбрал их. С помощью судьбы.

Если мог убить он, то почему не мог настоятель?

Но Гамаш все равно не понимал, какую роль тут играли невмы. Во всем остальном он видел смысл, но только не в пергаменте, который держал в руке.

Приор умер как отец, защищая своим телом исписанный листок, словно свое детище.

Старший инспектор оставил брата Симона и отправился на поиски Бовуара, чтобы ввести его в курс дела и дать на хранение орудие убийства.

Гамаш сомневался, что металлическая колотушка сможет рассказать им что-то существенное. Брат Симон признался, что вымыл ее, отскреб, а потом поставил на место у дверей. И все, кто хотел попасть в запертые покои настоятеля вчера утром, оставили на ней свои отпечатки пальцев и ДНК. Таких набралось немало. Включая и самого Гамаша.

Кабинет приора пустовал. На скотном дворе трудились несколько монахов, кормили животных, убирали за козами и курами. Гамаш прошел по другому коридору, заглянул в трапезную, открыл дверь шоколадного цеха.

– Ищете кого-то? – спросил брат Шарль.

– Инспектора Бовуара.

– К сожалению, его здесь нет. – Монах-доктор опустил дуршлаг в емкость с расплавленным шоколадом, зачерпнул оттуда чернику, сколько поместилось. С ягод капал шоколад. – Последняя сегодняшняя порция. Ее собрал утром брат Бернар. Ему, бедняге, пришлось сходить дважды. То, что он собрал в первый раз, сам же и съел. – Брат Шарль рассмеялся. – Профессиональная болезнь. Хотите?

Он махнул рукой на длинные ряды крохотных коричневых шариков, уже охлажденных и готовых к расфасовке и отправке на юг.

Гамаш, чувствуя себя немного как школьник-прогульщик, зашел в помещение цеха и закрыл за собой дверь.

– Прошу. – Брат Шарль показал на крепкую табуретку и подтащил еще одну для себя. – Мы здесь работаем посменно. Когда монахи только начали готовить ягоды в шоколаде, этим занимался один монах, но потом остальные заметили, что он сильно раздобрел, а объем продукции начал уменьшаться.

Гамаш улыбнулся и взял конфетку, предложенную монахом:

– Merci.

Сочная лесная ягода в терпком шоколаде показалась ему еще вкуснее, чем прежде, если только такое возможно. Вот если бы монаха убили из-за таких конфет, Гамаш бы понял. Правда, в каждой избушке свои погремушки. Кто-то предпочитает шоколад, а кто-то – песнопения.

– Вы сказали инспектору Бовуару, что не поддерживаете ни одну из сторон конфликта, mon frère. Что-то вроде Красного Креста, который

оказывает помощь раненным в битве за Сен-Жильбер. Кто, по-вашему, получил самые сильные повреждения в ходе борьбы и в результате смерти приора?

– Я бы сказал, что борьба затронула всех. Мы все очень переживали из-за того, что происходит, но никто не знал, как остановить раздрай. На карту было поставлено слишком многое, а достичь компромисса не удавалось. Нельзя сделать половину записи или наполовину снять обет молчания. Создавалось впечатление, что нам никогда не договориться.

– Вы говорите, что на карту было поставлено слишком многое. А вы знаете про фундамент?

– Какой фундамент? Монастыря?

Гамаш кивнул, внимательно глядя на жизнерадостного доктора.

– А что с фундаментом?

– Вам известно, насколько он крепок? – спросил Гамаш.

– Вы говорите в буквальном или фигуральном смысле? Если в буквальном, то эти стены несокрушимы. Первые монахи знали, что делали. А если в фигуральном… К сожалению, Сен-Жильбер очень неустойчив.

– Merci, – сказал Гамаш очередному монаху, который ни сном ни духом не ведал про треснувший фундамент. Может быть, брат Раймон ошибался? Или лгал? Выдумал историю про фундамент, чтобы оказывать давление на настоятеля – убедить его в необходимости второй записи. – А когда приора убили, mon frère, кто из монахов расстроился больше всех?

– Мы все горевали. Сокрушались даже те братья, которые категорически выступали против него.

– Bien sûr[58], – сказал старший инспектор. Он отрицательно покачал головой, отказываясь от ягод в шоколаде. Если он не остановится сейчас, то съест все. – Но вы можете как-то их разделить? Здешнее сообщество неоднородно. Можно петь в один голос, но трудно реагировать одной эмоцией.

– Верно. – Доктор откинулся назад и задумался. – Я бы сказал, что больше всех расстроились двое. Брат Люк. Он самый младший из нас. Самый впечатлительный. И менее других вовлечен в сообщество. Хор – вот единственное, с чем он связан. А брат Матье, как вы знаете, был регентом. Брат Люк восхищался приором. Именно из-за него он и приехал к старым маленьким гильбертинцам. Чтобы учиться у приора и петь григорианские хоралы.

– Неужели здешние песнопения так отличаются от всех остальных? Отец Филипп говорит, что во всех монастырях поют по одним и тем же

книгам.

– Верно. Но как ни странно, здесь поют иначе. Я не знаю почему. Может быть, дело в приоре. Или в акустике. Или в особом сочетании голосов.

– Насколько я понимаю, у брата Люка красивый голос.

– Да. Технически лучше, чем у всех нас. Гораздо лучше.

– Но?

– Он еще наберет. Когда научится направлять свои эмоции из головы в сердце. Когда-нибудь он станет регентом. И выдающимся регентом. Страсти в нем бушуют, ему лишь нужно научиться управлять ими.

– Вот только останется ли он?

Доктор с отсутствующим видом съел еще несколько ягодок.

– Вы имеете в виду, теперь, когда брата Матье нет? Не знаю. Может, и не останется. Смерть приора стала огромной потерей для всей братии, но, вероятно, самой большой – для брата Люка. Я думаю, тут имело место некое обожествление. Такое случается в отношениях между наставником и учеником.

– А приор был наставником брата Люка?

– Наставником всех нас, но поскольку Люк самый молодой, он нуждался в наставничестве больше всего.

– А не мог брат Люк неправильно истолковать их отношения? Решить, что они какие-то особенные? Даже уникальные?

– В каком смысле? – Брат Шарль насторожился, хотя и задал вопрос прежним дружеским тоном.

Они все напрягались, когда возникало предположение о какой-то особой дружбе.

– Не мог он подумать, что регент выделяет его? Что не просто обучает его правилам, принятым в конкретном хоре?

– Не исключено, – признал брат Шарль. – Но приор почувствовал бы и пресек такие мысли. Брат Люк не первый из монахов, поддавшихся обаянию приора.

– То же самое случилось и с братом Антуаном? Солистом? – спросил Гамаш. – Они, видимо, дружили.

– Вы предполагаете, что брат Антуан убил приора в приступе ревности, когда тот стал уделять больше внимания Люку? – Доктор только фыркнул.

Но Гамаш знал, что смех иногда прикрывает неудобную правду.

– Неужели мое предположение настолько смехотворно? – спросил он.

Улыбка сошла с лица монаха.

– Вы ошибочно принимаете нас за участников мыльной оперы. Братья Антуан и Матье сотрудничали. Они имели одну общую любовь – григорианские песнопения.

– Но любовь довольно сильную, верно? – спросил Гамаш. – Даже всепоглощающую.

Доктор ничего не ответил, просто смотрел на старшего инспектора. Не выражал ни согласия, ни несогласия.

– Вы сказали, что смерть приора сильнее всего поразила двух людей, – нарушил молчание Гамаш. – Один из них – Люк. А кто другой?

– Настоятель. Он старается держать себя в руках, но я вижу, как ему тяжело. Есть такие малозаметные признаки. Чуть рассеянное внимание. Забывчивость. Отсутствие аппетита. Я ему порекомендовал больше есть. Нас всегда выдают какие-то мелочи, верно?

Брат Шарль опустил взгляд на руки старшего инспектора – одна из них чуть придерживала другую.

– Вы не больны?

– Я? – удивленно спросил Гамаш.

Доктор поднял руку и провел пальцем вдоль левого виска.

– А, вот вы о чем, – сказал старший инспектор. – Заметили.

– Я же доктор, – ответил брат Шарль, улыбнувшись. – Я почти никогда не пропускаю глубокого шрама на виске собеседника. – Его лицо посерьезнело. – Или дрожащей руки.

– Старая история, – отмахнулся Гамаш. – Дело прошлого.

– Нож? – гнул свое доктор.

– Пуля, – ответил старший инспектор.

– Вот как, – проговорил брат Шарль. – Гематома. Других последствий нет? Тремор правой руки?

Гамаш не знал, что ему ответить. А потому отвечать не стал. Просто улыбнулся и кивнул:

– Он становится заметнее, когда я устаю. Когда велико напряжение.

– Да, инспектор Бовуар мне сказал.

– Вот как? – с легким неудовольствием произнес Гамаш.

– Это я у него спросил.

Доктор пристально посмотрел на Гамаша, изучая его. Он видел перед собой дружелюбное лицо. Морщинки в уголках глаз и рта. Морщинки от смеха. Он видел человека, умеющего улыбаться. Но на лице Гамаша были заметны и другие морщины. На лбу, на переносице. Морщины, приходящие с заботами.

Однако более всего в Гамаше поразили брата Шарля не особенности

лица, а его спокойствие. Брат Шарль знал, что мир такого рода человек обретает только после внутренней борьбы.

– Если других симптомов у вас нет, значит вам повезло, – сказал наконец монах-доктор.

– Да.

«Прими чадо сие».

– А вот прилет вашего начальника, кажется, ситуацию не улучшил.

Гамаш никак не прокомментировал слова доктора. Он не в первый раз отмечал, что мимо монахов здесь не проходит почти ничего. А особенно мимо монаха-доктора.

– Да, мы его не ждали, – признал Гамаш. – Так кто, по-вашему, убил приора?

– Меняете тему? – Доктор улыбнулся и помолчал, прежде чем ответить. – Я правда не знаю. Почти ни о чем другом после его смерти и не думал. Не могу поверить, что кто-то из нас. Но конечно, иного варианта нет.

Он снова помолчал, взглянул в глаза Гамашу:

– Одно я знаю наверняка.

– Что именно?

– Большинство людей не умирают мгновенно.

Гамаш ждал от доктора других слов и теперь спросил себя, понимает ли брат Шарль, что приор еще жил, когда его нашел брат Симон.

– Они умирают понемногу, – сказал доктор.

– Excusez-moi?

– В медицинских школах нет такого предмета, но в жизни я отмечал, что люди умирают по частям. Серией маленьких смертей, petites morts. Теряют зрение, теряют слух, независимость. Это физические смерти. Но есть и другие. Менее очевидные, но более роковые. Люди теряют сердце. Теряют надежду. Теряют интерес к жизни. И в конечном счете теряют себя.

– О чем вы мне сейчас говорите, брат Шарль?

– Не исключено, что приор и его убийца шли одним путем. Оба пережили ряд маленьких смертей перед нанесением последнего удара.

– Перед большой смертью, – подхватил Гамаш. – И кто здесь соответствует вашему описанию?

Доктор подался вперед над полем шоколадной черники:

– Как мы сюда попадаем, старший инспектор? В Сен-Жильбер-антр-ле-Лу? Мы не шли дорогой счастья. Нас подталкивали вперед наши маленькие смерти. Здесь нет ни одного человека, который вошел бы сюда

без травм. Повреждений. Чуть ли не мертвым внутри.

– И что вы обрели здесь?

– Исцеление. Наши раны перебинтованы. Пустоты внутри нас заполнились верой. Наше одиночество исцелилось в обществе Господа. Мы ожили, исполняя простую работу, питаясь здоровой пищей. Ожили благодаря рутине и определенности. Благодаря тому, что наше одиночество закончилось. Но самое главное – радость петь для Господа. Песнопения спасли нас, старший инспектор. Хоралы. Они воскресили каждого в отдельности и всех вместе.

– А если не всех?

Они замолчали, осознавая, что чудо оказалось неполным. Оно не коснулось одного человека.

– В конечном счете эти же песнопения уничтожили ваше сообщество.

– Я понимаю, что на случившееся можно посмотреть и так, но проблема не в песнопениях. Проблема в наших «я». В борьбе за власть. Она ужасна.

– «Бедствие некое близится ныне», – сказал Гамаш.

Доктор посмотрел озадаченно, потом кивнул, вспомнив цитату:

– Т. С. Элиот. «Убийство в соборе». Oui. Именно. Бедствие.

Выходя из шоколадного цеха, Гамаш спросил себя, насколько нейтрален на самом деле Красный Крест. Не диагностировал ли добрый доктор бедствие и не излечил ли от него ударом по голове.

Жан Ги Бовуар вернулся в монастырь и принялся искать уединенное место. Любое, где он мог бы остаться один.

Наконец он его нашел. Узкие мостки, опоясавшие Благодатную церковь наверху. Бовуар поднялся по винтовой лестнице и сел на узенькой каменной скамье, вырезанной в стене. Он мог оставаться там незамеченным.

Но, усевшись, он почувствовал, что никогда не встанет. И его найдут здесь окаменевшим несколько десятилетий спустя. Он превратится в камень. В горгулью. Усевшуюся здесь и вечно глядящую на кланяющихся и опускающихся на колени людей в черно-белых одеяниях.

Бовуару вдруг захотелось облачиться в мантию. Побрить голову. Обвязаться веревкой. И видеть мир в черно-белых тонах.

Гамаш – хорошо. Франкёр – плохо.

Анни любит его. Он любит Анни.

Гамаши примут его как сына. Как зятя.

Они будут счастливы. Он и Анни будут счастливы.

Просто. Ясно.

Бовуар закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, ощущая запах ладана, за долгие годы впитавшийся в эти камни. Они не пробуждали тяжелых воспоминаний о многих часах, просиженных на жестких скамьях, – они просто излучали хороший запах. Успокаивающий. Расслабляющий.

Глубокий вдох. Выдох полной грудью.

Бовуар сжимал в руке пузырек с таблетками, который обнаружился на столе в его келье. К пузырьку прилагалась записка.

«Принимать по необходимости». Подпись неразборчива, но похоже, сделана рукой брата Шарля. «Он ведь все-таки доктор, – подумал Бовуар. – Значит, вреда не будет».

Он стоял, растерянный, в выделенной ему келье. Знакомый пузырек прилип к впадинке в его ладони, словно сформированный под нее. Бовуару не потребовалось читать надпись, чтобы понять, что находится в пузырьке, но он все равно прочел и почувствовал тревогу и облегчение.

Оксикодон.

Бовуару захотелось тут же, в келье, принять таблетку. А затем лечь на узкую кушетку. Почувствовать, как растекается по телу тепло, как стихает боль.

Но он опасался, что может зайти Гамаш. И потому нашел место, куда шеф, боявшийся высоты, ни за что не поднимется, даже если будет знать, что Бовуар там. На открытых мостках вверху Благодатной церкви.

Бовуар взглянул на пузырек, – он так крепко сжимал его в руке, что колпачок оставил на ладони синеватый кружок. Но ведь доктор же прописал, уговаривал он себя. А его мучит боль.

– Боже мой, – прошептал он и открыл пузырек.

Несколько мгновений спустя Жан Ги Бовуар нашел в Благодатной церкви благодатное облегчение.

Зазвонили колокола Сен-Жильбера. Не тот колокол с высоким звуком, что призывал к молитве ранее, а все колокола – в сердечном, настоятельном, искреннем приглашении.

Старший инспектор Гамаш по привычке посмотрел на часы. Но он знал, к чему призывают колокола. К пятичасовой службе.

Вечерня.

Он сел на скамью в пустой пока церкви. Положил рядом с собой орудие убийства и закрыл глаза. Но ненадолго. Кто-то сел рядом с ним.

– Salut, mon vieux, – сказал Гамаш. – Где ты пропадал? Я тебя искал.

Ему не потребовалось открывать глаза – он узнавал Жана Ги не глядя.

– То тут, то там, – ответил Бовуар. – Проводил следственные действия.

– Ты не заболел? – спросил Гамаш.

Бовуар показался ему каким-то заторможенным, одежда на нем была в беспорядке.

– Да нет. Выходил прогуляться, поскользнулся на тропинке и упал. Мне время от времени требуется глотнуть свежего воздуха.

– Я тебя понимаю. С братом Раймоном в подвале что-нибудь удалось?

Бовуар на несколько секунд словно потерялся. Брат Раймон? Потом он вспомнил. Неужели он говорил с братом Раймоном? Как давно это было.

– Я не нашел никаких трещин в фундаменте. И никаких водопроводных труб.

– Больше не ищи. Вот орудие убийства.

Гамаш протянул полотенце своему заместителю. Колокола над ними смолкли.

Бовуар осторожно раскрутил сверток. Увидел металлическую колотушку. Посмотрел на нее, не прикасаясь, и перевел взгляд на Гамаша:

– Откуда вы знаете, что его убили этим?

Старший инспектор рассказал Бовуару о своем разговоре с братом Симоном. В Благодатной церкви стояла тишина, и Гамаш говорил почти шепотом. Когда он поднял голову, то увидел старшего суперинтенданта – тот уже сидел на скамье напротив них и ниже на один ряд.

Пространство между ними увеличивалось, что вполне устраивало Гамаша.

Бовуар снова завернул колотушку в полотенце:

– Я положу ее в пакет для вещдоков. Но особой надежды, что экспертиза что-то покажет, нет.

– Согласен, – прошептал шеф.

Из крыла церкви раздался ставший знакомым звук. Одинокий голос. Гамаш узнал брата Антуана – он вошел первым. Новый регент.

К его сочному тенору присоединился другой голос. Брата Бернара – того, кто собирал яйца и чернику. Его голос звучал выше, не такой богатый, но точнее.

Потом вошел доктор, брат Шарль, его тенор заполнил пространство между двумя первыми монахами.

Один за другим в церковь входили братья, их голоса сливались, смешивались, дополняли друг друга. Это придавало песнопению глубину и жизненность. Музыка на компакт-диске была прекрасна. Вчера, вживую, она звучала великолепно. Но сегодня стала еще более величественной.

Гамаш чувствовал прилив сил и расслабление. Спокойствие и оживление. Он не мог понять, кроется причина в том, что он теперь знает монахов, или в чем-то менее осязаемом. В каком-то сдвиге, случившемся с монахами после смерти их прежнего регента и с вступлением в должность нового.

Поющие монахи один за другим входили в церковь. Брат Симон. Брат Раймон. А самым последним – брат Люк.

И все изменилось. Его голос – не тенор и не баритон, ни то и ни другое, но и то и другое вместе – присоединился к остальным. И внезапно отдельные голоса, отдельные звуки соединились. Слились. Застыли в объятии, словно невмы удлинились, превратились в руки и обняли каждого монаха, каждого слушателя.

Мир обрел цельность. Залечились раны. Заполнились пустоты. Срослись переломы.

Брат Люк пел эти простые песнопения просто. Без нажима. Без истерики. Но со страстью и отдачей, не замеченными Гамашем прежде. Молодой монах словно получил свободу. А на свободе он дал новую жизнь скользящим, парящим невмам.

Гамаш слушал, пораженный красотой пения. Тем, что эти голоса востребовали не только его голову, но и сердце. Его руки, его ноги, его тело. Шрамы у него на виске и на груди, дрожание руки.

Музыка удерживала его. Дарила безопасность. И цельность.

Благодаря голосу брата Люка. Другие были великолепны сами по себе. Но брат Люк возвысил их до божественности. Что он сказал Гамашу? «Я и есть гармония». Эти слова содержали простую истину.

Жан Ги Бовуар на скамье рядом с Гамашем закрыл глаза и почувствовал, как соскальзывает в привычный мир, где ничто не имеет значения. Где нет ни боли, ни мук. Ни неопределенности.

Все будет отлично.

А потом музыка прекратилась. Смолкла последняя нота. И наступило безмолвие.

Вперед вышел настоятель, перекрестился, открыл рот.

И замер.

Пораженный другим звуком. Какого никогда прежде не раздавалось во время вечерни. Какого никогда прежде не слышали ни на одной службе в монастыре Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Удар колотушки по дереву.

Несколько ударов.

Кто-то стучал в дверь. Кто-то хотел войти.

Или выйти.

Глава двадцать седьмая

Отец Филипп пытался не замечать назойливого звука.

Он пропел благословение. Выслушал ответ. Пропел следующую фразу.

Он понял, что поднаторел в искусстве не замечать. Не обращать внимания на неприятное.

Его обет молчания с недавнего времени включал и обет глухоты. Пройдет еще какое-то время – и он совсем отключится от внешнего мира.

Он стоял совершенно неподвижно, отдаваясь Господу.

Потом отец Филипп пропел следующие слова молитвы, голос его звучал уже не так молодо и энергично, но все еще восторженно.

И будто в ответ, он услышал стук в дверь монастыря.

– Помилуй нас, Господи, – пропел он.

Стук.

– Помилуй нас, Иисусе Христе.

Стук.

– Помилуй его, Святая Троица.

Стук.

Мозг настоятеля отключился. Впервые за несколько десятилетий, после сотен, тысяч богослужений его мозг отключился.

Благодать Христа, благоволение Господа оказались вытеснены стуком.

Стук.

Похожий на гигантский метроном.

Стук во входную дверь.

Монахи, стоявшие по обе стороны от него, смотрели на своего настоятеля.

Ждали – вот сейчас он скажет им, что делать.

«Наставь меня, Господи, – взмолился он. – Что мне делать?»

Он понял, что стук не прекратится. Теперь в нем появилась ритмичность. Упорные, несмолкающие удары. Казалось, что ритмический звук производит какая-то машина.

Бум! Бум! Бум!

Этот стук будет продолжаться вечно. Пока…

Пока на него не ответят.

Настоятель сделал нечто такое, чего не делал никогда прежде. Ни будучи послушником, ни в течение многих лет монашества, а потом настоятельства. Ни в течение тысяч богослужений, проведенных им

прежде. Никогда не покидал он церковь до окончания службы.

Но сегодня он сделал это. Поклонился кресту, повернулся спиной к братии и вышел из алтаря.

Сердце его тоже колотилось, но гораздо чаще, чем колотушка ударяла по двери. Он чувствовал, как потеет под мантией. Он чувствовал тяжесть, идя по длинному проходу.

Он миновал суперинтенданта Квебекской полиции, с его умными глазами и умным лицом.

Миновал молодого инспектора, который, наверное, думал только об одном: как бы ему переместиться в какое-нибудь другое место.

Миновал старшего инспектора, который внимательно слушал, словно пытался найти ответы не для раскрытия преступления, а для себя.

Отец Филипп прошел мимо всех них. Он старался не спешить. Убеждал себя идти размеренным шагом. Целеустремленно, но сдержанно.

Стук продолжался. Он не становился ни громче, ни тише, ни чаще, ни реже. Он продолжался почти с механической неизменностью.

И настоятель поймал себя на том, что переходит чуть ли не на бег. Спешит к двери. Чтобы как можно скорее прекратить стук. Шум, который оборвал вечерню. И пробил наконец дыру в его фальшивом спокойствии.

За отцом Филиппом длинной, тонкой цепочкой последовали монахи. Они шли, засунув руки в рукава и опустив голову. Торопливо перебирая ногами. Стараясь не отстать от настоятеля и в то же время выглядеть степенно.

Когда последний монах покинул алтарь, полицейские присоединились к ним – Гамаш и Бовуар на шаг позади от Франкёра.

Отец Филипп вышел из Благодатной церкви и свернул в длинный коридор с дверью в самом конце. Он знал, что воображение играет с ним, но ему казалось, что дерево с каждым ударом подается.

«Помилуй нас, Господи», – молился он, подходя к двери. Последняя молитва, которую он читал в алтаре, и единственная, которая оставалась с ним, цеплялась за него, когда исчезли все остальные. «Помилуй нас, Господи. Боже, помилуй нас».

Настоятель остановился у двери. Может, посмотреть сначала через щель, кто там стучит? Но имеет ли это смысл? Настоятель знал, что стук не прекратится, пока тяжелая дверь не откроется.

Он понял, что у него нет ключа.

Где брат привратник? Неужели ему придется возвращаться за ключом в церковь?

Он повернулся и с удивлением увидел, что другие монахи стоят

полукругом у него за спиной. Словно хор, собирающийся исполнить рождественскую песню. Пришли все верные, но не радостные и торжествующие. Скорее мрачные и расстроенные[59].

Но так или иначе, они пошли с ним. Не оставили настоятеля в одиночестве. Господь смилостивился.

Рядом с ним оказался брат Люк, ключ чуть подрагивал в его руке.

– Дай его мне, сын мой.

– Но это моя работа, отец.

Бум!

Бум!

Бум по двери!

Отец Филипп протянул руку.

– Я возлагаю твою работу на себя, – сказал он и улыбнулся встревоженному молодому монаху.

Дрожащими руками брат Люк отстегнул тяжелый металлический ключ и протянул его настоятелю. После чего отступил.

Отец Филипп нетвердой рукой отодвинул щеколду. Попытался вставить ключ в замок.

Бум!

Бум!

Он поднял другую руку, направляя, выравнивая ключ.

Бум!

Ключ вошел в замок, и настоятель повернул его.

Стук прекратился. Тот, кто стучал, услышал сквозь грохот слабый металлический щелчок замка.

Дверь открылась.

Солнце уже почти село, и на землю опустились сумерки. Туман сгустился еще больше. Сквозь приоткрытую дверь из монастыря наружу проливался свет, но внутрь никакого света не попадало.

– Oui? – сказал настоятель, жалея, что его голос звучит не так твердо и уверенно, как ему хотелось бы.

– Отец Филипп?

Голос вежливый, уважительный. Бесплотный.

– Oui, – ответил настоятель все еще чужим голосом.

– Позвольте войти? Я проделал немалый путь.

– Кто вы? – спросил настоятель.

Вопрос казался разумным.

– Какое это имеет значение? Неужели вы не впустите человека в такой вечер?

Ответ тоже казался разумным.

Но разум не был сильной стороной гильбертинцев. Страсть, прилежание, преданность. Музыка. Но вероятно, не разум.

И все же настоятель вынужденно согласился: голос прав. Теперь он не мог закрыть перед ним дверь. Слишком поздно. Когда дверь открылась, то, что находилось снаружи, не могло не войти.

Настоятель отступил в сторону. Услышал, как за его спиной подались назад братья. Краем глаза увидел, что два человека остались на своих местах.

Старший инспектор Гамаш и его инспектор Бовуар.

Из-за двери появилась нога. В хорошей обуви из черной кожи, заляпанной грязью и с прилипшим к ней обрывком яркого опавшего листа.

Человек был строен, среднего роста, чуть ниже настоятеля. Глаза светло-карие, волосы каштановые, кожа бледная, разве что чуть порозовевшая от холода.

– Merci, mon père. – Человек втащил за собой большую сумку, а потом повернулся к настоятелю. Улыбнулся искренне, в полный рот. Не от радости, а от удивления. – Наконец-то я вас нашел, – сказал он.

Ни красотой, ни уродливостью он не выделялся. И казался бы непримечательным, если бы не одно: его одежда.

Монашеская мантия. Но если гильбертинцы носили белый стихарь на черном, то у него черная мантия надевалась поверх белого.

– Пес Господень, – прошептал один из монахов.

Гамаш повернулся, чтобы увидеть, кто это сказал, и заметил, что у всех монахов рты чуть приоткрыты.

– Мы больше не пользуемся этим термином, – сказал новоприбывший, оглядывая собравшихся перед ним. Улыбка его стала еще шире. – Чтобы не отпугивать людей.

Голос его звучал приятно.

Гильбертинцы неулыбчиво смотрели на него.

Наконец незнакомец повернулся к отцу Филиппу и протянул ему руку, и настоятель пожал ее. Молодой человек поклонился, потом выпрямился:

– Меня зовут брат Себастьян. Я приехал из Рима.

– Сегодня? – спросил настоятель и тут же пожалел, что задал такой глупый вопрос. Но он не слышал ни звука самолета, ни моторной лодки.

– Я прилетел из Рима утром, а потом добирался сюда.

– Но как? – спросил настоятель.

– На байдарке.

Отец Филипп так удивился, что у него слегка отвисла челюсть.

Брат Себастьян рассмеялся. Приятным, как и все в нем, смехом.

– Я знаю. Не самая моя блестящая идея. Маленький самолет доставил меня на ближайшую посадочную полосу, но туман настолько сгустился, что никто не рискнул довезти меня до вас, так что я решил доставить себя сам. – Он посмотрел на Гамаша, растерянно помолчал и снова перевел взгляд на настоятеля. – Вы оказались гораздо дальше, чем я думал.

– И вы гребли весь путь? От самой деревни?

– Да.

– Несколько миль. Откуда вы вообще знали, куда плыть?

Настоятель призывал себя к спокойствию, но не мог остановить поток вопросов.

– Мне подсказал лодочник. После трех бухт я должен был свернуть в четвертую. – Судя по его виду, такие инструкции доставили ему удовольствие. – Но туман сильно сгустился, и я уже боялся, что совершил роковую ошибку. Но тут я услышал колокола и поплыл на звук. А сворачивая в бухту, увидел ваши огни. Вы себе не представляете, как я рад, что нашел вас.

«У него и в самом деле довольный вид, – подумал Гамаш. – Да что там довольный – счастливый». Гость продолжал разглядывать монахов так, будто сам к ним не принадлежал. Словно никогда прежде не видел монаха.

– Вы прилетели из-за приора? – спросил отец Филипп.

И тут Гамаша посетило прозрение. Он шагнул вперед, но слишком поздно.

– В связи с его убийством? – спросил настоятель.

Человек, тосковавший по великому молчанию, сказал чересчур много.

Гамаш глубоко вздохнул, и брат Себастьян посмотрел на него, потом перевел глаза на Бовуара и в конечном счете остановился на суперинтенданте Франкёре.

Улыбка сошла с лица молодого монаха, сменилась выражением глубокого сожаления. Он перекрестился, поцеловал свой большой палец, сложил на груди длинные руки и чуть поклонился. Глаза его смотрели мрачно.

– Поэтому-то я так и спешил. Отправился в путь, как только узнал. Упокой, Господи, его душу.

Монахи перекрестились. А старший инспектор Гамаш разглядывал незваного гостя. Человека, который, несмотря на туман, приплыл на байдарке сквозь сгущающуюся тьму. По незнакомому озеру. И в конечном счете нашел монастырь, ориентируясь на звук колоколов. И на свет.

Прилетел из самого Рима.

Так отчаянно спешил в Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. Так отчаянно, что рисковал собственной жизнью. Хотя этот молодой человек и шутил относительно своего глупого решения, он казался вполне рациональным. Зачем же так рисковать? Почему он не мог дождаться утра?

Гамаш точно знал: привело его сюда не убийство приора. В тот момент, когда отец Филипп задал свой вопрос, Гамаш понял, что незнакомцу ничего не известно об убийстве. Брат Себастьян узнал о смерти приора только благодаря вопросу настоятеля.

Если бы он и в самом деле прилетел из Рима из-за смерти приора, то появился бы со скорбным видом и сразу же высказал бы соболезнования.

А он посмеялся над собственной глупостью, рассказал о своем путешествии, сообщил, что рад их видеть. Подивился, глядя на монахов. Но ни разу не упомянул о брате Матье.

Нет. Брат Себастьян действительно прибыл сюда по какой-то причине. Важной причине. Но она не имела никакого отношения к смерти брата Матье.

– Эти колокола звонили к вечерне? – спросил брат Себастьян. – Простите, отец мой, что прервал вас. Пожалуйста, продолжайте.

Настоятель помедлил, потом повернулся и пошел назад по длинному коридору. Гость следовал за ним, посматривая то в одну, то в другую сторону.

Гамаш внимательно следил за ним. У него возникло впечатление, что брат Себастьян никогда прежде не бывал ни в одном монастыре.

Старший инспектор дал знак брату Шарлю поотстать от процессии и присоединиться к нему. Он дождался, когда остальные отойдут подальше, и обратился к доктору:

– Вы назвали брата Себастьяна псом Господним.

– Ну, я не имел в виду его лично.

Доктор был бледен и явно чем-то потрясен. Ничуть не похож на прежнего веселого доктора. Похоже, появление живого незнакомца расстроило его даже больше, чем смерть приора.

– Тогда что вы хотели сказать? – настойчиво спросил Гамаш.

Они почти достигли Благодатной церкви, но Гамаш хотел закончить разговор до входа в церковь. Не из каких-то религиозных чувств, а из-за поразительной акустики.

Этот разговор должен был остаться частным.

– Он доминиканец, – тихо ответил брат Шарль, не отрывая глаз от головы процессии – брата Себастьяна и настоятеля.

– Откуда вы знаете?

– По его мантии и поясу. Он доминиканец.

– И почему это делает его псом Господним?

Голова процессии, словно голова змеи, вползла в Благодатную церковь, остальные двигались за ней.

– Доминиканец, – повторил брат Шарль. – Domini canis. Пес Господень[60].

Потом и они вошли в церковь, и все разговоры прекратились. Брат Шарль кивнул Гамашу и последовал за братьями монахами в алтарь, где они заняли свои места.

Брат Себастьян опустился на колени, перекрестился, сел на скамью и покрутил головой по сторонам.

Бовуар вернулся на скамью, и Гамаш нахмурился, когда Франкёр уселся рядом с Жаном Ги. Гамаш обошел скамью и сел по другую сторону от Бовуара, оказавшегося, таким образом, между двумя начальниками.

Но Бовуар, похоже, ничего не заметил. Когда вечерня продолжилась, он закрыл глаза и представил себя в квартире Анни. Как они лежат на диване перед камином.

Он бы обнимал ее. Защищал от опасностей.

Все женщины Бовуара, включая и Энид, его бывшую жену, были миниатюрными. Стройными, маленькими.

Анни Гамаш не походила на них. Атлетическая, крепкая. Сильная. Когда она лежала с ним, одетая или нет, они идеально подходили друг другу.

«Я хочу, чтобы это никогда не кончалось», – прошептала бы Анни.

«Оно и не кончится, – заверил бы он ее. – Никогда-никогда».

«Но все изменится, когда люди узнают».

«И станет еще лучше», – ответил бы он.

«Oui, – согласилась бы Анни. – Но мне нравится и так. Только мы с тобой».

Ему так тоже нравилось.

Сидя в Благодатной церкви, среди запахов ладана и свечей, Бовуар воображал, что слышит треск огня в камине. Вдыхает запах кленовых поленьев. Пригубливает красное вино. И чувствует голову Анни у себя на груди.

Зазвучал хорал. Одновременно, по какому-то невидимому для Гамаша знаку, монахи вышли из состояния неподвижности и молчания и запели в полный голос.

Их голоса заполнили церковь, как воздух заполняет легкие. Казалось, что звук исходит из самих каменных стен. Григорианские песнопения стали такой же частью монастыря, как камни, шифер и деревянные балки.

Перед Гамашем сидел с открытыми глазами брат Себастьян. Зачарованный. Неподвижный.

Рот его был приоткрыт, по бледной щеке катилась слеза.

Брат Себастьян слушал, как поют гильбертинцы, и плакал, словно никогда прежде не слышал голоса Господа.

Обед в тот вечер проходил почти в полном молчании.

Поскольку вечерня закончилась позже обычного, братья и их гости сразу же из церкви отправились в трапезную. На столе стояли супницы с супом из великолепного горошка и мяты, рядом – корзинки со свежими, еще теплыми багетами.

Один из братьев пропел благодарственную молитву еде, монахи перекрестились, и после раздавались лишь звуки разливаемого супа да стук ложек о керамические миски.

Неожиданно послышалось тихое гудение. В любой другой обстановке оно осталось бы незамеченным, но здесь, в тишине, оно звучало громко, как двигатель моторной лодки.

И становилось все громче. И громче.

Монахи один за другим переставали есть, и вскоре в длинном помещении остался один звук – гудение. Монахи крутили головой, пытаясь обнаружить его источник.

Источником был старший инспектор Гамаш.

Он прихлебывал суп и мурлыкал себе под нос. Смотрел в тарелку и наслаждался превосходной едой. Потом, вероятно почувствовав вперившиеся в него взгляды, поднял голову.

Однако гудение не прекратилось.

Слегка улыбаясь, Гамаш оглядел монахов.

У кого-то из них был оскорбленный вид. У кого-то – обеспокоенный, словно среди них появился сумасшедший. Некоторые сердились из-за того, что Гамаш нарушил их покой.

Бовуар сидел с пустыми глазами, суп перед ним оставался нетронутым, аппетит у него пропал. Франкёр почти незаметно качал головой, словно от стыда.

И у одного монаха вид был испуганный. У брата Симона.

– Что вы напеваете?

Этот вопрос задал человек, сидевший во главе стола. Но не отец

Филипп. Его задал доминиканец. Он смотрел заинтересованно, доброжелательно. Не сердито, не с мукой, не оскорбленно.

Брат Себастьян был искренне заинтересован.

– Извините, – сказал Гамаш. – Я не отдавал себе отчета, что напеваю так громко. Désolé.

Но старший инспектор вовсе не казался огорченным.

– Кажется, это какая-то канадская народная песня, – сказал брат Симон чуть громче обычного.

– Правда? Очень красивая песенка.

– Вообще-то, mon frère, – сказал Гамаш, не обращая внимания на Симона, который ерзал и под столом бил коленом о колено Гамаша, – это песнопение. Вот, застряло в голове. Никак не избавиться.

– Никакое это не песнопение, – быстро проговорил Симон. – Он так думает, но я пытался объяснить, что песнопения гораздо проще.

– В любом случае оно прекрасно, – сказал брат Себастьян.

– Гораздо лучше, чем песенка, которую эта мелодия вытеснила из моей головы, – «Кемптаунские гонки».

– «Кемптаунские гонки длиной пять миль. Ду-да, ду-да», – пропел брат Себастьян. – Вы про эту?

Все головы повернулись от старшего инспектора к молодому монаху. Даже Гамаш на мгновение потерял дар речи.

Брат Себастьян говорил о дурацкой старой песенке словно о творении гения. Словно ее написали Моцарт, Гендель или Бетховен. Если бы работы да Винчи можно было обратить в музыку, то они звучали бы именно так.

– «Сплошной день ду-да», – с улыбкой заключил брат Себастьян.

Эти монахи, умевшие прекрасно петь Господу, уставились на доминиканца так, будто он принадлежал совсем к другому виду.

– Кто вы?

Этот вопрос задал брат Антуан. Новый регент хора. Не настойчиво и вовсе не обвиняюще. В голосе Антуана прозвучала нотка удивления, какой Гамаш не слышал прежде.

Старший инспектор обвел взглядом других монахов.

Неприязнь исчезла. Тревога прошла. Брат Симон забыл о собственной неразговорчивости, с лица брата Шарля исчез испуг.

Кроме крайнего удивления, ничего не осталось на их лицах.

– Я брат Себастьян. Простой монах-доминиканец.

Брат Себастьян аккуратно сложил салфетку и бросил на стол перед собой. Потом посмотрел вдоль длинного деревянного стола, на котором за прошедшие века оставили царапины и отметины многие поколения

сидевших за ним гильбертинцев.

– Я сказал, что прилетел из Рима, – начал он, – но не конкретизировал. Я прилетел из дворца Священной канцелярии в Ватикане. Я работаю в КДВ.

За столом воцарилось полное молчание.

– КДВ? – переспросил Гамаш.

– Конгрегация доктрины веры[61], – пояснил брат Себастьян.

На его невзрачном лице появилось извиняющееся выражение.

В трапезную вернулся страх. Если прежде страх казался неопределенным, бесформенным, то сейчас он обрел форму и направленность. Приятный молодой монах во главе стола рядом с настоятелем. Пес Господень.

Старший инспектор посмотрел на брата Себастьяна и отца Филиппа, сидевших бок о бок, и ему пришел на ум невероятный символ монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. Два переплетенных волка. На одном черное поверх белого, на другом, настоятеле, белое на черном. Противоположные полюса. Себастьян, молодой и энергичный. Отец Филипп, пожилой и стареющий с каждым мгновением.

Entre les loups. Среди волков.

– Конгрегация доктрины веры? – переспросил Гамаш.

– Инквизиция, – очень тихо произнес брат Симон.

Глава двадцать восьмая

Гамаш и Бовуар заговорили, только когда вернулись в кабинет приора. Суперинтендант Франкёр сразу же после обеда перехватил заезжего монаха, и они вдвоем остались в трапезной.

Остальные удалились, как только позволили правила хорошего тона.

– Господи боже, – сказал Бовуар. – Инквизиция! Вот уж чего не ожидал.

– Никто не ждет инквизиции, – возразил Гамаш. – Инквизиции не существует вот уже не одну сотню лет. Интересно, зачем он здесь?

Бовуар скрестил руки на груди и оперся спиной о дверь, а Гамаш сел за стол. Только сейчас он заметил, что второй стул сломан и косо стоит в углу.

Гамаш ничего не сказал, только посмотрел на Бовуара, взметнув брови.

– Маленький спор.

– Со стулом?

– С суперинтендантом. Все остались целы, – поспешно добавил он, увидев лицо шефа.

Но его заверение не подействовало. Гамаш по-прежнему выглядел обеспокоенным.

– Что случилось?

– Ничего. Он тут наговорил всяких глупостей, а я с ним не согласился.

– Я тебя предупреждал: не связывайся с ним, не спорь. Он ведь чем занимается – проникает в мозги…

– И как прикажете мне реагировать? Кивать, кланяться и выслушивать его бредни? Вы как хотите, а я этим заниматься не буду.

Несколько секунд они смотрели друг на друга.

– Извините, – сказал Бовуар и выпрямился.

Устало потер лицо руками, потом взглянул на Гамаша.

Шеф не сердился, но оставался обеспокоенным.

– Что-то случилось? Что тебе сказал суперинтендант?

– Обычное свое дерьмо. Будто вы не понимаете, что делаете, а я вам подражаю.

– И поэтому ты вышел из себя?

– Оттого что меня сравнили с вами? А кто бы не вышел? – Бовуар рассмеялся, заметив при этом, что шефу не до смеха.

Гамаш продолжал разглядывать Бовуара:

– Ты здоров?

– Господи, стоит мне разозлиться или расстроиться, вы тут же – здоров ли я. Вы думаете, я настолько хрупок?

– Ты здоров? – повторил Гамаш и замолчал в ожидании.

– Да, черт побери, – сказал Бовуар и тяжело прислонился к стене. – Я просто устал, и монастырь у меня вот уже где. А тут еще монах-доминиканец. У меня такое чувство, будто я высадился на другой планете. Они говорят на том же языке, что и я, но мне не дает покоя мысль, что они говорят больше, чем я понимаю. Вам такое знакомо?

– Знакомо.

Гамаш пристально посмотрел на Бовуара и отвернулся. Решил не развивать дальше эту тему. Но что-то явно не давало покоя его заместителю. И Гамаш догадывался что. Или кто.

Гамаш знал, что старший суперинтендант Франкёр не обделен талантами. Недооценивать его – страшная ошибка. За годы совместной работы Гамаш понял, что главный дар Франкёра – умение пробуждать в людях самые темные их стороны.

Как бы хорошо ты ни прятал своего демона, Франкёр умел его найти. И выпустить на свободу. И подкармливать. Пока тот не пожирал хозяина, не заменял его собой.

Гамаш видел, как достойные молодые полицейские превращаются в циничных, злобных, самодовольных головорезов. Молодые мужчины и женщины, не отягощенные грузом совести и хорошо вооруженные. И начальник, который формировал и вознаграждал их поведение.

Гамаш еще раз посмотрел на Бовуара – тот стоял, в изнеможении прислонясь к стене. Франкёр каким-то образом проник в Жана Ги. Нашел входное отверстие раны и посыпал ее солью. Чтобы нанести еще больший ущерб.

И Гамаш допустил это.

Он почувствовал, как его самого почти трясет от бешенства. В мгновение ока ярость овладела им целиком – от сердца до конечностей; пальцы сжались в кулаки, костяшки побелели.

Бешенство изменяло его существо, и Гамаш прикладывал неимоверные усилия, чтобы взять себя в руки. Уцепиться за свое человеческое «я» и вернуть себя в нормальное состояние.

«Франкёр не получит моего инспектора, – поклялся Гамаш. – Здесь его козни будут пресечены».

Он встал, извинился и вышел из комнаты.

Бовуар подождал несколько минут, думая, что шеф пошел в туалет. Однако тот не возвращался, и Жан Ги вышел в коридор, посмотрел в одну сторону, в другую.

В коридоре стояла полутьма, лампочки еле светились. Он заглянул в туалет. Гамаша там не обнаружилось. Постучал в келью шефа, а когда ответа не последовало, открыл дверь и просунул голову внутрь. Но и здесь он не увидел Гамаша.

Бовуар растерялся. Что делать дальше?

Можно отправить послание Анни.

Он вытащил телефон, проверил. От нее пришла эсэмэска. Она отправилась обедать с друзьями, свяжется с ним, когда вернется.

Веселое короткое послание.

Слишком короткое, подумал Бовуар. Слишком веселое? Не кроется ли в нем некой нарочитой резкости? Пренебрежительности? Ее мало волнует, что уже вечер, а он все еще занят делами службы. Что он не может бросить все и отправиться выпивать и обедать с друзьями.

Бовуар остановился в полутемном коридоре и представил Анни в ее любимом ресторанчике на авеню Лорье. Молодые профессионалы, потягивающие эль из малых пивоварен. Анни смеется. Ей хорошо. Без него.

– Хотите узнать, что за ним?

Франкёр вздрогнул от удивления, причиной которого стал не столько вопрос, сколько голос. Суперинтендант разглядывал плиту, посвященную святому Гильберту, когда Гамаш беззвучно подошел к нему сзади.

Не дожидаясь ответа, Гамаш нажал на двух волков. Дверь распахнулась, и перед ними открылся потайной зал для собраний братии.

– Я думаю, нам нужно войти, верно?

Гамаш положил свою большую, твердую руку на плечо Франкёра и направил его внутрь. Даже не подтолкнул. Ни один свидетель не мог бы показать, что тут совершилось насилие. Но они оба знали, что Франкёр не имел ни мысли, ни желания входить туда.

Гамаш закрыл дверь и повернулся к начальнику:

– Что вы наговорили инспектору Бовуару?

– Выпустите меня отсюда, Арман.

Гамаш смерил его взглядом:

– Вы меня боитесь?

– С какой стати? – ответил Франкёр, хотя вид у него был слегка испуганный.

– Хотите уйти?

Голос Гамаша звучал дружески, но глаза смотрели холодно и жестко. И, судя по его позе у двери, уступать он не собирался.

– Почему бы вам не спросить, что произошло, у вашего инспектора?

– Прекратите эти школьные игры, Сильвен. Вы приехали с какой-то целью. Я думал, чтобы нагадить мне, но нет, вы имели другую цель, верно? Вы понимали, что я для вас слишком крепкий орешек. Поэтому вы занялись инспектором Бовуаром. Он все еще не восстановился после ранения…

Франкёр издал пренебрежительное фырканье.

– Вы не верите? – спросил Гамаш.

– Все остальные восстановились. Да бога ради, даже вы восстановились. Вы возитесь с ним, как с ребенком.

– Я не собираюсь обсуждать с вами состояние здоровья инспектора. Он все еще восстанавливается, но он вовсе не так уязвим, как вы думаете. Вы всегда недооценивали людей, Сильвен. Вы считаете, что они слабее, чем на самом деле. А себя считаете сильнее, чем вы есть.

– Так в чем дело, Арман? Бовуар все еще ранен? Или он сильнее, чем я думаю? Ваших подчиненных вам, может, и удается водить за нос, гипнотизировать вашим враньем. Но со мной этот номер не пройдет.

– Да. Мы слишком хорошо знаем друг друга, – сказал Гамаш.

Франкёр двинулся по залу, меряя его шагами, но Гамаш остался на прежнем месте у двери. Он не сводил глаз со старшего суперинтенданта.

– Что вы сказали инспектору Бовуару? – повторил Гамаш.

– Ровно то же, что и вам. Что вы некомпетентны и он заслуживает лучшего.

Гамаш внимательно посмотрел на вышагивающего по залу суперинтенданта:

– И не только это. Скажите мне, что еще.

Франкёр остановился и повернулся лицом к Гамашу:

– Бог ты мой, Бовуар что-то вам наговорил, да?

Франкёр подошел вплотную к старшему инспектору, взглянул ему прямо в глаза. Какое-то время они, не мигая, смотрели друг на друга.

– Если он не восстановился от ран, то эти раны нанесли ему вы. Если он слаб, то это вы причина его слабости. Если он не чувствует себя в безопасности, то лишь потому, что вы ему угрожаете. И вы еще предъявляете мне какие-то обвинения?

Франкёр рассмеялся. Гамаш почувствовал на своем лице его горячее и влажное дыхание с запахом мяты.

И опять им овладело бешенство. Хотя он сдерживал его, оно прорывалось наружу. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, понимая, что его враг – не усмехающийся, лживый, злобный человек перед ним. Его враг – он сам. И бешенство, грозящее поглотить его целиком.

– Я не позволю вам испортить ему жизнь.

Каждое слово произносилось медленно. Отчетливо. И таким голосом, который у старшего инспектора Гамаша почти никто не слышал. Голосом, который вынудил его начальника сделать шаг назад. Согнал улыбку с его красивого лица.

– Слишком поздно, Арман, – сказал Франкёр. – Его жизнь уже испорчена. И вашими действиями, а не моими.

– Инспектор?

Брат Антуан читал в своей келье, когда услышал шаги за дверью. Он выглянул в коридор и увидел офицера Квебекской полиции, который смущенно стоял перед ним.

– У вас какой-то потерянный вид. Вы не заболели?

– Я здоров, – ответил Бовуар, которому уже надоел вопрос о его здоровье.

Они замерли, глядя в глаза друг другу. Два очень похожих человека. Одного возраста, роста, сложения. Выросшие в одном районе.

Но один стал служить Господу и навсегда остался в церкви. А другой оставил церковь и больше туда не возвращался. И вот они смотрят друг на друга в тускло освещенном коридоре монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Бовуар подошел к монаху:

– Этот приезжий… Доминиканец… Расскажите, что с ним за история.

Брат Антуан оглядел коридор и вернулся в свою келью. Бовуар последовал за ним.

Келья точь-в-точь походила на ту, в которой поселили Бовуара, правда с небольшими персональными особенностями. В углу лежали свитер и брюки. У кровати стояла стопка книг. Биография Мориса Ришара[62]. Руководство по игре в хоккей, написанное бывшим тренером «Монреаль канадиенс». Бовуар тоже обзавелся этими книгами. Большинству квебекцев хоккей заменил религию.

Но здесь религия и хоккей сосуществовали. Сверху книжной стопки лежала книга об истории монастыря в каком-то месте под названием Солем и Библия.

– Брат Себастьян, – заговорил брат Антуан не то чтобы совсем

шепотом, но так тихо, что Бовуару пришлось сосредоточиться, чтобы его услышать, – служит в одной ватиканской конгрегации, которая прежде называлась инквизицией.

– Это я уже понял. Но что он делает здесь?

– Он сказал, что приехал в связи с убийством приора, – с несчастным видом проговорил брат Антуан.

– Но вы ему не поверили. Так?

Брат Антуан слегка усмехнулся:

– Неужели это настолько очевидно?

– Нет, просто я настолько наблюдателен.

Антуан фыркнул, но сразу же посерьезнел:

– Ватикан может присылать священника для расследования обстоятельств, которые привели к убийству в монастыре. Он не разыскивает убийцу, он выясняет, почему климат в монастыре настолько ухудшился, что дошло до убийства.

– Но мы уже знаем, что не так в вашем монастыре, – сказал Бовуар. – Вы рассорились из-за песнопений и записи.

– Но почему мы рассорились? – спросил брат Антуан. Он искренне разволновался. – Я молился неделями, месяцами. Почему мы не решили проблему? Что у нас не задалось? И почему мы не заметили, что один из нас не только способен на убийство, но и замыслил его?

Увидев смятение и боль в глазах монаха, Бовуар почувствовал потребность помочь ему. Ответить на его вопрос. Вот только ответа он не знал. Он не знал, почему монахи обратились друг против друга. Он понятия не имел, почему они вообще здесь оказались. Почему пожелали стать монахами.

– Вы говорите, что Ватикан может присылать священника, но, кажется, у вас остались сомнения. Вы думаете, он не тот, за кого себя выдает?

– Нет, я считаю, он и в самом деле брат Себастьян и служит в Конгрегации доктрины веры в Риме. Просто я сомневаюсь, что он здесь из-за убийства брата Матье.

– Почему?

Бовуар сел на деревянный стул, а монах – на кровать.

– Потому что он монах, а не священник. Для такого серьезного дела они прислали бы кого-нибудь постарше. Ну и вообще… – Брат Антуан пытался найти слова, чтобы выразить не факт, а свое ощущение. Интуицию. – Ватикан довольно неповоротлив. Ничто в церкви не делается быстро. Она погрязла в традициях. Для всего есть свои процедуры.

– Даже для убийства?

Антуан снова улыбнулся:

– Если вы читали про Борджа[63], то знаете, что и на сей случай у Ватикана есть традиция. Так что да, даже для убийства. КДВ может прислать кого-нибудь, чтобы провести у нас расследование, но не так скоро. Пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем они начнут действовать. Брат Матье превратится в прах. Невероятно, чтобы Ватикан прислал человека еще до похорон приора.

– И что вы думаете?

Монах погрузился в размышления, потом покачал головой:

– Я весь вечер пытался разгадать эту загадку.

– Мы тоже, – признался Бовуар и тут же пожалел.

Чем меньше подозреваемый знает о расследовании, тем лучше. Иногда они специально подбрасывали информацию, чтобы выбить подозреваемого из колеи. Но всегда делали это преднамеренно. А сейчас он допустил промах.

– У меня тоже есть эти книги, – сказал он в надежде замять свою осечку.

– О хоккее? Вы играете?

– Центральный нападающий. А вы?

– И я тоже центровой, но должен признать, на эту роль почти не нашлось претендентов, когда брат Юсташ умер от старости.

Бовуар рассмеялся, потом вздохнул.

– Хотите поговорить об этом? – спросил брат Антуан.

– О чем?

– О том, что вас гложет.

– Меня гложет одно: поскорее найти убийцу и уехать отсюда.

– Вам не нравится наш монастырь?

– Конечно. А вам нравится?

– Если бы не нравился, я бы здесь не остался, – сказал брат Антуан. – Я люблю Сен-Жильбер.

Это простое утверждение повергло Бовуара в изумление. Брат Антуан сказал это точно так же, как Бовуар мог бы сказать об Анни. Без смущения, без двусмысленности. Простая констатация. Как то, что существуют небеса и камни. Это было естественно и окончательно.

– За что?

Бовуар подался вперед. Ему давно хотелось задать этот вопрос монаху с таким прекрасным голосом. С фигурой, так похожей на фигуру самого Бовуара.

– За что я его люблю? Да разве его можно не любить? – Брат Антуан

оглядел келью, словно номер в отеле «Риц» в Монреале. – Зимой мы играем в хоккей, летом удим рыбу, плаваем в озере и собираем ягоды. Я знаю, что принесет каждый новый день, и в то же время каждый новый день становится приключением. Я живу среди людей моей веры, но все они такие разные, а потому бесконечно обаятельные. Я живу в доме моего Отца и учусь у моих братьев. И я пою слова Господни голосом Господа.

Монах наклонился вперед, уперев сильные руки в колени:

– Знаете, что я здесь обрел?

Бовуар отрицательно покачал головой.

– Я обрел покой.

Бовуар почувствовал, как жжет у него в глазах, и откинулся на спинку стула, стыдясь за себя.

– Почему вы расследуете убийства? – спросил брат Антуан.

– Потому что умею.

– А почему вы умеете?

– Не знаю.

– Да нет же, знаете. И можете мне сказать.

– Не знаю, – отрезал Бовуар. – Расследовать убийства лучше, чем сидеть на заднице или стоять на коленях и молиться какому-то облаку в небесах. Я, по крайней мере, делаю что-то полезное.

– Вам приходилось убивать? – ровным голосом спросил монах.

Бовуар, пораженный, кивнул.

– А мне – нет, – сказал брат Антуан.

– А вам приходилось кого-нибудь спасать? – спросил Бовуар.

Брат Антуан посмотрел на него удивленно и, помолчав, отрицательно покачал головой.

– А мне приходилось, – сказал Бовуар и встал. – Продолжайте петь, mon frère. Продолжайте молиться. Продолжайте стоять на коленях. А другие пусть встают и спасают.

Бовуар вышел из кельи и уже проделал полпути до кабинета приора, когда услышал голос брата Антуана:

– Нет, я спас одного человека.

Бовуар остановился, повернулся. Монах стоял в тусклом коридоре рядом со своей кельей.

– Себя самого.

Жан Ги фыркнул, покачал головой и отвернулся от брата Антуана.

Он не поверил ни одному его слову. Определенно не поверил, когда монах говорил о своей любви к монастырю. Как можно любить груду камней и старых костей, громыхающих внутри? Как можно прятаться

от мира? Прятаться от здравого смысла?

Как можно любить такое пение, смертельно скучную музыку или Бога, который предъявляет им такие требования? И он был уверен, что брат Антуан солгал, когда сказал, что никого не убивал.

Войдя в кабинет приора, Жан Ги Бовуар прислонился к стене, потом согнулся, уперев руки в колени. Глубоко вдохнул. Выдохнул полной грудью.

Старший инспектор Гамаш вернулся в кабинет приора с новым стулом.

– Salut, – сказал он Бовуару, потом выставил сломанный стул в коридор, надеясь, что монаху-плотнику удастся его починить.

Сам Гамаш собирался ремонтировать кое-что другое.

Он показал на стул, и Бовуар сел.

– Что тебе сказал суперинтендант Франкёр?

Бовуар ошеломленно посмотрел на шефа:

– Я ж вам говорил – всякую ерунду о вашей некомпетентности. Будто я и без него не в курсе.

Но его попытка пошутить растаяла в воздухе. Даже намека на улыбку не появилось на лице Гамаша. Он не отвел глаз от своего заместителя.

– Но это не все, – заговорил старший инспектор, какое-то время посверлив Бовуара взглядом. – Франкёр сказал еще кое-что. Или попытался исподволь внушить тебе. Ты должен довериться мне, Жан Ги.

– Больше ничего.

Гамаш посмотрел на усталого, измотанного Бовуара и понял, что его необходимо отправить назад в Монреаль. Он найдет какой-нибудь предлог. Пусть Жан Ги отвезет криминалистам орудие убийства и пергамент, найденный на теле. Теперь, когда копии сняты, оригинал может отправиться в лабораторию.

Да, имелось немало основательных причин отправить Жана Ги назад в Монреаль. Включая и истинные.

– Я думаю, что люди, которым небезразличны их ближние, хотят их защитить, – сказал Гамаш, осторожно выбирая слова. – Но иногда, становясь перед вратарем в хоккее или футболе, ты их не защищаешь, а только мешаешь им увидеть опасность. Наносишь вред. Из-за непонимания.

Гамаш чуть подался вперед, а Бовуар на такую же долю дюйма откинулся назад.

– Я знаю, ты пытаешься защитить меня, Жан Ги. И я благодарен тебе. Но ты должен сказать мне правду.

– А вы, сэр? Вы говорите мне правду?

– О чем?

– О видео в Сети. О том, как произошла утечка. Официальный отчет – всего лишь прикрытие. Утечка произошла изнутри. Но вы вроде бы поверили официальному отчету. Поверили в какого-то долбаного хакера.

– Так вот оно в чем дело? Значит, суперинтендант Франкёр что-то говорил тебе про видео в Сети?

– Нет, вопрос мой.

– И я уже отвечал тебе на него. – Он внимательно посмотрел на Бовуара. – Откуда он вдруг взялся, этот вопрос? Что ты хочешь узнать?

– Что вы не верите в отчет комиссии. Что вы ведете свое частное расследование. Что вы найдете виновных. Убитые были нашими людьми. Вашими людьми. Этого нельзя так оставить.

У него сорвался голос. Бовуар больше не контролировал себя.

Конечно, Бовуар был прав. Утечка произошла по вине кого-то из своих. Гамаш с самого начала знал это. Но он предпочел, по крайней мере официально, принять выводы внутреннего расследования о том, что какому-то парнишке-хакеру просто повезло и он нашел видео той операции в файлах Квебекской полиции.

Отчет написали нелепый. Но Гамаш сказал своим подчиненным, включая и Бовуара, что они должны согласиться с официальными выводами. Все забыть. Продолжать работу.

И насколько ему было известно, все подчинились приказу. Все, кроме Бовуара.

Гамаш колебался, стоит ли сообщать Бовуару, что в течение последних восьми месяцев он и еще несколько старших офицеров с помощью нескольких людей извне тщательно, тайно, по-тихому расследовали дело об утечке видео.

«Бедствие некое близится ныне».

Но в случае с Квебекской полицией оно уже пришло, уже растлевало эту организацию изнутри в течение нескольких лет. Сверху донизу.

Сильвена Франкёра отправили в монастырь для сбора информации. Но не об убийстве приора. Они хотели знать, что известно Гамашу. Или о чем он догадывается.

И Франкёр попытался закинуть удочку через Бовуара. Он провоцировал его, прощупывал, старался вывести из себя.

Гамаш снова почувствовал, как пламя бешенства лизнуло его.

Ему хотелось рассказать обо всем Бовуару, но он порадовался, что не сделал этого прежде. Франкёр на время отвяжется от Жана Ги,

удовлетворившись тем, что если Гамаш и затевает что-то, то без участия Бовуара. Франкёр удовлетворится тем, что выжал из Бовуара все. Но у Гамаша возник собственный вопрос: а кто послал старшего суперинтенданта?

Кто был боссом главного босса?

– Итак? – спросил Бовуар.

– Я тебе уже отвечал, Жан Ги, – сказал Гамаш. – Но если ты хочешь, я буду рад поговорить еще раз.

Он посмотрел прямо в глаза Бовуару поверх своих полукруглых очков.

Жан Ги часто видел такой взгляд шефа. В домиках трапперов. В маленьких грязных номерах мотелей. В ресторанах и бистро. Когда перед ними стояли тарелки с бургерами и картошкой фри. И включенные ноутбуки.

Они разговаривали о расследуемом деле. Обсуждали подозреваемых, вещдоки. Предлагали мысли, соображения, догадки.

Более десяти лет смотрел Бовуар в эти глаза над очками. И хотя он не всегда соглашался с шефом, но неизменно его уважал. Даже любил. Любил так, как могут любить только братья по оружию.

Арман Гамаш для него старший инспектор. Его босс. Его начальник. Наставник. И не только.

Бог даст, Гамаш будет вот так же смотреть на своих внуков. Детей Жана Ги. Детей Анни.

Бовуар видел боль в знакомых глазах. И понимал, что именно он стал ее причиной.

– Забудьте все, что я тут наговорил, – сказал Бовуар. – Это пустой вопрос. Не имеет значения, через кого утекло видео. Ведь верно?

Бовуар не хотел, но последние его слова сами собой прозвучали с умоляющей интонацией.

Гамаш тяжело откинулся на спинку стула и несколько секунд смотрел на своего помощника.

– Если хочешь поговорить, я готов.

Но Бовуар видел, чего стоили Гамашу эти слова. Бовуар знал, что он не единственный пострадал на фабрике в тот день, зафиксированный на видео, вывешенном в Сети. Бовуар знал, что он не единственный нес на себе бремя выживания.

– Вред уже нанесен. Вы правы, мы должны жить дальше.

Гамаш снял очки и пристально посмотрел на Бовуара:

– Мне нужно, чтобы ты поверил кое во что, Жан Ги. Кто бы ни вывесил ролик с фабрики, настанет день – и он ответит за свой

поступок.

– Ответит не перед нами?

– У нас у самих хватает работы, и, если откровенно, мне она дается нелегко.

Шеф улыбнулся, но его улыбка не смогла скрыть настороженности в карих глазах. Чем скорее Бовуар вернется в Монреаль, тем лучше. Уже опустилась темнота, но он поговорит с настоятелем и наутро первым делом отправит Бовуара назад.

Гамаш подтянул к себе ноутбук:

– Запустить бы нам эту штуку.

– Нет! – выпалил Бовуар.

Он перегнулся через стол и закрыл рукой экран. Шеф удивленно посмотрел на него, и Бовуар улыбнулся:

– Извините, но дело в том, что я работал на нем сегодня и, кажется, нашел, в чем проблема.

– И ты не хочешь, чтобы я тут все испортил?

– Именно.

Бовуар надеялся, что его голос прозвучал легко. Что его объяснение приемлемо. Но больше всего он надеялся, что Гамаш оставит компьютер в покое.

И Гамаш оставил. А Бовуар развернул его монитором к себе.

Кризиса удалось избежать. Он откинулся на спинку стула. Хроническая боль перешла в резкий спазм, который пробежал по костям Бовуара, по костному мозгу. Словно по коридорам, разносившим боль во все части тела.

Он не мог дождаться, когда останется в кабинете один. С ноутбуком. И дивиди, привезенным суперинтендантом. И таблетками, оставленными доктором. Он уже мечтал о следующем богослужении. Чтобы все ушли в Благодатную церковь, а он остался здесь.

Следующие двадцать минут они обсуждали ход следствия, выдвигали гипотезы, отвергали. Наконец Гамаш поднялся:

– Мне нужно прогуляться. Не составишь компанию?

У Бовуара упало сердце, но он кивнул и последовал за Гамашем в коридор.

Они повернули к Благодатной церкви, и вдруг старший инспектор резко остановился и уставился на электрическую лампочку на стене.

– Знаешь, Жан Ги, когда мы только вошли сюда, я удивился, что у них тут есть электричество.

– У них есть солнечные батареи, а еще гидрогенераторы в речушке

неподалеку. Мне брат Раймон сказал. Хотите узнать, как это работает? Он меня просветил.

– Может, на мой день рождения. В качестве персонального подарка, – улыбнулся старший инспектор. – А сейчас меня вот что интересует: как сюда подается электричество? – Он показал на бра.

– Не понимаю, шеф. А как электричество попадает в любой прибор? По проводам.

– Вот именно. Но где эти провода? И где трубы новой системы отопления? И где водопроводные трубы?

– А где они в любом здании? – сказал Бовуар, спрашивая себя, не сошел ли шеф с ума. – За стеной.

– Но на плане только одна стена. Гильбертинцы строили монастырь – его фундамент и стены – несколько десятилетий. Создали настоящее инженерное чудо. Но не будешь же ты утверждать, что они предусмотрели вероятность прокладки геотермального отопления, водопровода и всего остального. – Он опять показал на лампочку.

– Да, задали вы мне задачу, – признал Бовуар.

Гамаш продолжил:

– В твоем доме и в моем есть две стены. Внешняя облицованная и внутренняя оштукатуренная. А между ними изоляция и проводка. Трубы. Вентиляция.

И тут Бовуара осенило.

– Они не могли провести провода и трубы через цельную стену. Значит, это не внешняя стена. – Он показал на плитняк. – За ней есть еще одна.

– Я тоже думаю, что тут должна быть еще одна стена. Стена, которую ты осматривал, возможно, вовсе не та, что начала крошиться. Вода и корни подтачивают наружную стену. А внутри повреждения пока незаметны.

Два слоя, подумал Бовуар, когда они двинулись дальше в Благодатную церковь. За благообразным публичным лицом – крошащаяся, разрушающаяся стена.

Он совершил ошибку. Проявил невнимательность. И Гамаш знал это.

– Excusez-moi, – раздался чей-то певучий голос, когда двое полицейских пересекали Благодатную церковь.

Они замедлили шаг и повернулись.

– Сюда.

Гамаш и Бовуар посмотрели направо и там, в сумраке, увидели доминиканца. Рядом с памятной плитой, посвященной Гильберту Семпрингхемскому.

Двое полицейских подошли к нему.

– Вы, кажется, куда-то спешили, – сказал брат Себастьян. – Если вам сейчас неудобно, давайте поговорим позже.

– Мы всегда куда-нибудь спешим, mon frère, – ответил Гамаш. – А если нам некуда торопиться, то мы все равно умеем делать вид, будто спешим.

Доминиканец рассмеялся:

– То же самое и с монахами. Если пройти по Ватикану, то мы всегда с деловым видом спешим по коридорам. По большей части мы ищем туалет. В Ватикане печальное сочетание великолепного итальянского кофе и огромных расстояний между туалетами. Собор Святого Петра строили блестящие архитекторы, но туалетам не уделили должного внимания. Суперинтендант Франкёр рассказал мне в нескольких словах о смерти приора. Я подумал, может быть, вы расскажете больше. У меня такое впечатление, что хотя месье Франкёр и старший по чину, но расследование ведете вы.

– Справедливое утверждение, – согласился Гамаш. – Какие у вас вопросы?

Но монах вместо ответа повернулся к памятной плите:

– Гильберт прожил долгую жизнь. Здесь интересное описание. – Он показал на надпись. – Мне кажется странным, что сами гильбертинцы, предположительно изготовившие эту плиту, выставили Гильберта в таком скучном виде. И лишь в самом конце, словно только тогда и вспомнили, сообщили, что он защищал своего архиепископа. – Брат Себастьян посмотрел на Гамаша. – Вы знаете какого?

– Какого архиепископа? Томаса Бекета.

Брат Себастьян кивнул. В неясном свете ламп, висящих высоко среди балок, тени внизу искажались. Глаза превращались в безрадостные дыры, носы удлинялись, теряли свою форму.

Доминиканец улыбнулся во весь рот:

– Ничего подобного Гильберт больше не делал. Хотел бы я знать, что его подвигло на это.

– А я бы хотел знать, mon frère, – без улыбки сказал Гамаш, – что на самом деле привело сюда вас.

Этот вопрос позабавил монаха – брат Себастьян уставился на Гамаша, потом рассмеялся:

– Думаю, нам есть о чем поговорить, месье. Зайдем в зал братии? Там нас не потревожат.

Гамаш знал, что вход в зал располагается за памятной плитой. Знал и Бовуар. И похоже, монах тоже знал. Но вместо того чтобы отыскать

потайной запор и открыть дверь, брат Себастьян ждал, когда ее откроет кто-нибудь из полицейских.

Старший инспектор смерил монаха взглядом. Тот дружески посмотрел на него в ответ. И опять Гамашу пришло на ум слово «безобидный». Довольный своей работой. Довольный жизнью. И определенно довольный тем, что услышал колокола «Ангелус» и нашел уединенный монастырь.

Построенный почти четыре века назад отцом Клеманом, спасавшимся от инквизиции. Он затерялся в канадской глуши, и мир уверовал, что последний гильбертинец соборовался много столетий назад.

Даже церковь считала, что ордена больше не существует.

Но он сохранился. На протяжении веков монахи жили на берегах сохранившего девственную чистоту озера и поклонялись Богу. Молились Ему. Пели для Него. И вели спокойную, созерцательную жизнь.

Но никогда не забывали о том, что заставило их поселиться здесь.

Страх. Тревога.

Словно одной высоты и толщины стен было недостаточно, отец Клеман предпринял еще одну меру предосторожности. Построил потайное помещение. Для собраний братии. На всякий случай.

И вот сегодня такой случай произошел. Инквизиция в лице приятного монаха в белой одежде нашла гильбертинцев.

«Наконец-то я нашел вас», – сказал брат Себастьян, переступив порог.

Наконец-то, подумал Гамаш.

А теперь доминиканец из Конгрегации доктрины веры просит полицейских показать ему потайную дверь. Открыть ее. Выдать место последнего укрытия гильбертинцев.

Гамаш знал, что нужды в таких дверях больше нет. Тайна перестала быть тайной. Никто больше не прятался. И потребности такой не испытывал. Инквизиция прекратила существование. Но при всем при том старший инспектор Гамаш не хотел становиться человеком, который четыре столетия спустя откроет дверь для пса Господня.

Этот поток мыслей в одно мгновение пронесся в мозгу Гамаша, но, прежде чем он успел вымолвить хоть слово, вперед вышел Бовуар и нажал на изображение переплетенных волков.

Раздался щелчок, и плита открылась.

– Merci, – сказал доминиканец. – А я сомневался, знаете вы или нет.

Бовуар смерил его пренебрежительным взглядом. Не хватало еще, чтобы какой-то юнец недооценивал их.

Гамаш отошел в сторону и жестом пригласил монаха идти первым. Он вошли в зал собраний и сели на каменную скамью, проходящую вдоль

стен. Гамаш ждал. Он не собирался первым начинать разговор. Они сидели молча. Примерно минуту спустя Бовуар начал немного нервничать.

Но шеф сидел абсолютно неподвижно. Невозмутимо.

Затем монах начал издавать тихие звуки. Шефу понадобилась всего пара секунд, чтобы узнать их. Брат Себастьян напевал ту самую мелодию, которую Гамаш напевал за обедом. Только звучала она иначе. Вероятно, все дело было в акустике помещения. Но в глубине души Гамаш знал, что вовсе не в этом.

Он повернулся к монаху. Брат Себастьян сидел с закрытыми глазами, его прекрасные светлые ресницы лежали на бледных щеках. А на лице играла улыбка.

Казалось, что поют сами камни. Как будто монах уговорил воздух, стены, ткань своей мантии – и они запели. У Гамаша возникло очень странное ощущение, что музыка исходит из него самого. Словно музыка стала частью его, а он – ее частью.

Похоже было, что сначала все разломали, потом соединили, смешали и из смеси родился звук.

Это ощущение было очень личным, очень проникновенным, чуть ли не пугающим. Оно и в самом деле было бы пугающим, если бы музыка не звучала так прекрасно. И успокаивающе.

Наконец доминиканец перестал петь, открыл глаза и посмотрел на Гамаша:

– Я бы хотел знать, старший инспектор, откуда вам известна эта мелодия.

Глава двадцать девятая

– Мне нужно поговорить с вами, отец настоятель, – сказал брат Антуан.

Отец Филипп, сидевший у себя в кабинете, через дверь услышал просьбу брата Антуана. Или требование. Обычно до него доносился звук удара металлической колотушки по дереву. Но ситуация резко изменилась. Колотушку назвали орудием убийства и изъяли.

А еще пошли разговоры о том, что приор был жив, когда Симон его нашел. И Симон успел его соборовать. Эта весть стала для отца Филиппа огромным душевным утешением. Правда, настоятель не мог понять, почему Симон не сказал о соборовании раньше.

А потом он узнал.

Матье не только был жив. Он говорил. Произнес одно слово. Симону.

«Гомо».

Отца Филиппа, как и всех остальных, ошеломило сообщение Симона. Почему брат Матье, которому оставалось произнести лишь одно слово в мире живых, сказал «гомо»?

Отец Филипп знал о подозрениях среди братии. Якобы Матье намекал на свою сексуальную ориентацию. И просил прощения. Какая-то крайняя форма набожности. Но настоятель не верил в эту гипотезу.

И в гомосексуализм Матье. Вполне возможно, что Матье был гомосексуалом. Но отец Филипп на протяжении многих лет исповедовал его, и Матье ни разу не обмолвился о своем грехе. Не исключено, конечно, что его гомосексуальность имела латентную форму. Глубоко скрытую. И прорвалась на поверхность только после удара по голове.

«Гомо».

По словам Симона, Матье откашлялся, пытаясь произнести последнее слово, и наконец прохрипел: «гомо».

Настоятель пытался сделать то же самое. Откашливался. Произносил «гомо».

Повторял снова и снова.

Пока не решил, что понял. Понял, что сделал Матье. Что сказал. Что имел в виду.

Но тут вошел брат Антуан и склонился перед настоятелем.

– Да, сын мой. Что ты хотел? – Отец Филипп поднялся.

– Это насчет брата Себастьяна. Нашего гостя. Он говорит, что его

прислали из Рима, когда узнали о смерти приора.

– Да.

Настоятель показал на стул рядом с собой, и брат Антуан сел. Регент выглядел взволнованным и говорил, понизив голос:

– Я не представляю, как такое могло случиться.

– Почему ты так думаешь? – спросил настоятель, хотя и сам уже догадался.

– Когда вы оповестили Ватикан?

– Я их не оповещал. Я позвонил монсеньору Дюсетту в Монреальскую архиепархию. Он сообщил архиепископу Квебекскому, а архиепископ, вероятно, сообщил в Рим.

– Но когда вы позвонили?

– Сразу же после того, как вызвал полицию.

Брат Антуан прикинул в уме:

– Значит, приблизительно в половине десятого вчера утром.

Настоятель обнаружил, что впервые за много месяцев нормально разговаривает с братом Антуаном. И тут он понял, как ему не хватало этого монаха. Его творческой мысли, его страсти, разговоров о Священном Писании и литературе. Не говоря уже о хоккее.

Но теперь прежнее начинало возвращаться, они нашли общий язык на почве смерти Матье. И прибытия доминиканца.

– Я тоже так подумал, – сказал отец Филипп и посмотрел на маленький камин в своих маленьких комнатах.

С появлением геотермального отопления потребность в каминах отпала, но настоятель придерживался традиций и предпочитал открытое окно и тепло очага.

– В Риме время на шесть часов позже нашего, – сказал настоятель. – Даже если бы они отреагировали мгновенно, мне кажется маловероятным, чтобы брат Себастьян добрался сюда так быстро.

– Именно, отец мой, – сказал Антуан. Он давно не называл так отца Филиппа, использовал в течение последних месяцев более выспреннее, формальное и холодное «отец настоятель». – И мы оба знаем, что архиепископство поспешает, как движение материков, а Рим – как эволюция.

Настоятель улыбнулся, но сразу же посерьезнел.

– Тогда зачем он здесь? – спросил брат Антуан.

– Если не из-за смерти брата Матье? – Отец Филипп встретил взволнованный взгляд Антуана. – Не знаю.

И все же он впервые за долгое время почувствовал покой в сердце.

Почувствовал, как смыкается трещина, которая причинила ему столько боли.

– Я бы хотел услышать твои соображения кое о чем, Антуан.

– Конечно.

– Брат Симон говорит, что Матье перед смертью произнес одно слово. И я уверен, что ты уже знаешь об этом.

– Да, слышал.

– Он произнес «гомо». – Настоятель внимательно смотрел на регента, но тот никак не прореагировал. Монахи выучились и привыкли скрывать свои чувства и мысли. – Ты не знаешь, что он мог иметь в виду?

Антуан помолчал несколько мгновений, отвел глаза. В том месте, где люди привыкли к молчанию, глаза говорят о многом. Отведенные в сторону глаза – важный знак. Но Антуан нашел в себе силы снова посмотреть в глаза настоятелю:

– Братья думают, что он имел в виду сексуальность…

Брат Антуан явно хотел сказать больше, а потому настоятель переплел пальцы у себя на коленях и стал ждать.

– …и еще думают, что он намекал на конкретные отношения с вами.

Глаза настоятеля открылись чуть шире, когда он услышал столь откровенные слова. Мгновение спустя он кивнул:

– Я понимаю ход их мыслей. Мы с Матье многие годы приятельствовали. Я очень любил его. И всегда буду любить. А ты, Антуан? Что ты думаешь?

– Я тоже его любил. Как брата. Мне лично он никогда не давал никаких оснований полагать, что он чувствовал что-нибудь иное по отношению к вам или кому другому.

– Мне кажется, я знаю, что хотел сказать Матье. Симон говорил, что он откашливался, прежде чем произнести слово «гомо». Я попытался несколько раз…

На лице брата Антуана появилось удивленное и в то же время восторженное выражение.

– …и вот к чему я в конечном счете пришел. Вот что, вероятно, пытался сказать Матье.

Настоятель откашлялся или сделал вид, что откашливается, и произнес:

– Гомо.

Антуан был потрясен:

– Bon Dieu, вы наверняка правы!

Он попробовал и сам: кашлянул и произнес «гомо».

– Но что брат Матье имел в виду? – спросил он у настоятеля.

– Не знаю.

Отец Филипп протянул правую руку ладонью вверх. И брат Антуан, поколебавшись мгновение, взял протянутую руку. Настоятель положил сверху левую и задержал ладонь брата Антуана, словно поймал птичку:

– Но я уверен, что все будет хорошо, Антуан. Все-все будет хорошо.

– Oui, mon père.

Гамаш пристально взглянул на доминиканца.

Брат Себастьян смотрел с любопытством, с большим любопытством. Но без тревоги, подумал Гамаш. Он выглядел как человек, который знает, что ответ будет, нужно только подождать.

Доминиканец нравился Гамашу. И не только он – ему нравилось большинство монахов. По крайней мере, антипатии к ним он не испытывал. Но молодой доминиканец обладал каким-то обезоруживающим свойством. Гамаш знал, что оно сильное и опасное и было бы крайне глупо позволить обезоружить себя.

Доминиканец излучал спокойствие и вызывал доверие.

И тут старший инспектор понял, что приезжий одновременно привлекает и настораживает его. Он знал, что именно такие приемы он сам использует во время расследования. Если старший инспектор расследовал поведение монахов, то монах-доминиканец расследовал поведение Гамаша. И Гамаш знал, что единственная действенная защита в таких ситуациях, как ни странно, полная откровенность.

– Вот откуда взялась мелодия, которую я напевал за обедом.

Гамаш открыл книжку медитаций, находившуюся при нем все время после убийства, и протянул пожелтевший пергамент брату Себастьяну.

Монах взял лист. Его молодым глазам не требовалась помощь, чтобы прочесть написанное даже при таком слабом освещении. Гамаш на мгновение отвернулся от монаха, чтобы взглянуть на Бовуара.

Жан Ги тоже наблюдал за доминиканцем, но какими-то остекленевшими глазами. Хотя, вероятно, такую иллюзию создавало неудачное освещение. Старший инспектор снова посмотрел на брата Себастьяна. Губы доминиканца беззвучно двигались.

– Где вы это нашли? – спросил наконец монах, оторвав на мгновение взгляд от пергамента.

– На теле брата Матье. Он словно защищал его.

Монах перекрестился. Перекрестился автоматически, но все же сумел вложить в свой жест глубинный смысл. Потом брат Себастьян глубоко,

во все легкие, вздохнул. И спросил:

– Вы знаете, что это такое, старший инспектор?

– Знаю. Невмы. – Он ткнул указательным пальцем в древние музыкальные ноты. – А текст на латыни, хотя смысла в нем, судя по всему, мало.

– В нем и в самом деле мало смысла.

– Некоторые гильбертинцы думают, что эти слова кощунственны, – сказал Гамаш. – А невмы – пародия на песнопение. Словно кто-то взял форму хорала и превратил ее в карикатуру.

– Слова дурацкие, но не оскорбительные. Я бы согласился с таким утверждением, если бы текст как-то принижал веру, но он не принижает. Да что говорить, мне кажется интересным, что в тексте ни разу не упомянуты Бог, церковь или благочестие. Похоже, автор намеренно уходил от таких тем.

– Почему?

– Не знаю, но я уверен, что это не ересь. Если ваша специализация – убийство, старший инспектор, то мое – ересь. Именно этим среди прочего и занимается Конгрегация доктрины веры. Мы преследуем ересь и еретиков.

– И след привел вас сюда?

Доминиканец взвесил вопрос. Точнее, взвесил ответ.

– Это была долгая охота, десятки тысяч миль и сотни лет. Отец Клеман правильно сделал, что уехал. В архивах инквизиции имеется декларация, подписанная самим Великим инквизитором; она предписывает провести расследование деятельности гильбертинцев.

– Но зачем? – спросил Бовуар, пытаясь сосредоточиться.

Ему казалось, что это сродни расследованию деятельности зайчиков и котят.

– Затем, что их основатель – Гильберт Семпрингхемский.

– Их собирались расследовать за непроходимую скуку? – спросил Бовуар.

Брат Себастьян захохотал, но сразу оборвал себя:

– Нет. За непроходимую преданность. Таков был один из парадоксов инквизиции: крайние преданность и благочестие оказываются под подозрением.

– Почему? – спросил Бовуар.

– Потому что их невозможно контролировать. Люди, которые беззаветно верят в Бога и преданы своему настоятелю и его приказам, не склонятся перед волей инквизиции или инквизиторов. Они слишком

сильны.

– Значит, если Гильберт защищал своего архиепископа, он казался подозрительным? – спросил Гамаш, пытаясь следовать лабиринтами церковной логики. – Но Гильберт жил за шестьсот лет до инквизиции. И он защищал церковь от светских властей. Я бы скорее понял, если бы церковь объявила его героем, а не подозреваемым. Пусть и несколько столетий спустя.

– Шестьсот лет – ничто для организации, построенной на событиях тысячелетней давности, – сказал Себастьян. – И любой, кто возражает, становится объектом преследования. Вы должны это знать, старший инспектор.

Гамаш смерил его проницательным взглядом, но лицо монаха оставалось бесстрастным. Никакого скрытого смысла его слова не несли. Как и предостережения.

– Если бы гильбертинцы не исчезли, они бы повторили путь катаров, – продолжил доминиканец.

– А это еще кто такие? – спросил Бовуар.

Но ему хватило одного взгляда на лицо шефа, чтобы понять: вряд ли речь идет о средиземноморском клубе.

– Их сожгли заживо, – сказал брат Себастьян.

– Всех? – спросил Бовуар, чье лицо казалось серым в сумеречном свете.

Монах кивнул:

– Всех: мужчин, женщин и детей.

– За что?

– Церковь обвинила их в свободомыслии, в слишком большой независимости. А они становились все влиятельнее. Катаров называли «добрыми людьми». А добрые люди всегда представляют угрозу для недобрых.

– И церковь их убила?

– Но сначала попыталась наставить на путь истинный, – сказал брат Себастьян.

– Разве святой Доминик, основатель вашего ордена, не говорил, что катары не являются истинными католиками? – спросил Гамаш.

Себастьян кивнул:

– Но приказ уничтожить их пришел несколько столетий спустя. – Монах немного помолчал, а когда заговорил вновь, голос его зазвучал тихо, но отчетливо: – Многих сначала искалечили и отправили назад, чтобы напугать остальных, но тем самым лишь укрепили твердость катаров.

Их вожди сдались, чтобы умиротворить церковь, но их расчет не оправдался. Убили всех. Даже людей, случайно очутившихся в том краю. Невинных. Когда один из солдат спросил, как отличать их от катаров, ему сказали, чтобы он убивал всех подряд, а там Господь разберется.

Посмотреть на брата Себастьяна, так он будто видел те события своими глазами. Присутствовал. И Гамаш задумался: а по какую сторону монастырских стен находился бы молодой доминиканец из Конгрегации доктрины веры?

– И то же самое инквизиция сделала бы с гильбертинцами? – спросил Бовуар.

Он больше не выглядел ошеломленным. Монах вернул Бовуара из его воспоминаний к реальности.

– Трудно сказать, – ответил Себастьян, хотя его слова казались скорее благим пожеланием, чем реальностью. – Но отец Клеман поступил мудро, что уехал. И мудро, что спрятался.

Себастьян еще раз глубоко вздохнул.

– Это не ересь, – сказал он, взглянув на пергамент. – Здесь говорится о бананах, а рефрен – «Non sum pisces».

Гамаш и Бовуар посмотрели на него с недоумением.

– «Я не рыба», – перевел доминиканец.

Гамаш улыбнулся, а Бовуар так просто обалдел.

– Значит, не ересь? – уточнил старший инспектор.

– Удивительно красивая мелодия. Это песнопение, хотя и не григорианское. Здесь используются все правила, но чуть измененные, словно это совершенно новое образование, – он постучал по пергаменту, – основанное на старом фундаменте.

Глаза его возбужденно горели. На лице снова засветилась улыбка.

– Я думаю, это ни в коей мере не карикатура на григорианские песнопения. Напротив, автор пытался воздать должное песнопениям, даже выразить им уважение. Композитор использовал невмы, но таким образом, с каким я никогда прежде не сталкивался. Их здесь так много.

– Брат Симон снял копию с оригинала, а другие монахи попытаются перевести невмы в ноты, – объяснил Гамаш. – Он предположил, что невмы предназначались для различных голосов. Для слоев голосов. Для гармонии.

– Гм… – сказал брат Себастьян, снова забывшийся в музыке.

Его палец задержался на каком-то месте на листе пергамента. Когда он наконец передвинул руку, Гамаш увидел, что палец прежде закрывал маленькую точку в начале музыкальной записи. Перед первой невмой.

– Запись старая? – спросил Гамаш.

– Нет-нет. Ни в коем случае. Она, конечно, сделана под старину, но я удивлюсь, если узнаю, что она старее нескольких месяцев.

– И кто ее сделал?

– Вот чего я никак не могу знать. Но я утверждаю, что ее сделал тот, кто хорошо разбирается в григорианских песнопениях. В их структуре. В невмах, разумеется. Но в латыни – слабовато. – Брат Себастьян посмотрел на Гамаша с почти нескрываемым удивлением. – Возможно, вы, старший инспектор, одним из первых людей на земле слышали совершенно новую музыкальную форму. Вероятно, вы испытывали волнение.

– Откровенно говоря, да, – признал Гамаш. – Хотя я понятия не имел, что слушаю. Но после пения брат Симон сказал несколько слов о латинском тексте. Он считает, что, хотя здесь всего лишь цепочка забавных выражений, в музыкальном плане они имеют глубокий смысл.

– Он прав, – кивнул монах.

– Как это понимать? – спросил Бовуар.

– Эти слова, эти слоги соответствуют нотам. Как слова песни или стихи. Они должны иметь соответствующий размер. Эти слова соответствуют музыке, но в остальном лишены смысла.

– Так почему они здесь? – спросил Бовуар. – Они ведь должны что-то значить.

Все трое уставились на лист пергамента. Но тот ничего им не сказал.

– Теперь ваша очередь, mon frère, – сказал Гамаш. – Мы рассказали вам о музыке. Ваш черед сказать нам правду.

– О том, почему я здесь?

– Именно.

– Вы думаете, мое появление не связано с убийством приора? – спросил доминиканец.

– Я уверен. По времени не получается. Вы не смогли бы приехать из Ватикана так быстро, – сказал Гамаш. – Но даже если бы и смогли, по прибытии вы никак не продемонстрировали, что разделяете скорбь со своими собратьями. Вы всем своим видом выражали довольство. Вы приветствовали монахов так, словно искали их долгое время.

– Верно. Их искала церковь. Я упоминал об архивах инквизиции и о найденном там приказе расследовать гильбертинцев.

– Oui, – произнес Гамаш с растущей настороженностью.

– Понимаете, расследование никогда не заканчивалось. У меня есть десятки предшественников в Конгрегации, которые потратили жизнь на то, чтобы найти гильбертинцев. Когда умирал один, на его место заступал другой. Со времени их исчезновения не прошло ни года, ни дня, ни часа,

чтобы мы их не искали.

– Псы Господни, – пробормотал Гамаш.

– C’est ça. Ищейки. Мы никогда не сдаемся.

– Но прошло несколько веков, – сказал Бовуар. – Почему вы продолжали поиски? Почему это имело значение?

– Потому что церковь не любит иных тайн, кроме тех, что творит она сама.

– Или тех, что творит Бог? – спросил Гамаш.

– К ним церковь тоже относится снисходительно, – признал монах, и опять на его лице появилась обезоруживающая улыбка.

– Как же вам удалось их найти? – спросил Бовуар.

– Неужели не догадались?

– Если бы я хотел строить догадки, то догадался бы, – отрезал Бовуар.

Нахождение в закрытом пространстве действовало ему на нервы. Ему казалось, что стены смыкаются вокруг него. Что монастырь, монах, церковь гнетут его. Ему хотелось одного: выбраться отсюда. Вздохнуть поглубже. На него словно набросили удавку.

– Запись, – сказал Гамаш после недолгого размышления.

Брат Себастьян кивнул:

– Именно. Изображение на обложке компакт-диска. Стилизованное изображение монахов в профиль. Почти карикатура.

– Мантии, – вставил Гамаш.

– Oui. Черные мантии с белым капюшоном и небольшим нагрудником. Да еще драпировка на плечах. Таких одеяний нет больше ни у кого.

– «Бедствие некое близится ныне», – процитировал Гамаш. – Может быть, это и есть бедствие.

– Музыка? – спросил Бовуар.

– Современность, – ответил брат Себастьян. – Вот что приблизилось к гильбертинцам.

Гамаш кивнул:

– Много веков они распевали свои псалмы в безвестности. Но благодаря новым технологиям с их музыкой познакомился весь мир.

– И Ватикан, – подхватил брат Себастьян. – И Конгрегация доктрины веры.

Инквизиция, подумал Гамаш. Гильбертинцы наконец обнаружены. Песнопения их выдали.

Зазвучали колокола, и звон проник в зал собраний.

– Мне нужно в туалет, – проговорил Бовуар, когда они втроем вышли

из небольшого зала. – Я найду вас попозже.

– Прекрасно, – сказал Гамаш, провожая взглядом Жана Ги, который быстрым шагом двинулся по церкви.

– Вот вы где!

К ним направлялся старший суперинтендант Франкёр. Он улыбнулся монаху и небрежно кивнул Гамашу.

– Я подумал, не посидеть ли нам вместе, – предложил Франкёр.

– С удовольствием, – ответил монах. Он посмотрел на Гамаша. – Вы к нам присоединитесь?

– Я, пожалуй, посижу здесь, помолчу.

Франкёр и брат Себастьян сели на скамью впереди, а Гамаш устроился в нескольких рядах за ними.

Он понимал, что поступает невежливо. Но ему это было безразлично. Гамаш смотрел на затылок Франкёра, сверлил его глазами. Его переполняла благодарность Жану Ги за то, что тот предпочел туалет молитве. Одним соприкосновением с Франкёром меньше.

«Помоги мне, Господи», – молча молился Гамаш. Даже здесь, в месте умиротворения, он закипал яростью при одном виде Сильвена Франкёра.

Он продолжал поедать затылок Франкёра глазами, и тот поежился, словно чувствуя его взгляд. Но не повернулся. Повернулся доминиканец.

Брат Себастьян повернул голову и посмотрел в глаза Гамашу. Старший инспектор перевел взгляд с Франкёра на монаха. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом Гамаш снова вперился в суперинтенданта. Ненавязчивая просьба монаха не поколебала его.

Но наконец он закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Он снова обонял запах Сен-Жильбера, такой знакомый, но чуть изменившийся. Смесь прежнего запаха с чем-то еще. С тимьяном и монардой.

Естественное и рукотворное[64] сошлись здесь, в монастыре, расположившемся в медвежьем углу Канады. Покой и ярость, молчание и пение. Гильбертинцы и инквизиция. Хорошие ребята и не очень.

У Бовуара, когда он услышал колокола, чуть голова не пошла кругом. От предчувствия к горлу подступила тошнота.

Наконец-то! Наконец-то!

Он поспешил в туалет, помочился, вымыл руки, потом налил в стакан воды. Вытащил из кармана маленький пузырек с таблетками, снял с него крышечку и вытряхнул на ладонь две таблетки.

Зученным движением поднес ладонь ко рту, почувствовал на языке

крохотные таблеточки. Глоток воды – и они проскользнули по пищеводу.

Выйдя из туалета, Бовуар остановился в коридоре. Колокола продолжали звонить, но он не стал возвращаться в Благодатную церковь, а быстро направился в кабинет приора. Закрыл дверь и припер ручку новым стулом.

Звон колокола доносился и сюда.

Бовуар сел за стол, подтащил к себе ноутбук и включил его.

Звон прекратился, и наступила тишина.

Бовуар поставил запись с компакт-диска и отключил звук. Не нужно привлекать внимание. И потом, саундтрек хранился в его голове. Всегда.

Появилась картинка.

Гамаш открыл глаза, когда в Благодатной церкви с появлением первого монаха зазвучали первые ноты.

Брат Антуан нес простой деревянный крест, который разместил в держателе на алтаре. Затем поклонился и занял свое место. Следом подтянулись другие монахи – они кланялись кресту и тоже занимали свои места. Пение не стихало. Весь день длиною в жизнь.

Гамаш посмотрел на брата Себастьяна в профиль. Тот разглядывал монахов. Потом брат Себастьян закрыл глаза и откинул назад голову. Когда григорианские песнопения и гильбертинцы заполнили церковь, он словно погрузился в транс. Отключился от реальности.

Бовуар слышал музыку, но приглушенную, издалека.

Все мужские голоса звучали одновременно. Они становились громче по мере того, как к ним присоединялись другие. А Бовуар на экране наблюдал за своими коллегами, друзьями, полицейскими, которые падали, сраженные пулями.

Под звуки песнопений Бовуар увидел, как упал и он, раненный.

Монахи пели, а старший инспектор оттаскивал его в безопасное место. А потом оставил его. Бросил, словно… как там сказал Франкёр? Словно он стал бесполезен.

А чтобы сделать ему еще больнее, старший инспектор поцеловал Бовуара на прощание.

Поцеловал его. В лоб. Неудивительно, что они называли Бовуара сукой Гамаша. Все видели этот поцелуй. Все его коллеги. И теперь смеялись над ним у него за спиной.

В Благодатной церкви звучали песнопения, а старший инспектор Гамаш поцеловал его в лоб. И ушел.

Гамаш еще раз посмотрел на доминиканца. Из состояния транса брат Себастьян, кажется, перешел в состояние экстаза.

И тут в церковь вошел брат Люк, и глаза доминиканца распахнулись. Его чуть не подбросило на скамье. Его потянуло к молодому человеку с божественным голосом.

Такие голоса встречаются у одного из миллиона. Один голос на тысячелетие.

Мертвый приор знал это. Знал и новый регент. Знал и настоятель. Слышал и Гамаш, несмотря на ограниченность своих знаний.

А теперь знала и Конгрегация доктрины веры.

Жан Ги нажал кнопку «воспроизведение», потом «пауза». И опять «воспроизведение». Он снова и снова просматривал запись.

На экране снова и снова, будто в бесконечной литании, литургии, Бовуар видел, как он падает, сраженный пулей. Видел, как его тащат по бетонному полу фабрики, словно мешок картошки. Тащит Гамаш.

Издалека доносились звуки песнопения.

«Господи помилуй. Аллилуйя. Господу слава».

А тем временем в кабинете приора умирал Бовуар. В одиночестве.

Глава тридцатая

По окончании повечерия, последнего богослужения дня, отец Филипп отвел Гамаша в сторону. К удивлению старшего инспектора, вместе с Филиппом был брат Антуан.

Видя настоятеля и Антуана друг подле друга, Гамаш никак не мог поверить, что они враги. Или по меньшей мере, что они стоят по разные стороны раскола.

– Чем могу быть полезен? – спросил Гамаш.

Его пригласили в угол Благодатной церкви. Теперь она опустела; впрочем, доминиканец остался сидеть на скамье. Он смотрел перед собой, словно в ступоре.

Суперинтенданта Франкёра поблизости не было видно.

Гамаш встал спиной к углу, чтобы держать церковь под пристальным наблюдением.

– Это насчет последних слов Матье, – пояснил настоятель.

– «Гомо», – сказал брат Антуан. – Верно?

– Как сообщил брат Симон, oui, – ответил Гамаш.

Монахи переглянулись, потом перевели взгляд на старшего инспектора.

– Кажется, мы знаем, что он имел в виду, – сказал настоятель. Он громко откашлялся и произнес: – Гомо.

– Oui, – сказал Гамаш и уставился на отца Филиппа, ожидая продолжения. – Судя по всему, именно это слово и произнес приор.

Настоятель повторил. Теперь он откашливался так громко, что Гамаш даже подумал, что у него нелады с горлом.

– Гомо, – повторил отец Филипп.

Гамаш почувствовал себя полным болваном. Он видел, что на них смотрит доминиканец брат Себастьян. Если звук из горла настоятеля казался громким Гамашу, то он, вероятно, становился чудовищным, когда благодаря акустике церкви достигал полной силы.

Настоятель внимательно смотрел на Гамаша своими пронзительными голубыми глазами, побуждая старшего инспектора понять что-то такое, что до него никак не доходило.

Брат Антуан тоже откашлялся. Гортанный, отчаянный звук.

– Гомо, – произнес он.

И старший инспектор наконец начал понимать: они хотят, чтобы он

понял не слово, а звук. Но их мысль по-прежнему оставалась для Гамаша тайной.

– Désolé, mon père, но я правда не понимаю.

– Ecce homo.

Эти слова произнес не брат Антуан, а Благодатная церковь, словно заговорили сами камни.

Потом из-за колонн появился доминиканец.

– Вот что, по-видимому, имеют в виду настоятель и регент. Верно?

Два монаха уставились на брата Себастьяна, потом кивнули. Они смотрели на него если не совсем воинственно, то уж по меньшей мере недоброжелательно. Но поздно. Незваный гость из Ватикана уже заявился в монастырь. И казалось, успевал повсюду.

Гамаш взглянул на стоящих бок о бок гильбертинцев. Не явление ли доминиканца перекинуло мостик через пропасть, разделявшую прежде двух монахов? Общий враг? Приятный, незаметный монах в белой мантии, сидевший так тихо, но занимавший столько пространства?

– Мы думаем, что приор не откашливался, – сказал брат Симон, переводя взгляд с доминиканца на Гамаша. – А произнес два слова. «Ecce» и «homo».

Глаза Гамаша расширились. Ecce. Но с гортанным латинским произношением. Возможно.

Настоятель повторил это так, как мог бы сказать приор. Человек, выдавливающий из себя слово. Умирающий человек с гортанным словом, застрявшим у него в горле.

Ecce homo.

Гамаш знал эти слова, но не мог вспомнить их смысл.

– И что они означают?

– Эти слова Понтий Пилат обратил к толпе, – проговорил брат Себастьян. – Когда вывел избитого, окровавленного Иисуса, чтобы показать им.

– Показать им что? Я не понимаю, – повторил Гамаш.

– Ecce homo, – сказал настоятель. – Се человек.

Было почти девять часов, поздно по монастырским понятиям, и брат Себастьян оставил трех собеседников и направился к кельям. Брат Антуан подождал минуту и, когда доминиканец исчез из виду, тоже ушел, коротко кивнув настоятелю.

– Обстоятельства изменились, – заметил Гамаш.

Отец Филипп не стал возражать, настаивать на том, будто никаких

проблем в монастыре нет. Он просто кивнул, проводив взглядом более молодого монаха, который направился к двери в дальнем конце церкви:

– Из него получится прекрасный регент. Может быть, даже лучше, чем Матье. Брат Антуан любит песнопения. Но Бога он любит сильнее.

Старший инспектор кивнул. Да. Вот в чем самая суть загадки. Не в ненависти, а в любви.

– А приор? – спросил Гамаш, провожая настоятеля в его комнаты. – Что он любил сильнее?

– Музыку, – незамедлительно прозвучал недвусмысленный ответ. – Но все не так просто. – Настоятель улыбнулся. – Как вы, вероятно, уже заметили, здесь у нас мало что просто.

Гамаш тоже улыбнулся. Да, он заметил.

Они шли по длинному коридору, ведущему в кабинет и келью настоятеля. На первый взгляд коридор показался Гамашу совершенно прямым от начала и до конца, но сейчас он заметил в нем незначительную кривизну. Отец Клеман, вероятно, нарисовал прямую линию, но строители ошиблись, пусть и ненамного. Любой, кто делал книжную полку или пытался следовать на местности по подробнейшей карте, знает, что малюсенький промах в начале приводит в конце к серьезным последствиям.

Даже коридоры здесь были не такие простые и прямые, какими казались.

– Матье не разделял музыку и веру. Они были для него единым целым, – сказал настоятель. Шаг его замедлился, и теперь они почти остановились в погруженном в сумерки коридоре. – Музыка укрепляла его веру. Доводила ее почти до экстатических высот.

– Высот, которые для многих недостижимы?

Настоятель промолчал.

– Высот, которых не смогли достичь вы? – не отступал Гамаш.

– Я принадлежу к консервативному типу людей, – сказал настоятель, глядя перед собой. Они продолжили свой медленный путь по чуть изогнутому коридору. – Я не рожден для полета.

– Но потому и застрахованы от падения?

– Пасть может каждый из нас, – возразил настоятель.

– Но вероятно, не так больно, не так быстро и не так далеко. В отличие от тех, кто воспаряет ввысь.

И опять настоятель не ответил.

– Вы явно восхищаетесь григорианскими песнопениями, – заметил Гамаш. – Но в отличие от приора, вы отделяете их от веры?

Настоятель кивнул:

– Я не думал об этом, пока не случилось то, что случилось. Но да, вы правы. Если музыка по какой-либо причине завтра исчезнет, если я больше не смогу петь или слушать песнопения, моя любовь к Господу ничуть не изменится.

– Брат Матье смотрел на это иначе?

– Не знаю.

– Кто его исповедовал?

– Я. До последнего времени.

– А кто в последнее время?

– Брат Антуан.

Они остановились.

– Вы не расскажете, о чем говорил брат Матье на исповедях? До того, как ушел к другому исповеднику?

– Вы же знаете, что я не могу вам ответить.

– Даже притом что приор мертв?

Настоятель посмотрел на Гамаша:

– Вы наверняка знаете ответ. Хоть один священник когда-нибудь нарушил тайну исповеди, отвечая на ваши вопросы?

Гамаш отрицательно покачал головой:

– Нет, отец Филипп. Но я никогда не оставляю надежду.

Эти слова вызвали у настоятеля улыбку.

– Когда приор ушел от вас исповедоваться к брату Антуану?

– Около полугода назад, – покорно ответил настоятель. – Я был с вами не до конца откровенен. – Он посмотрел на Гамаша. – Простите меня. У нас с Матье и в самом деле возникли разногласия из-за песнопений, и со временем они переросли в спор о том, куда дальше двигаться монастырю и братии.

– Он хотел сделать еще одну запись и чтобы монастырь стал более открытым миру.

– Oui. А я считаю, что мы должны идти прежним путем.

– Крепкая рука на штурвале, корабль идет прежним курсом, – сказал старший инспектор, одобрительно кивая.

Впрочем, они оба знали, что, если корабль несет на скалы, нередко необходим крутой поворот.

– Но есть еще один нерешенный вопрос, – продолжил Гамаш. Они снова двинулись к закрытой двери в конце коридора. – Вопрос о фундаменте.

Сделав очередной шаг, Гамаш вдруг понял, что настоятеля нет рядом

с ним. Он повернулся – отец Филипп удивленно смотрел на него.

Могло показаться, что настоятель готовит новую ложь, но, уже набрав в легкие воздуха для ответа, он, по-видимому, передумал:

– Вам все известно?

– Брат Раймон сказал об этом инспектору Бовуару. Значит, так оно и есть?

Настоятель кивнул.

– Кто-нибудь еще знает?

– Я никому не говорил.

– Даже вашему приору?

– Год-полтора назад я бы сразу же сообщил ему. Но не теперь. Я сохранил тайну. Сказал Господу, но Он, конечно, и так знал.

– Может быть, даже сам и внедрил туда трещины, – предположил Гамаш.

Настоятель покосился на старшего инспектора, но ничего не сказал.

– Вы поэтому спускались в подвал вчера утром? – спросил Гамаш. – Для осмотра фундамента, а не системы отопления?

Настоятель кивнул, и они медленно пошли дальше. Никто из них не спешил к закрытой двери.

– Я дождался, когда уйдет брат Раймон. Мне надоело все время слушать о неминуемой катастрофе. Я хотел увидеть все своими глазами и без помех.

– И что вы увидели?

– Корни, – ответил настоятель совершенно бесстрастно. Монотонным голосом, каким исполняют хоралы. Без интонаций. Без эмоций. Просто факт. – Трещины расширяются. Я поставил маячок при последней проверке около недели назад. С тех пор они стали шире.

– У вас, возможно, меньше времени, чем вы рассчитывали?

– Возможно, – признал отец Филипп.

– Что вы собираетесь с этим делать?

– Я молюсь.

– И все?

– А что делаете вы, старший инспектор, когда все кажется потерянным?

«Прими чадо сие».

– Я тоже молюсь, – ответил Гамаш.

– И помогает?

– Иногда.

Жан Ги не погиб в тот страшный день на заброшенной фабрике.

Он истекал кровью, едва дышал от боли. Его глаза молили Гамаша остаться. Сделать что-нибудь. Спасти его. Гамаш молился. И Бовуар остался жив. Но Гамаш знал, что, оставшись, Бовуар не вернулся. Вернее, вернулся, но не полностью. Бовуар все еще пребывал между двумя мирами.

– Неужели нет никакого выхода? – спросил Гамаш. – Брат Раймон, кажется, считает, что еще одна запись позволит заработать достаточно денег на ремонт фундамента. Но нужно действовать быстро.

– Брат Раймон прав. Однако он видит только трещины. А я вижу весь монастырь. Всю братию. Какая польза будет оттого, что мы ликвидируем трещины, но потеряем наш истинный фундамент? Наши обеты? Компромисс здесь недопустим.

И теперь Гамаш увидел то, что, вероятно, видел брат Раймон. И приор. Человека, который крепок как скала. В настоятеле, в отличие от монастыря, не появилось трещин. Никто не в силах сдвинуть его с места. По крайней мере, в вопросе о фундаменте.

Если последний монастырь гильбертинцев и можно спасти, то лишь благодаря Божественному вмешательству. Правда, по словам брата Раймона, чудо им уже явлено, но настоятель, ослепленный гордыней, не заметил его.

– У меня к вам просьба, отец Филипп.

– Вы тоже хотите, чтобы я одобрил еще одну запись?

Гамаш чуть не рассмеялся:

– Нет, это уж вы решайте с вашим Богом. Но я бы хотел, чтобы завтра утром прибыл лодочник и забрал инспектора и собранные нами вещественные доказательства.

– Конечно. Утром я первым делом позвоню ему. Если туман сойдет, то Этьен будет здесь вскоре после завтрака.

Они подошли к закрытой двери. На дереве остались отметки столетий, в течение которых монахи просили доступа в покои настоятеля. Но те времена ушли навсегда. Колотушка изъята и завтра утром вместе с Бовуаром навсегда покинет монастырь. Гамаш вдруг подумал: а заменит ли ее настоятель?

– Доброй ночи, сын мой, – сказал отец Филипп.

– Bonne nuit, mon père[65], – откликнулся Гамаш.

Эти слова прозвучали так необычно. Отец Гамаша умер, когда он был мальчишкой, и с тех пор он редко к кому так обращался.

– Ecce homo, – сказал Гамаш, когда отец Филипп открыл дверь.

Настоятель остановился.

– Почему брат Матье произнес эти слова? – спросил Гамаш.

– Не знаю.

Гамаш помедлил, прежде чем спросить:

– А почему их произнес Понтий Пилат?

– Он хотел доказать толпе, что в их Боге нет никакой божественности. Что Иисус – обычный человек.

– Merci, – сказал Гамаш и, слегка поклонившись, двинулся назад по слегка искривленному коридору.

Он шел, размышляя о Божественном и о человеке, о трещинах между ними.

«Дорогая Анни», – набрал Бовуар в темноте. Свет он выключил, чтобы никто не подумал, что он еще бодрствует.

Он лежал на кровати в одежде. Зная, что богослужение уже закончилось, скрылся в своей келье до того момента, когда все улягутся и можно будет незаметно вернуться в кабинет приора.

Он обнаружил послание от Анни у себя в телефоне. Забавное описание вечера, проведенного со старыми друзьями.

«Я тебя люблю, – писала она в конце. – Скучаю. Возвращайся скорее домой».

Он подумал об обеде Анни с друзьями. Сказала ли она им о нем, о Бовуаре? Поведала ли о его подарке? О вантузе. Вот ведь глупость какая. Идиотский, примитивный подарок. Они все, наверное, смеялись. Над ним. Над дурачком, которому ничего лучшего не пришло в голову. Слишком глупым или необразованным, чтобы купить настоящий подарок. Пойти в «Холт Ренфрю», или «Ожильви», или другой шикарный магазин на авеню Лорье и купить что-нибудь достойное.

А он взял и подарил ей вантуз для туалета.

И они смеялись над ним.

И Анни наверняка тоже смеялась. Над тупоумным мужланом, с которым трахалась. Так, для удовольствия. Он видел ее глаза, горящие, сверкающие. Те глаза, что так часто смотрели на него несколько последних месяцев. Последние десять лет.

Он думал, что она смотрит на него глазами привязанности, даже любви. Но теперь-то он понимал, что она с ним просто забавлялась.

«Анни», – написал он.

«Дорогая Рейн-Мари», – написал Гамаш.

Он вернулся в свою келью, но сначала заглянул в кабинет приора в поисках Бовуара. Свет там был выключен, внутри – никого. Старший

инспектор провел в кабинете полчаса, делал заметки, копировал их. Готовил вещдоки, чтобы Бовуар забрал их с собой завтра утром.

Одиннадцать часов. Конец долгого дня. Гамаш выключил свет и понес собранное в свою келью. По пути постучал в дверь Бовуара. Но ответа не услышал.

Он открыл дверь и заглянул внутрь, чтобы убедиться, что Жан Ги у себя. Увидел очертания кровати, услышал тяжелое, ровное дыхание.

Вдох. Выдох.

Вещдоки. Свидетельства жизни.

Не похоже на Бовуара – просто уснуть, не отметившись напоследок, не зафиксировав уход очередного дня в вечность. «Тем больше оснований, – думал Гамаш, разбирая постель, – отправить его поскорее домой».

«Дорогая Рейн-Мари», – написал он.

«Анни. День провел отлично. Ничего особенного. Следствие продвигается. Спасибо за твой интерес. Рад, что ты хорошо провела вечер с друзьями. Представляю, сколько у вас нашлось поводов посмеяться».

«Дорогая Рейн-Мари. Жаль, что тебя здесь нет и мы не можем обсудить дело. Оно, кажется, связано с григорианскими песнопениями и с тем, насколько они важны для монахов. Ошибочно рассматривать песнопения просто как музыку.

У нас появился неожиданный гость. Доминиканец из Ватикана. Из службы, которая прежде звалась инквизицией. Судя по всему, они почти четыреста лет искали гильбертинцев. А сегодня нашли. Приезжий монах говорит, что его привела сюда просто нерешенная проблема, что ее давно пора закрыть, но меня гложут сомнения. Мне бы хотелось разобраться.

Спокойной ночи, любимая.

Je t’aime».

«Скоро поговорим», – написал Жан Ги Бовуар.

Потом нажал «отправить» и замер в темноте.

Глава тридцать первая

Бовуар проснулся под звуки колоколов, зовущих верных на молитву. И хотя он знал, что колокола зовут не его, но подчинился их зову сквозь туман в мозгу. С большим трудом вернулся к сознанию.

Он даже не вполне был уверен, проснулся ли, – такой неотчетливой была граница между сном и бодрствованием. Он чувствовал себя неуклюжим, сбитым с толку. Схватил часы, посмотрел на циферблат.

Пять утра. Звон колоколов продолжался, и если бы Бовуару хватило сил, он швырнул бы ботинком в монаха, который дергал веревки.

Он упал на кровать и взмолился о прекращении звона. Его охватила тревога, стало трудно дышать.

«Глубокий вдох, – взмолился он, обращаясь к своему телу. – Выдох полной грудью. Глубокий вдох… В жопу», – подумал он.

Сел на кровати, ощутил босыми ногами холодный камень пола.

Все болело. Ступни ног, затылок. Грудь, суставы. Ногти на пальцах ног и брови. Бовуар уставился в стену, приоткрыл рот, моля о вдохе.

Наконец ему удалось сделать хриплый вдох, и воздух устремился внутрь.

Потом началась дрожь.

О черт, черт, черт…

Бовуар включил свет, вытащил пузырек с таблетками из-под подушки, крепко сжал в руке. После нескольких попыток ему удалось снять крышечку. Он хотел принять одну таблетку, но его так сильно трясло, что выпали две. Все равно, решил он. Закинул обе в рот и проглотил не запивая. Потом ухватился за край кровати и стал ждать.

Его химиотерапия. Его лекарство. Таблетки убьют то, что убивает его. Остановят эту дрожь. Прекратят эту боль, засевшую в нем так глубоко, что он не мог до нее добраться. Остановят эти образы, эти воспоминания.

Он лежал в кровати, чувствуя, что таблетки начинают действовать. Ну как что-то столь хорошее может быть плохим?

Он снова ощущал себя человеком. Цельным.

Боль отступила, мысли прояснились. Крючки и колючки отпустили его плоть, пустоты заполнились. Безвольно лежавший Бовуар услышал знакомые голоса, пение.

Звон колоколов прекратился, богослужение началось. Первая служба дня.

Пели два голоса.

Вызов. Ответ.

Вызов. Ответ.

Это завораживало.

Вызов. Ответ.

А потом вступили все остальные голоса. Вызывать больше не было нужды. Они нашли друг друга.

Бовуар почувствовал внутри спазм. Боль прошла не до конца.

Было пять тридцать утра. Богослужение закончилось, и Гамаш сидел на скамье, удовлетворенный спокойствием завершившейся службы. Он вдыхал аромат благовоний. Здесь пахло как в саду – без терпкости, свойственной многим церквям.

Монахи ушли. Все, кроме брата Себастьяна, который подсел к нему на скамью:

– Ваши коллеги не так религиозны, как вы.

– Боюсь, что я тоже не религиозен, – сказал старший инспектор. – Я не хожу в церковь.

– И тем не менее вы здесь.

– Но я ищу не спасения, а убийцу.

– Однако утешение вы, кажется, нашли.

Гамаш задумался на секунду, потом кивнул:

– Здесь его трудно не найти. Вы любите григорианские песнопения?

– Очень. Вокруг них выросла целая мифология. Видимо, потому, что мы так мало о них знаем. Мы даже не знаем историю их происхождения.

– А разве название не дает ключа к разгадке?

Доминиканец улыбнулся:

– Такая мысль приходит в голову, но она ошибочна. Папа Григорий не имеет к песнопениям никакого отношения. Название – лишь маркетинговый ход. Григорий пользовался популярностью, и какой-то хитроумный священник назвал песнопения в его честь, чтобы привлечь к ним побольше внимания.

– И поэтому они тоже стали популярны?

– Во всяком случае, им это не повредило. А кроме того, есть теория, которая гласит: если бы Христос слушал или пел какую-либо музыку, то непременно хорал. Тоже своего рода маркетинговый инструмент. «Одобрено Иисусом». «Так их пел Спаситель».

Гамаш рассмеялся:

– Явное преимущество в конкурентной борьбе.

– Ученые даже стали изучать песнопения, чтобы объяснить популярность записей, сделанных этими монахами, – сказал брат Себастьян. – Люди на них просто помешались.

– Нашли объяснение?

– Они подсоединили датчики к волонтерам, проиграли им григорианские песнопения и получили поразительный результат.

– Какой?

– Выяснилось, что через какое-то время мозговые волны изменились. Подопытные стали излучать альфа-волны. Вы знаете, что это такое?

– Они соответствуют спокойствию, – ответил старший инспектор. – Когда люди сосредоточенны, но пребывают в умиротворенном состоянии.

– Совершенно верно. Их кровяное давление падает, дыхание углубляется, но в то же время, как вы говорите, сосредоточенность возрастает. Они словно превосходят самих себя.

– Остаются самими собой, но лучшей частью самих себя.

– Верно. Но конечно, не все подвержены такому воздействию. Правда, на вас они, похоже, оказывают влияние.

Гамаш подумал и кивнул:

– Оказывают. Наверное, не такое сильное, как на гильбертинцев, но я его почувствовал.

– Если ученые называют это альфа-волнами, то церковь – «прекрасной тайной».

– В чем же тайна?

– Почему эти самые песнопения действеннее любой другой церковной музыки? Поскольку я монах, я придерживаюсь теории, согласно которой эти песнопения – голос Господа. Хотя есть и третья возможность, – признал доминиканец. – Несколько недель назад я обедал с коллегой, так вот у него есть теория, что все теноры – идиоты. Это как-то связано с особенностями их черепной коробки и вибрациями звуковых волн.

Гамаш рассмеялся:

– Он знает, что у вас тенор?

– Он мой босс, и он наверняка подозревает, что я идиот. И вероятно, он прав. Но вы представьте себе, какая восхитительная судьба – допеться до идиотизма. Что, если григорианские песнопения оказывают такое же воздействие? Делают всех нас счастливыми недоумками. Мы поем, а они разбалтывают нам мозги. Мы забываем о своих заботах и тревогах. Удаляемся от реальности. – Монах закрыл глаза и унесся куда-то в другое место. А потом так же неожиданно вернулся. Открыл глаза, посмотрел

на Гамаша и улыбнулся. – Благодать.

– Экстаз, – подхватил Гамаш.

– Именно.

– Но для монахов хоралы не только музыка, – сказал Гамаш. – А еще и молитва. Песнопения и есть молитвы. Мощное сочетание. И то и другое по-своему влияет на разум.

Доминиканец не ответил. Гамаш продолжил:

– Я просидел в церкви несколько богослужений и наблюдал за монахами. Когда они поют или просто слушают эти песнопения, они все до одного погружаются в какие-то грезы.

– И что?

– Понимаете, я уже видел прежде такое выражение лица. У наркоманов.

Откровение Гамаша ошеломило брата Себастьяна. Он уставился на старшего инспектора:

– Вы хотите сказать, что мы – наркоманы?

– Я говорю вам о том, что наблюдал своими глазами.

Доминиканец поднялся на ноги:

– Но вот чего вы не заметили, так это искренней веры этих людей. Их преданности Господу, совершенства их сердец. Вы унижаете их, сэр, когда говорите об их торжественной преданности как о заурядной наркомании. Вы превращаете песнопения в болезнь. В нечто такое, что ослабляет нас, а не укрепляет. Говорить о монастыре Сен-Жильбер-антр-ле-Лу как о наркопритоне просто смешно!

Он пошел прочь. Его ноги не шаркали по каменному полу, как у других монахов, а постукивали.

Гамаш понимал, что, вероятно, зашел слишком далеко. Но зато он нащупал слабое место.

Брат Себастьян стоял в тени. Оставив Гамаша, он громко протопал к дальней двери, открыл ее, потом отпустил, и она закрылась. Но он не переступил через порог.

Затаился в углу и оттуда стал наблюдать за старшим инспектором. Гамаш сидел на скамье уже около минуты. Монах знал, что большинство людей не могут усидеть на одном месте и тридцати секунд. А этот спокойный человек, видимо, мог просидеть в тишине столько, сколько ему хочется.

Наконец старший инспектор поднялся и без коленопреклонения покинул Благодатную церковь. Он направился к выходу и затем в длинный

коридор, заканчивающийся запертой дверью, охраняемой молодым монахом с великолепным голосом. Братом Люком.

Брат Себастьян остался в Благодатной церкви один.

Доминиканец понял: либо сейчас, либо никогда.

Он начал неторопливо, но упорно обследовать помещение. У пустой кафедры он положил руку на потертое дерево, потом продолжил свои методические поиски. Убедившись, что в церкви нет никаких секретов, он бесшумно двинулся по коридору в кабинет приора, где полицейские устроили свой оперативный штаб. Там он осмотрел содержимое ящиков и папок. Заглянул под стол за дверью.

Доминиканец занялся компьютером, хотя и понимал: того, что он ищет, там нет. Но он был исполнен решимости осмотреть все, иначе не имело смысла тащиться в такую даль. В отличие от гильбертинцев, которых устраивало пребывание в шестнадцатом веке, брат Себастьян принадлежал своему времени. Он никогда не смог бы делать свою работу, если бы не знал современных технологий и не восхищался ими. От самолетов до сотовых телефонов и ноутбуков.

Брат Себастьян пользовался научными достижениями как своим инструментом, не менее важным, чем крест и святая вода.

Он просмотрел файлы, каковых, впрочем, обнаружилось немного. Ноутбук не удалось подключить к Интернету: спутниковое соединение не работало. Он уже собирался выключить его, как услышал знакомое жужжание.

Включился оптический привод с компакт-диском.

Доминиканец щелкнул мышкой, и появилось изображение. Видео. Звук был выключен, и это его устраивало. К тому же изображение говорило само за себя.

Он смотрел с растущим смятением – картинка вызывала у него отвращение, и в то же время он не мог оторвать от нее глаз. Пока ролик не закончился.

Брат Себастьян с удивлением обнаружил, что хочет просмотреть его снова. Жуткое видео.

Уже не в первый раз он спрашивал себя, что такого имеется в трагедии, что не позволяет отвести взгляд. И все же он отвернулся. Произнеся короткую, но искреннюю молитву за души тех, кто давно потерялся, и за те потерянные души, что еще бродят среди нас, он выключил ноутбук.

После чего вышел из кабинета приора и продолжил осмотр монастыря Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Он знал: то, что он ищет, находится где-то здесь. Иначе и быть не могло. Он его слышал.

Глава тридцать вторая

Разговаривая с доминиканцем после первой службы, Гамаш в тени Благодатной церкви заметил Франкёра – старший суперинтендант быстро прошел вдоль стены. Гамашу хотелось использовать слово «прошмыгнул», но оно неточно описывало то, что он видел. Больше подходило слово «прокрался».

В одном он не сомневался: Франкёр не хотел, чтобы его видели.

Но Гамаш его увидел. Когда шаги брата Себастьяна стихли, Гамаш посидел еще минуту-другую, давая суперинтенданту время пройти по длинному коридору и мимо молодого монаха у дверей.

Затем он последовал за суперинтендантом и тоже вышел за стены монастыря.

Брат Люк без слов открыл ему дверь, хотя глаза его смотрели на старшего инспектора вопросительно. Но Арман Гамаш не знал ответов на вопросы молодого монаха.

И потом, у Гамаша имелись свои вопросы. Первый из них звучал так: благоразумно ли с его стороны идти за Франкёром? Не из-за того, что мог сделать суперинтендант, нет. Гамаш опасался того, что может сделать он сам.

Но он хотел узнать, какие секреты заставили Франкёра покинуть монастырь. Уж явно не потребность в утренней прогулке. Гамаш вышел в холодное темное утро и осмотрелся. Еще не было шести, и туман предыдущего вечера превратился в изморось, оттого что холодный воздух сталкивался с поверхностью воды и поднимался над ней.

Франкёр остановился среди деревьев, почти незаметный на фоне темного леса, если бы не синевато-белое сияние в его руке.

Гамаш замер, глядя на стоящего спиной к нему суперинтенданта. Франкёр склонился над телефоном, и со стороны могло показаться, что он смотрит в магический кристалл. Но конечно, он занимался другим делом: то ли читал, то ли набирал послание.

Послание настолько секретное, что ему пришлось покинуть монастырь из боязни, как бы кто-нибудь не застал его за отправкой письма. Но его все же застали: экран телефона в темноте утра служил маячком, выдавал суперинтенданта.

Гамаш многое бы отдал, чтобы заполучить этот телефон.

Ему даже пришла в голову мысль быстро преодолеть расстояние

между ними и выхватить телефон из руки Франкёра. Чье имя он увидит на экране? Какое важное дело вынудило Франкёра прийти сюда, рискуя встретиться с медведями, волками и койотами, которые только и ждут, когда какое-нибудь более слабое существо совершит ошибку?

Однако этим более слабым существом может оказаться и сам Гамаш. Если совершит ошибку.

Но он все же стоял и наблюдал.

Он не мог выхватить телефон из руки Франкёра, а если бы и смог, то не узнал бы всю историю. А Гамашу сейчас требовалась вся история. Терпение, напомнил себе Гамаш. Терпение.

И еще один ход.

– Bonjour, Сильвен.

Гамаш чуть не улыбнулся, увидев, как светящийся квадратик задергался вместе с рукой Франкёра. Суперинтендант резко повернулся, и всякое подобие улыбки сошло с лица Гамаша. Франкёра не просто обуяла ярость – он жаждал крови. В свете экрана его лицо выглядело карикатурно.

– Кому вы пишете? – ровным голосом спросил Гамаш и двинулся вперед таким же ровным шагом.

Но Франкёр, казалось, потерял дар речи, и Гамаш, приближаясь, видел на лице суперинтенданта не только ярость, но и страх. Франкёр был в ужасе.

Тем сильнее захотелось старшему инспектору выхватить телефон из руки суперинтенданта. Увидеть, кому или от кого это послание и почему его внезапное появление вызвало такую панику.

Сомнений не возникало: больше всего суперинтендант боялся не Гамаша.

На миг Гамашу показалось, что у него есть шанс и он сумеет выхватить телефон. Но Франкёр предвидел его намерение, быстрым движением выключил трубку и сунул в карман.

Они смотрели друг на друга, дыхание вырывалось из их ртов облачками тумана, повисало в воздухе – между ними словно образовался призрак.

– Кому вы писали? – повторил Гамаш. Он не ждал ответа, просто хотел, чтобы Франкёр понял, что скрывать больше нечего. – Или вы не писали, а читали послание? Бросьте, Сильвен, давайте же, поделитесь со мной. – Гамаш развел руки и огляделся. – Тут больше никого нет.

И это была чистая правда. Стояла такая тишина, что в ушах покалывало. Они словно зашли в пустоту. Где нет никаких звуков. Где почти ничего не видно. Даже Сен-Жильбер-антр-ле-Лу исчез. Туман

поглотил даже каменный монастырь.

В мире остались два человека.

И теперь эти двое противостояли друг другу.

– Мы знакомы со времен учебы в академии и с тех пор ходим друг возле друга, – сказал Гамаш. – Пора прекратить. Рассказывайте, в чем дело.

– Я прилетел, чтобы помочь.

– Охотно верю. Но помочь кому? Не мне. И не инспектору Бовуару. По чьему приказу вы здесь?

Не вздрогнул ли Франкёр, услышав последние слова?

– Вы опоздали, Арман, – сказал Франкёр. – Упустили свой шанс.

– Я знаю. Но не сейчас. Я совершил ошибку несколько лет назад, когда расследовал дело старшего суперинтенданта Арно. Напрасно я его арестовал – нужно было дождаться, когда можно будет арестовать вас всех.

Франкёр даже не стал возражать. Если Гамаш уже опоздал и больше не мог остановить то, что происходило, то и Франкёр опоздал отделываться отрицаниями.

– Вы писали Арно?

– Арно получил пожизненное, Арман. Вы сами знаете. Вы же и упрятали его в тюрьму.

Старший инспектор улыбнулся, хотя улыбка получилась усталой.

– Нам известно, что тюрьма ничего не значит. Человек вроде Арно всегда сумеет получить то, что ему требуется.

– Не всегда, – возразил Франкёр. – Арест, суд, приговор – ничто от него не зависело.

Старший инспектор никак не ожидал услышать от Франкёра, что он, Гамаш, на некоторое время превзошел Арно. А потом замешкался. Не закончил свою работу. Не понял, что нужно добиться большего.

Язва осталась и продолжила разрастаться.

Гамаш знал, что Арно – фигура влиятельная. И друзья у него были влиятельные. Далеко за стенами тюрьмы. Гамаш мог его убить, но решил иначе. И иногда – иногда – спрашивал себя: не совершил ли он тогда и эту ошибку.

Но тут ему в голову пришла другая мысль. Франкёр отправлял послание не Арно, чье имя и личность, хотя и уважаемые Франкёром, не могли вызвать такой страх. Значит, есть кто-то другой. Кто-то гораздо более влиятельный, чем суперинтендант. Более влиятельный, чем Арно.

– Так кому вы писали, Сильвен? – в третий раз спросил Гамаш. – Еще не поздно. Скажите мне, и мы вдвоем обговорим, как нам быть дальше. – Гамаш говорил ровным, рассудительным голосом. Протянул

руку. – Дайте мне телефон. Назовите пин-код. Мне больше ничего не нужно. И вся история закончится.

Франкёр вроде бы задумался. Сунул было руку в карман, но потом уронил ее вниз.

– Вы меня опять неправильно поняли, Арман. Нет никакого великого заговора. Он существует только в вашей голове. Я писал жене. Подозреваю, что и вы пишете своей жене.

– Оставьте мою жену мне, Сильвен. – Гамаш проигнорировал эту ложь. Он не убирал протянутую руку и не сводил глаз со своего начальника. – Вы, вероятно, устали до чертиков. Но конец уже близок.

Он вперились друг в друга.

– Вы любите своих детей, Арман?

Эти слова будто физически толкнули, ударили Гамаша. На мгновение он почувствовал, что теряет равновесие. Но отвечать не стал.

– Конечно любите.

В голосе Франкёра больше не слышалось скрытой злобы. Словно разговаривали два старых приятеля за стаканчиком виски на террасе ресторана на Сен-Дени.

– Что вы сказали? – спросил Гамаш.

Голос его больше не звучал рассудительно. Он почувствовал, что всякая рассудительность покидает его, исчезает в густом, темном лесу.

– Не вмешивайте в наше противостояние мою семью, – прорычал старший инспектор, и та часть его разума, которая еще слышала доводы рассудка, поняла, что он ошибся: дикий зверь больше не скрывался в лесу – он вышел оттуда. Проник в Гамаша, который одичал, как только почувствовал угрозу семье.

– Вы не знали, что между вашей дочерью и вашим инспектором роман? Возможно, вы не настолько контролируете все, как вам кажется. Чего еще вы не знаете, если даже это прошло мимо вас?

И вдруг ярость, владевшая Гамашем, полностью ушла. Сменилась чем-то холодным. Древним.

Арман Гамаш почувствовал неожиданное спокойствие. А еще он ощутил перемену во Франкёре. Тот понял, что зашел слишком далеко. Пересек все границы.

Гамаш, конечно, знал о Жане Ги и Анни. Уже несколько месяцев как знал. С того самого дня, когда они с Рейн-Мари заглянули к дочери и увидели маленький букетик сирени на ее кухонном столе.

Они знали и бесконечно радовались за Анни, которая любила Жана Ги с тех самых пор, как впервые увидела его больше десяти лет назад.

Они радовались за Жана Ги, чья любовь к их дочери бросалась в глаза.

Они радовались и за себя, потому что оба любили и дочь, и Жана Ги.

Гамаш не стал торопить события. Он знал, что Анни и Жан Ги скажут родителям, когда придет время, когда будут готовы. Он знал. Но откуда знал Франкёр? Кто-то, вероятно, сказал ему. И если не Жан Ги и не Анни, то…

– История болезни из архива полицейского психолога, – догадался Гамаш. – Вы читали его историю болезни.

После той операции они все посещали психолога. Все, кто выжил. И теперь старший инспектор знал, что Франкёр вторгся не только в частную жизнь Жана Ги, но и в частную жизнь его, Гамаша. И всех остальных. Суперинтендант знал все, что они доверительно сообщали психологу. Их потаенные мысли, их тревоги. То, что они любили. То, чего боялись.

Знал все их тайны. Включая и отношения между Анни и Жаном Ги.

– Оставьте в покое мою дочь, – сказал Гамаш.

Ему приходилось напрягать всю силу воли, чтобы сдержаться и не выкинуть вперед руку. Для того, чтобы схватить не телефон Франкёра, а его горло. Почувствовать, как пульсирует артерия, как пульсации становятся реже, а потом прекращаются совсем.

Он знал, что может сделать это. Убить Франкёра. Оставить его тело на съедение волкам и медведям. А потом вернуться в монастырь и сказать брату Люку, что суперинтендант отправился прогуляться и скоро вернется.

Как все стало бы просто. Как хорошо. Насколько лучше стал бы мир, если бы Франкёра утащили в лес волки. И сожрали.

«Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?»

Слова короля снова всплыли в памяти, и в первый раз в своей жизни Гамаш до конца осознал весь их смысл. Понял, как происходят убийства.

Бедствие приблизилось к нему. Холодное, расчетливое, совершенное. Оно настолько переполнило Гамаша, что последствия перестали его волновать. Он хотел одного: чтобы этот человек исчез.

Он сделал шаг вперед, но заставил себя остановиться. Недавно он остерегал Бовуара, а теперь забыл о собственных словах. Позволил Франкёру выбить его из колеи. И человек, посвятивший жизнь предотвращению убийств, сам чуть не стал убийцей.

Гамаш на мгновение закрыл глаза, а открыв их, подался вперед и заговорил шепотом, но абсолютно спокойно. Он говорил прямо в лицо Франкёру:

– Вы зашли слишком далеко, Сильвен. Слишком раскрылись. Слишком

много сказали. Если прежде у меня и оставались сомнения, то их больше нет.

– Вы упустили свой шанс, Арман, когда арестовали Арно. Тогда вы не решились. И сейчас тоже колебались. Вы могли вырвать телефон у меня из руки. Могли увидеть послание. Думаете, почему я здесь? Ради вас?

Гамаш прошел мимо Франкёра в сторону от монастыря, в лес. Он шел по тропе, пока не оказался на берегу озера. С рассветом появится лодочник, и Жан Ги отправится в Монреаль. А он останется один на один с Франкёром. И тогда они смогут разобраться между собой.

Гамаш знал, что у каждого моря есть свой берег. Он долгое время находился в плавании, но теперь ему показалось, что он увидел берег. Конец пути.

– Bonjour.

Забывшись в своих мыслях, Гамаш не заметил приближения человека. Он быстро повернулся и увидел, что ему машет брат Себастьян.

– Я пришел извиниться за то, что так резко ушел сегодня из Благодатной церкви. – Доминиканец пробрался между большими камнями и остановился перед старшим инспектором.

– Не стоит извиняться, – сказал Гамаш. – Я проявил несдержанность.

Они оба знали, что это правда и что Гамаш вел себя так намеренно. Несколько минут они молча простояли на каменистом берегу, услышали далекий зов гагары, а потом почти в полной тишине – прыжок рыбы. От леса исходил приятный запах. Хвойных деревьев и опавших листьев.

Перед этим Гамаш думал о своем столкновении с Франкёром. А теперь вернулся мыслями к убийству.

– Вы сказали, что вам дано поручение найти гильбертинцев. Закрыть наконец многовековое дело, открытое инквизицией. И еще вы говорили, что их выдала картинка на обложке компакт-диска.

– Верно.

Ответ прозвучал невыразительно. Он мог бы без конца скользить по поверхности озера, не оставляя за собой ни малейшего следа.

– Но по-моему, есть много такого, о чем вы мне не сказали. Даже церковь не стала бы так долго точить зуб на кого-то.

– Дело не в зубе, а в интересе. – Брат Себастьян показал на плоский камень, на котором стоял Гамаш, и они оба сели. – Заблудшие дети. Братья, скрывшиеся на прискорбно долгое время. Мы хотели предложить мир. Найти их и заверить, что им ничто не угрожает.

– Так ли? Ни один человек в здравом уме не поплывет в одиночку в лодке по незнакомому озеру в дикой глуши. И к тому же в густой туман.

Если только не его обязательства. Если только его не гонят кнутом или в конце пути его не ждет сокровище. Или и то и другое. Почему вы здесь? Что вы ищете на самом деле?

Небо светлело. Холодный серый свет с трудом пробивался сквозь туман. Поплывет ли лодочник в такую погоду?

– Мы вчера говорили о невмах. Но знаете ли вы, что они такое? – спросил доминиканец.

Этот вопрос, хотя и неожиданный, не застал Гамаша врасплох.

– Первые музыкальные ноты. Невмы предшествовали появлению нот.

– Oui. Мы склонны думать, что пятилинейный нотный стан существовал всегда. Скрипичный и басовый ключ, ноты, паузы. Аккорды и регистры. Но они появились в мире не сразу. Они эволюционировали. Из невм. А невмы обозначали движение руки. Показывали образ звука.

Брат Себастьян поднял руку и сделал ею несколько движений – вправо-влево, вверх-вниз. Рука изящно скользила в прохладном осеннем воздухе, а брат Себастьян напевал себе под нос.

У него был приятный голос. Прозрачный. Чистый. Задушевный. И Гамаш невольно забылся под его пение, зачарованный движением руки и успокаивающим звуком.

А потом пение и движение руки прекратились.

– Слово «невмы» происходит от греческого «дыхание». Монахи, первыми озаботившиеся записью песнопений, полагали, что чем глубже мы дышим, тем больше втягиваем в себя Господа. А во время пения дыхание самое глубокое. Вы когда-нибудь замечали, что чем глубже вы дышите, тем спокойнее становитесь? – спросил монах.

– Замечал. Как на протяжении тысяч лет замечали индусы, буддисты и язычники.

– Совершенно точно. В каждой культуре, каждом духовном веровании есть та или иная форма пения или медитации. И в их основе лежит дыхание.

– Так при чем тут невмы? – спросил Гамаш, держа одну руку другой, чтобы не мерзли пальцы.

– Первые хоралы заучивались наизусть. Но где-то примерно в десятом веке один монах решил их записать. Однако для записи необходима была какая-то музыкальная нотация.

– Невмы, – сказал старший инспектор, и монах кивнул:

– В течение трех веков поколения монахов записывали григорианские песнопения, чтобы сохранить их.

– Да, я слышал, – сказал Гамаш. – Многие монастыри получили книги

песнопений.

– Откуда вы знаете?

– У них тут есть одна такая книга. Явно не самая знаменитая.

– Почему вы так думаете?

– Я не думаю, – ответил Гамаш. – Мне так сказал настоятель. Он говорит, что большинство этих книг прекрасно иллюминировано. Но поскольку гильбертинцы были небольшим и очень бедным орденом, им пришлось довольствоваться тем, что можно назвать второсортным изделием десятого века.

– Вы видели эту книгу? – Брат Себастьян подался к Гамашу.

Старший инспектор открыл рот, собираясь заговорить, потом закрыл его и всмотрелся в лицо доминиканца.

– Вы из-за нее и приехали? – спросил он наконец. – Вы искали не гильбертинцев, а книгу.

– Вы ее видели? – повторил брат Себастьян.

– Oui. Держал ее в руках.

Гамаш не видел смысла в отрицании. Существование книги не тайна.

– Боже мой! – выдохнул брат Себастьян. – Боже мой! – Он покачал головой. – Вы можете ее показать? Я ее повсюду ищу.

– Повсюду в монастыре?

– Повсюду в мире.

Доминиканец поднялся и отряхнул белую мантию от земли и веточек.

Гамаш тоже поднялся:

– Почему бы вам не спросить настоятеля или кого-нибудь из монахов?

– Я решил, что они ее, наверное, уже спрятали.

– Они ее не прятали. Обычно она находится на кафедре в Благодатной церкви, чтобы все монахи могли с ней сверяться.

– Ее там нет.

– Потому что один из монахов держит ее при себе. Учит песнопения.

Разговаривая на ходу, они вернулись в монастырь и остановились перед толстой деревянной дверью. Гамаш постучал, и несколько секунд спустя они услышали скрежет щеколды и поворот ключа в замке. Вошли в здание. После лесной прохлады в монастыре было почти тепло. Доминиканец проделал половину пути по коридору, когда Гамаш окликнул его:

– Брат Себастьян!

Монах остановился и нетерпеливо повернулся.

Гамаш показал на брата Люка, стоявшего в дверях каморки привратника.

– Что вы…

И тут брат Себастьян понял. Он двинулся назад, поначалу быстро, а по мере приближения к каморке все медленнее.

Последний шаг он сделал почти с неохотой. Может быть, боясь разочароваться. Или понимая, что на самом деле он не хочет, чтобы его поиски закончились. Потому что не знает, что ему делать дальше.

Если тайна будет разгадана, то в чем смысл его дальнейшего существования?

Брат Себастьян остановился у дверей каморки привратника.

– Ты не будешь возражать, брат мой, если я посмотрю твою книгу песнопений? – спросил доминиканец неожиданно официальным, почти мрачным тоном.

Гамаш знал, что инквизиция прошлых времен совсем не так повела бы дело. Они бы просто взяли книгу, а молодого монаха, в чьем владении она оказалась, вероятно, сожгли бы.

Брат Люк отошел в сторону.

А пес Господень сделал последние несколько шагов на пути, который начали сотни лет назад и за тысячи миль отсюда братья, давно ушедшие в мир иной.

Он шагнул в мрачную комнатенку и увидел лежащую на столе большую книгу в незамысловатом переплете. Его рука задержалась над книгой, наконец он открыл фолиант и глубоко вздохнул.

Потом выдохнул полной грудью.

Долгий, медленный вздох.

– Она.

– Откуда вы знаете? – спросил Гамаш.

– Вот отсюда.

Монах поднял книгу и замер с нею в руках.

Гамаш надел очки и наклонился. Брат Себастьян показывал на первое слово на первой странице. Под невмой. Но на том месте, с которого Себастьян убрал палец, Гамаш не увидел ничего, кроме точки.

– Что вы имеете в виду? – спросил Гамаш, тоже показывая пальцем. – Эту точку?

– Да, точку, – ответил брат Себастьян. На его лице застыло удивление, даже благоговение. – Именно ее. Перед нами первая книга григорианских песнопений. А здесь, – он чуть приподнял палец, – самая первая музыкальная нота. Вероятно, в двенадцатом веке книга каким-то образом попала в руки Гильберта Семпрингхемского, – сказал доминиканец, обращаясь к странице, а не к двум стоящим рядом людям. – Может быть,

в качестве подарка, благодарности церкви за его преданность Томасу Бекету. Но Гильберт не подозревал о ее ценности. Никто в то время не подозревал. Они могли только догадываться, что книга уникальна. Или станет уникальной.

– Но что делает ее уникальной? – спросил Гамаш.

– Эта точка. Правда, это вовсе и не точка.

– А что же?

Гамаш видел перед собой всего лишь точку. Он редко чувствовал себя таким глупым, как со времени приезда в Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

– Не точка, а ключ.

Брат Себастьян и Гамаш посмотрели на молодого монаха, произнесшего эти слова.

– Точка отсчета.

– Ты знал, брат? – спросил Люка брат Себастьян.

– Сначала не знал, – признался Люк. – Я просто слышал, что песнопения здесь иные, чем все, что я слышал прежде. Но почему – не знал. А потом брат Матье сказал мне.

– Он знал, что эта книга бесценна? – спросил доминиканец.

– Не уверен, что он думал о ней такими словами. Но вероятно, он знал о ее ценности. Он достаточно хорошо разбирался в григорианских песнопениях, чтобы знать, что ни в одной другой книге, ни в каких собраниях никакой точки нет. И он понимал, что она означает.

– И что же? – спросил Гамаш.

– Эта точка – музыкальный Розеттский камень, – ответил брат Себастьян и опять обратился к Люку: – Ты назвал ее ключом – очень точное определение. Все другие григорианские песнопения близки к этим. Представьте, что вы дошли до дверей Сен-Жильбера, но внутрь вас не впустили. Бродить вокруг – вот лучшее, что вы можете сделать. Поблизости. Но не внутри. А ключ, или точка, – он кивнул, показывая на раскрытую страницу, – отпирает дверь, за которой вы оказываетесь внутри песнопения. Внутри разума и голосов первых монахов. Имея это, мы знаем, как звучали первоначальные песнопения. Как по-настоящему звучит голос Господа.

– Как? – спросил Гамаш, стараясь скрыть раздражение в голосе.

– Скажи ему, – обратился брат Себастьян к молодому гильбертинцу. – Книга ведь твоя.

Брат Люк зарделся от гордости и посмотрел на доминиканца почти с восторгом. Не только за то, что его привлекли к разговору, но и за то, что обращаются с ним как с равным.

– Это не точка, – объяснил брат Люк Гамашу. – Если вы нашли карту, на которой показано место, где спрятано сокровище, но нет координат, то такая карта будет бесполезна. Точка – наши координаты. Она говорит нам, какой должна быть первая нота.

Гамаш посмотрел на раскрытую книгу в руках брата Себастьяна.

– Я думал, о ноте говорят сами невмы, – пробормотал он, показывая на первую закорючку над первым выцветшим словом.

– Нет, – сказал Люк. Он излучал терпение. Прирожденный учитель, преподающий знакомый ему во всех деталях и любимый предмет. – Нет, они говорят нам только о том, что нужно повысить голос. Но откуда? Точка стоит в середине буквы. Голос должен начаться со среднего регистра и идти вверх.

– Не очень-то точно, – заметил Гамаш.

– Музыка – искусство, а не наука, – возразил брат Себастьян. – Здесь необходимый нам максимум приближения к оригиналу, и мы можем начать.

– Если точка так важна, то почему ее нет во всех книгах песнопений? – спросил старший инспектор.

– Хороший вопрос, – признал брат Себастьян. – Мы думаем, – он взвесил книгу в руках, – что ее написали монахи-музыканты, но потом с нее были сделаны копии. Писцами. Грамотеями, не понимавшими важности точки. Вероятно, они решили, что это марашка, ошибка.

Столетия поисков, почти священная война, поколения монахов, всю жизнь искавших книгу. А все из-за отсутствующей точки и писцов, принявших ее за марашку.

– На пергаменте, обнаруженном на теле приора, точка есть, – сказал Гамаш.

Брат Себастьян с интересом посмотрел на Гамаша:

– Вы заметили?

– Я заметил только потому, что вы закрыли ее пальцем, словно пытались спрятать.

– Я и пытался, – признал монах. – Боялся, что кто-то еще поймет ее смысл. Тот, кто написал эту музыкальную зарисовку, знал о первой книге песнопений. И он написал еще одно песнопение в том же стиле. Включая и точку.

– Но круг людей, которые знают о точке, довольно широк, – сказал Гамаш. – Все гильбертинцы знают о книге. Они копируют оттуда песнопения. Им наверняка известно про точку и про то, что она означает.

– Но знают ли они, какой ценной делает точка эту книгу? – спросил доминиканец. – Да что говорить, у нее нет цены. Она бесценна.

Люк отрицательно покачал головой:

– Вероятно, знал только брат Матье, но ему было все равно. Единственной ценностью для него была музыка, и ничто другое.

– Вы тоже знали, – заметил Гамаш.

– О точке знал, да. Но не о том, что книга бесценна, – сказал брат Люк.

Гамаш спросил себя, не появился ли у него наконец мотив. Может быть, кто-то из монахов понял, что эта затрепанная книга стоит целое состояние? Что сокровище в этих стенах вовсе не спрятано, а хранится открыто в виде песнопений?

А если приора убили потому, что он стоял между этим монахом и обогащением?

Гамаш снова обратился к доминиканцу:

– И поэтому вы здесь? Не из-за потерявшихся братьев, а из-за потерявшейся книги? Их выдала не картинка на обложке компакт-диска, а сама музыка.

Истина стала ясна. Доминиканец приехал сюда за невмами. Сотни лет церковь искала точку отсчета. Принадлежащая гильбертинцам запись григорианских песнопений нечаянно дала ее.

Брат Себастьян обдумал ответ и наконец кивнул:

– Когда святой отец услышал запись, он сразу же понял, что эти песнопения такие же, какие поются в монастырях по всей земле. Вот только в дополнение ко всему они еще и божественны.

– Священны, – согласился брат Люк.

Оба монаха напряженно смотрели на Гамаша. Было что-то пугающее в фанатической приверженности такого уровня. Приверженности к единственной точке.

В начале.

Прекрасная тайна. Наконец разгаданная.

Глава тридцать третья

После завтрака Гамаш подошел к настоятелю. Он хотел поговорить не о книге песнопений и о ее цене – эту тему он решил пока не затрагивать, – а кое о чем другом, имеющем неизмеримую ценность для самого старшего инспектора.

– Вы связались с лодочником?

Настоятель кивнул:

– После нескольких попыток брат Симон смог соединиться. Лодочник ждет, когда туман рассеется, но он настроен оптимистически и рассчитывает быть здесь к полудню. Не беспокойтесь, – сказал отец Филипп, снова правильно истолковав крохотные морщинки на лице Гамаша. – Он не подведет.

– Merci, mon père.

Когда настоятель и другие ушли готовиться к следующей службе, Гамаш посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого. Еще пять часов. Да, лодочник приплывет, но что он увидит, причалив к пристани?

Жан Ги не появился на завтраке. Гамаш прошел по тихой церкви к дальней двери. Несколько монахов кивнули ему в коридоре, они выходили из своих келий, направляясь на следующую службу.

Старший инспектор заглянул в кабинет приора, но никого там не увидел. Потом он постучал в дверь к Бовуару и вошел, не дожидаясь ответа.

Жан Ги лежал на кровати. В той же одежде, что и предыдущим вечером. Небритый, растрепанный, с мутными глазами. Он приподнялся на локте:

– Который час?

– Почти половина восьмого. Что случилось, Жан Ги?

Гамаш наклонился над кроватью, и Бовуар попытался подняться:

– Я просто устал.

– Нет, здесь что-то еще. – Он внимательно посмотрел на своего молодого заместителя, которого так хорошо знал. – Ты не принял чего-нибудь?

– Вы шутите? Я чист и трезв. Сколько раз нужно доказывать? – отрезал Бовуар.

– Не лги мне.

– Я не лгу.

Они уставились друг на друга. «Пять часов, – подумал Гамаш. – Всего пять часов. Мы можем успеть». Он оглядел маленькую комнату, но здесь все оставалось на месте.

– Оденься, пожалуйста, и будь со мной к следующей службе в Благодатной церкви.

– Зачем?

Гамаш замер.

– Затем, что я тебя попросил.

Возникла пауза.

Наконец Бовуар уступил:

– Отлично.

Гамаш вышел, и несколько минут спустя Бовуар, быстро приняв душ, присоединился к нему в Благодатной церкви. Пришел в тот самый момент, когда начались песнопения. Он опустился на скамью рядом с Гамашем, но ничего не сказал. Его разбирала злость: им тут помыкают, вопросы задают. Сомневаются в нем.

Пение, как и всегда, началось где-то в другом месте. Отдаленное, но идеальное начало. Потом оно приблизилось. Бовуар закрыл глаза.

«Глубокий вдох, – сказал он себе. – И выдох полной грудью».

Он словно вдыхал ноты. Вбирал их в самое свое сердце. Они казались более легкими, чем те, круглые, черные. У невм выросли крылья. На сердце у Бовуара стало легко. И в голове легко. Он поднялся над своим ступором. Поднялся из ямы, в которую скатился.

Он слышал не только голоса, но и дыхание монахов – дышали они тоже в унисон. Глубокий вдох. И пение на выдохе.

Выдох полной грудью.

А потом – он даже не понял когда – служба закончилась. И монахи ушли. Ушли все.

Бовуар открыл глаза. В Благодатной церкви стояла полная тишина и он сидел один. Если не считать шефа.

– Нам нужно поговорить, – спокойно сказал Гамаш; он смотрел не на Бовуара, а перед собой. – Что бы ни случилось, все будет хорошо.

Голос его звучал уверенно, доброжелательно, утешающе. Бовуара потянуло к этому голосу. Внезапно он почувствовал, что заваливается вперед. Теряет контроль над собой. Скамья скакнула под ним, и он не смог удержаться.

Но тут сильная рука Гамаша уперлась ему в грудь. Остановила его. Удержала. Он слышал, как знакомый голос зовет его. Не «Бовуар». Не «инспектор».

«Жан Ги. Жан Ги».

Он почувствовал, что заваливается на бок, тело его обмякает, глаза закатываются куда-то на затылок. Перед тем как отключиться, он увидел над собой радугу, почувствовал щекой пиджак шефа, ощутил запах сандалового дерева и розовой воды.

Глаза Бовуара открылись, но веки были слишком тяжелы. И они снова закрылись.

Арман Гамаш поднял Жана Ги на руки и поспешил по Благодатной церкви.

«Не забирай чадо сие.

Не забирай чадо сие».

– Оставайся со мной, сынок, – снова и снова шептал он, пока они не оказались в лазарете.

– Что случилось? – спросил брат Шарль, когда Гамаш положил Жана Ги на смотровой стол.

Расслабленный и веселый монах исчез. Вместо него появился врач с ловкими, быстрыми руками, он нащупал у Бовуара пульс, приподнял веки.

– Я думаю, он что-то принял, только не знаю что. Он лечился от привыкания к болеутоляющим, но вот уже три месяца ничего не принимал.

Доктор быстро осмотрел пациента. Закатал на нем свитер, чтобы лучше прослушать дыхание. И тут брат Шарль замер и поднял глаза на старшего инспектора.

Брюшину Бовуара рассекал шрам.

– Какие болеутоляющие он принимал? – спросил доктор.

– Оксикодон, – ответил Гамаш и увидел озабоченное выражение на лице брата Шарля. – После пулевого ранения. Оксикодон ему прописали от боли.

– Боже, – прошептал монах. – Но мы не знаем наверняка, что он принял сейчас. Вы говорите, он чист. Вы уверены?

– Я уверен, что он ничего не принимал до нашего прибытия сюда. Я хорошо его знаю. Мне бы стало известно, если бы у него случился рецидив.

– Похоже, мы имеем дело с передозировкой. Он дышит, и все жизненные показатели в норме. В любом случае доза недостаточна, чтобы его убить. Но неплохо бы узнать, что он принимал.

Брат Шарль перевернул Бовуара на бок на тот случай, если пациента

начнет рвать, а Гамаш обыскал карманы Жана Ги. Они оказались пусты.

– Я сейчас вернусь, – сказал старший инспектор, но прежде, чем направиться к двери, он слегка прикоснулся к лицу Бовуара – пальцы почувствовали холод и влагу.

Гамаш повернулся и вышел.

Длинные ноги несли старшего инспектора по коридору мимо глазеющих на него монахов. Он посмотрел на часы. Восемь. Осталось четыре часа до прибытия лодочника. Если туман рассеется.

Веселый свет сегодня еще не появился. Солнечные лучи почти не проникали сквозь высокие окна, и Гамаш не видел, проясняется ли небо, или тучи сгущаются.

Четыре часа.

Он покинет монастырь вместе с Бовуаром. Теперь он точно это знал. Будет ли раскрыто убийство или нет. Если доктор прав, то жизни Бовуара ничто не угрожает. Но Гамаш знал, что опасность еще далеко не миновала.

Он быстро нашел маленький пузырек с маленькими таблетками в маленькой келье Бовуара. Под подушкой. Жан Ги даже не потрудился его спрятать. Правда, он не предполагал, что потеряет сознание. Не предполагал, что его комнату будут обыскивать.

Гамаш взял пузырек через носовой платок.

Оксикодон. Только никто Бовуару его не выписывал. Его вообще никому не выписывали. На этикетке Гамаш прочел лишь название изготовителя, а также название и дозировку лекарства.

Засунув пузырек в карман, Гамаш обыскал келью и нашел бумажку в мусорной корзинке.

«Принимать по необходимости». И подпись. Он педантично сложил клочок бумаги. С гораздо большей аккуратностью, чем требовалось. Остановился у окна, посмотрел на туман.

Да. Туман рассеивался.

Брат Шарль в лазарете занимался бумажной работой и каждые несколько минут проверял состояние Бовуара. Дыхание, прежде поверхностное, частое, улучшилось. Стало более глубоким. Если прежде инспектор полиции был без сознания, то теперь он просто спал.

Доктор знал, что он проснется приблизительно через час с головной болью, мучимый жаждой и чувством голода.

Брат Шарль ему не завидовал.

Монах поднял голову и вздрогнул. В дверях стоял Арман Гамаш. Спустя мгновение старший инспектор закрыл дверь.

– Нашли? – спросил доктор.

Ему не понравился взгляд Гамаша.

– Нашел. У него под подушкой.

Брат Шарль протянул руку, но Гамаш не шелохнулся. Он продолжал смотреть, и монах опустил глаза, не в силах более выдерживать жесткий, тяжелый взгляд полицейского.

– И вот еще что я нашел.

Гамаш вытащил из кармана бумажку, и монах подошел, чтобы взять ее, но старший инспектор отвел руку. Брат Шарль прочел ее, удерживаемую между пальцами Гамаша, и посмотрел в глаза старшему инспектору.

Рот монаха открылся, но он не произнес ни слова. Его лицо побагровело, он снова взглянул на бумажку в руке Гамаша.

Он увидел собственный почерк. Собственную подпись.

– Но я не… – начал было он и покраснел еще сильнее.

Старший инспектор Гамаш убрал бумажку в карман и подошел к Бовуару. Положил пальцы на шею инспектора, прощупал пульс. Доктор заметил, что движения Гамаша заученные. Естественные для главы отдела по расследованию убийств. Который хочет убедиться, жив ли человек. Или мертв.

Потом Гамаш повернулся к доктору.

– Ваш почерк? – спросил он.

– Да, но…

– И ваша подпись?

– Да, но…

– Вы дали Бовуару эти таблетки? – Гамаш сунул руку в карман и вытащил пузырек в платке.

– Нет, я не давал ему никаких таблеток. Позвольте мне посмотреть.

Доктор потянулся к пузырьку, но Гамаш отвел руку в сторону, и монаху пришлось наклониться, чтобы прочесть надпись.

Изучив пузырек, он повернулся, подошел к шкафу с лекарствами и отпер его, вытащив ключ из кармана.

– У меня здесь есть оксикодон, но только на самый крайний случай. Обычно я его никому не прописываю. Опасная вещь. Все мои запасы можно проверить. У меня есть записи – посмотрите, что я заказывал, когда и что выписывал. Ничто не пропало.

– Записи можно и подделать.

Доктор кивнул и протянул Гамашу маленький пузырек с таблетками, тот надел очки и прочитал.

– Как видите, старший инспектор, те же таблетки, только дозировка

и поставщик другие. Я никогда не прописываю большие дозировки. А лекарства мы получаем у дилера в Драммонвиле.

Гамаш снял очки:

– Как вы объясните эту записку?

Они оба посмотрели на бумажку в руке Гамаша.

«Принимать по мере необходимости». И подпись доктора.

– Вероятно, я выписывал лекарство кому-то другому, а тот, кто подсунул оксикодон вашему инспектору, нашел эту бумажку и воспользовался ею.

– Кому вы назначали лекарства в последнее время?

Доктор подошел к своим записям, но они оба знали, что можно обойтись и без проверки, при таком ограниченном количестве потенциальных пациентов и недавно выписанном предписании. Брат Шарль почти наверняка помнил все и без записей.

И все же он посмотрел в свои бумаги, потом вернулся.

– Я должен попросить у вас ордер на разглашение медицинской тайны, – сказал он.

Но они оба знали, что ничего такого не будет. Что монах просто оттягивает неизбежное, хотя ни один из них в этом не заинтересован. К тому же монах больше ни за что не хотел ощущать на себе холодный, жесткий взгляд Гамаша.

– Я выписывал лекарство настоятелю. Отцу Филиппу.

– Merci. – Гамаш еще раз подошел к Бовуару и посмотрел на лицо своего спящего инспектора. Он подоткнул под него одеяло и направился к двери. – Вы можете мне сказать, что прописывали настоятелю?

– Мягкий транквилизатор. После смерти приора у настоятеля пропал сон. А ему нужно было руководить монастырем, и он обратился ко мне за помощью.

– А прежде вы прописывали ему транквилизаторы?

– Нет. Никогда.

– А другим братьям? Транквилизаторы? Таблетки от бессонницы? Анальгетики?

– Такое случается. Но я внимательно наблюдаю за пациентами.

– Вы не знаете, пользовался ли настоятель транквилизаторами?

Доктор отрицательно покачал головой:

– Нет, не знаю. Сомневаюсь. Медикаментам он предпочитает медитацию. Как и все мы. Но ему на всякий случай хотелось иметь еще что-то. И вот я написал ему эту бумажку.

Арман Гамаш вошел в Благодатную церковь и остановился сразу же за дверью. А потом сел на крайнюю скамью. Не молиться, а думать.

Если доктор сказал ему правду, то эту бумажку нашел кто-то и использовал, чтобы создать у Бовуара впечатление, будто таблетки прописаны монахом-доктором. Гамашу хотелось бы убедить себя, что Бовуар не знал о том, какие таблетки принимает, но на пузырьке стояли четкие буквы: «Оксикодон».

Бовуар знал. И взял пузырек себе. Никто его не заставлял. Но кто-то искушал. Гамаш посмотрел в сторону алтаря, который изменился за несколько минут с тех пор, как он сюда пришел. Сверху, словно сияющие акробаты, падали световые лучи.

Туман рассеивался. Значит, лодочник приплывет за ними. Успеет ли он, Гамаш, сделать то, что ему нужно? Старший инспектор увидел в церкви еще кого-то – человек тихо сидел на скамье у стены. Видимо, даже не пытался прятаться. Но все же не выбрал открытое место.

Доминиканец. На коленях у него лежала книга, и он читал в отраженном свете.

И тут старший инспектор с отвращением понял, что он должен сделать.

Первое, что почувствовал Бовуар, – свой рот. Громадный рот. Обложенный мехом и слякотью. Он открыл его и закрыл. И тут его оглушил звук. Шлепающий, чавкающий звук – такой звук издавал его дед во время еды в последние свои годы.

Потом он прислушался к своему дыханию. Оно тоже стало неестественно громким.

Наконец он с трудом раскрыл один глаз. Другой, казалось, оставался склеен. Сквозь щелочку он увидел Гамаша, который сидел на жестком стуле рядом с кроватью.

Бовуар на мгновение запаниковал. Что случилось? В последний раз Бовуар видел шефа в такой позе, когда лежал серьезно, чуть ли не смертельно раненным. Неужели он попал в переделку еще раз?

Нет, такое невозможно. Теперь он и чувствовал себя иначе. Да, усталость, чуть ли не изнеможение остались, но боль прошла. Хотя в глубине что-то словно завязалось узлом.

Он посмотрел на сидевшего неподвижно Гамаша. На носу очки, читает. В прошлый раз, в монреальской больнице, Гамаш тоже лежал после ранения. Его лицо потрясло Бовуара, когда он пришел в сознание настолько, что смог воспринять хоть краешек действительности.

Лицо шефа было покрыто ссадинами, лоб перебинтован. А когда Гамаш поднялся, чтобы наклониться над Бовуаром, Жан Ги увидел гримасу боли, но лицо шефа тут же расплылось в улыбке.

«Все хорошо, сынок?» – тихо спросил он.

Говорить Бовуар не мог. Он чувствовал, что снова погружается в небытие, но, пока оставались силы, смотрел в эти умные карие глаза, а потом ему пришлось закрыть свои.

И вот теперь он смотрел на шефа в лазарете монастыря.

Он не видел ссадин на лице Гамаша, и хотя шрам на левом виске оставался и останется навсегда, сама рана затянулась. Шеф исцелился.

А Бовуар – нет.

Да что говорить, Бовуару сейчас казалось, что чем здоровее становился шеф, тем слабее – он, Бовуар. Словно Франкёр сказал правду и Гамаш высасывает из него жизненные соки. Использует, чтобы потом выбросить за ненадобностью. А на его место поставить Изабель Лакост – он уже присвоил ей то же звание, что и Бовуару.

Но Бовуар знал, что это не так. Он вырвал гнилую мысль из своей плоти и почти увидел, как она полетела прочь от него. Такие ужасные мысли – они всегда с крючком.

– Bonjour. – Шеф поднял голову и увидел, что глаза Жана Ги открыты. – Как ты себя чувствуешь? – Он наклонился над кроватью и улыбнулся. – Ты в лазарете.

Жан Ги попытался сесть, и Гамаш ему помог. Они были одни. Доктор ушел на одиннадцатичасовую мессу, оставив Гамаша наедине с инспектором.

Гамаш поднял подголовник кровати, положил под голову Бовуара подушки и помог ему выпить стакан воды. И все без единого слова. Бовуар снова почувствовал себя человеком. Взгляд его постепенно прояснился, а быстро сменявшиеся воспоминания ускорили процесс.

Во взгляде Гамаша он не увидел ни строгости, ни раздражения, ни злости. Но шефу требовались ответы.

– Что с тобой случилось? – спросил наконец Гамаш.

Бовуар ничего не сказал, в смятении наблюдая за тем, как шеф залез в карман пиджака и вытащил оттуда носовой платок. Потом развернул его.

Жан Ги кивнул и закрыл глаза. Ему стало так стыдно, что он не мог взглянуть Гамашу в глаза. А если бы и смог, то уж посмотреть в глаза Анни – точно никогда.

Когда он подумал об этом, ему стало так нехорошо, что к горлу подступила тошнота.

– Ничего, Жан Ги. Ты просто ошибся, вот и все. Мы отвезем тебя домой, там тебе помогут. Все можно исправить.

Бовуар открыл глаза – Арман Гамаш смотрел на него без жалости. Но с решимостью. И уверенностью, что все будет хорошо.

– Oui, patron, – сумел произнести он.

И даже обнаружил, что верит в свои слова. Верит, что и нынешняя беда минует.

– Расскажи мне, что случилось. – Гамаш убрал пузырек и наклонился над Бовуаром.

– Я нашел пузырек на прикроватной тумбочке с запиской от доктора. И подумал… подумал, что он мне прописал. Что ничего страшного, если от доктора. Я решил, что у меня нет выбора. – Он посмотрел в глаза шефа и продолжил неуверенно: – Нет, я не решил – я хотел их принять. Не знаю, почему у меня возникла эта жажда, но они попались под руку, и я стал принимать.

Старший инспектор кивнул, давая Бовуару время взять себя в руки.

– Когда это случилось? – спросил он.

Бовуар задумался. Когда? Наверняка несколько недель назад. Месяцев. В другой жизни.

– Вчера днем.

– Пузырек поставил туда не доктор. А если не доктор, то кто? Как ты думаешь?

Бовуар удивленно взглянул на шефа. Ему и мысли такие в голову не приходили, он сразу решил, что пузырек от доктора-монаха. Он отрицательно покачал головой.

Гамаш встал и дал Бовуару еще один стакан воды.

– Есть хочешь? Могу принести тебе сэндвич.

– Нет, patron. Спасибо. Не хочу.

– Настоятель вызвал лодочника, и тот будет здесь приблизительно через час. Мы уезжаем вместе.

– А как же расследование? Убийство?

– За час много чего может случиться.

Бовуар проводил Гамаша взглядом. Он знал, что шеф прав. За час много чего может произойти. И многое может рассыпаться на части.

Глава тридцать четвертая

Арман Гамаш сидел на передней скамье и наблюдал за монахами, служившими одиннадцатичасовую мессу. Время от времени он закрывал глаза и молился, чтобы его план сработал.

У него оставалось меньше часа. А может быть, лодочник уже причалил к пристани. Гамаш посмотрел на настоятеля – тот оставил свое место на скамье и прошел в алтарь, встал на колени и пропел несколько строк латинской молитвы.

Один за другим к нему присоединялись остальные братья.

Вызов, ответ. Вызов. Ответ.

Затем наступило мгновение, когда все звуки смолкли и словно повисли в воздухе. Не молчание, а глубокий общий вдох.

А потом все голоса соединились в хоре, который кроме как величественным и не назовешь. Арман Гамаш почувствовал, что пение доходит до самого его сердца. Несмотря на то, что случилось с Бовуаром. Несмотря на то, что случилось с братом Матье. Несмотря на то, что ожидалось через несколько минут.

Незаметно для Гамаша в церкви появился Жан Ги Бовуар. Уйдя из лазарета, Гамаш оставил Бовуара в странном состоянии – тот то погружался в сон, то снова просыпался, наконец все же преодолел себя и встал. Все тело у него болело. Его состояние совсем не улучшалось, а становилось все хуже. Он как старик прошел по длинному коридору. Плелся, волоча ноги. Суставы у него хрустели. Дыхание было поверхностным. Но каждый шаг приближал его к тому месту, где он должен был находиться.

Не в Благодатной церкви, а рядом с Гамашем.

Дойдя до церкви, он увидел в первом ряду шефа.

Но ноги Жана Ги Бовуара уже проделали максимум того, что могли, и он рухнул на скамью в последнем ряду. Наклонился вперед, ухватившись руками за спинку передней. Не в молитве. Но в некоем потустороннем мире.

А настоящий мир казался таким далеким. В отличие от музыки. Она обволакивала его. Не только снаружи, но и изнутри. Музыка звучала просто и понятно. Голоса, поющие в унисон. Один голос, одна мелодия. Сама простота пения одновременно успокаивала Бовуара и заряжала его энергией.

Здесь не было хаоса. Ничего неожиданного. Кроме воздействия на него этих голосов. Вот что стало для него полной неожиданностью.

Что-то странное словно сошло на него. Он никогда не чувствовал себя так.

Но вдруг он понял, в чем дело.

Покой. Полный душевный покой.

Бовуар закрыл глаза и позволил невмам унести его – со скамьи, из Благодатной церкви. Они понесли его из монастыря, над озером и лесом. И он летел с ними, свободный и ничем не связанный.

Это было лучше, чем парацетамол, лучше, чем оксикодон. Он не чувствовал ни боли, ни тревоги, ни забот. Не стало ни «мы», ни «они», ни границ, ни пределов.

Потом музыка прекратилась, и Бовуар мягко опустился на землю.

Он открыл глаза и огляделся, спрашивая себя, заметил ли кто-нибудь то, что сейчас произошло с ним. Он увидел старшего инспектора Гамаша на одной из передних скамей, а напротив него – суперинтенданта Франкёра.

Бовуар оглядел церковь. Кого-то здесь не хватало.

Доминиканца. Что стало с человеком из инквизиции?

Бовуар повернулся в сторону алтаря и тут заметил быстрый взгляд, брошенный Гамашем на суперинтенданта.

«Господи боже, – подумал Бовуар. – Как же он его ненавидит!»

Арман Гамаш снова перевел взгляд на монахов. Пение прекратилось, и настоятель опять остановился в центре погрузившейся в молчание церкви.

И вдруг в тишине раздался голос. Тенор. Поющий.

Настоятель посмотрел на братию. Братия посмотрела на настоятеля. С широко распахнутыми глазами, но закрытыми ртами.

Однако чистый голос продолжал пение.

Настоятель стоял над облатками и чашей с вином. Телом и кровью Христа. Вода замерла каплями в воздухе в застывшем благословении.

Прекрасный голос звучал отовсюду, он словно соскользнул по столбам неяркого света и завладел церковью.

Настоятель повернулся к своей немногочисленной братии. Посмотреть, не потерял ли кто-то из них рассудок, найдя взамен голос. Но увидел только троих полицейских. Они сидели порознь. Наблюдали. Молчали.

Потом из-за памятной доски святого Гильберта появился доминиканец.

Брат Себастьян медленно, торжественно вышел на середину церкви. И остановился там.

– Я вас не слышу, – пропел он в жизнерадостном темпе. Гораздо быстрее, легче, чем в любом григорианском песнопении, когда-либо звучавшем в церкви. Латинские слова заполнили воздух. – У меня банан в ухе.

Та музыка, с которой умер приор, ожила.

– Я не рыба, – пел доминиканец, идя по среднему проходу. – Я не рыба.

Монахи и настоятель застыли как парализованные. Маленькие радуги танцевали между ними, а утреннее солнце все больше и больше разгоняло туман. Брат Себастьян подошел к алтарю с высоко поднятой головой, держа руки в рукавах. Его голос заполнял пустоту.

– Прекратите!

Это было не требование, а скорее вой. Рев.

Но доминиканец не прекратил – он продолжил петь и идти вперед. Неспешно и неумолимо приближался он к алтарю. И к монахам.

Арман Гамаш медленно поднялся на ноги, устремив глаза на монаха, отделившегося от остальных.

Одинокий голос.

– Не-е-ет! – закричал от боли монах.

Пение доминиканца словно обжигало ему кожу. Будто инквизиция тащила на костер самого последнего монаха.

Брат Себастьян остановился перед настоятелем и поднял голову.

– Dies irae, – пропел брат Себастьян.

«День гнева».

– Прекратите! – взмолился монах. Он шагнул к доминиканцу и опустился на колени. – Пожа-а-а-алуйста…

И доминиканец прекратил. Теперь церковь наполняли только рыдания. И веселый свет.

– Вы убили вашего приора, – тихо сказал Гамаш. – Ecce homo. Се человек. Вот за это вы его и убили.

– Благословите меня, отец, ибо грешен я.

Настоятель перекрестился:

– Продолжай, сын мой.

Последовала долгая пауза. Настоятель знал, что исповедальня за многие века наслышалась всякого. Но ничего столь отвратительного, как сейчас.

Господь, конечно, все знал. Вероятно, знал еще до того, как убийца нанес удар. Вероятно, еще до того, как возникла мысль об убийстве. Эта исповедь предназначалась не для Бога, а для грешника, для овцы, которая слишком далеко отбилась от стада. И потерялась в земле волков.

– Я совершил убийство. Я убил приора.

По коже Жана Ги Бовуара ползали жуки, и он подумал, что лазарет – настоящее скопище клопов и тараканов.

Он провел руками по бицепсам, попытался дотянуться до насекомых, которые ползали у него по спине. Они с шефом сидели в кабинете приора, занимались бумажной работой, делали записи. Собирали вещи. Последние приготовления, перед тем как сесть в лодку.

Суперинтендант Франкёр произвел официальный арест, взял арестованного под свою ответственность и вызвал гидросамолет, чтобы забрал их. Франкёр сидел теперь в Благодатной церкви, а монах-убийца исповедовался. Не перед полицией, а перед своим исповедником.

Недомогание волнами накатывало на Бовуара. Становилось ближе и ближе, он едва мог сидеть на месте. Жуки ползали под его одеждой, а волны тревоги поднимались все выше и выше, пока он не обнаружил, что больше не может дышать.

И боль тоже вернулась. В его желудок, в костный мозг. Все болело: волосы, глазные яблоки, сухие губы.

– Мне нужно принять таблетку, – сказал он, пытаясь сосредоточить взгляд на человеке рядом с собой.

Гамаш оторвал голову от записей и уставился на него.

– Прошу вас. Всего одну. Последнюю. Всего одну, чтобы добраться до дому.

– Доктор велел дать тебе тайленол усиленного действия…

– Я не хочу тайленол! – прокричал Бовуар, ударив ладонью по столу. – Ради бога, прошу вас! Последнюю, клянусь!

Старший инспектор вытряс из пузырька две таблетки на ладонь, обошел стол со стаканом воды. Протянул ладонь Бовуару. Жан Ги схватил таблетки и швырнул их на пол:

– Не эти! Не тайленол! Мне нужны другие!

Он видел пузырек в кармане Гамаша.

Жан Ги Бовуар знал, что ему нельзя принимать таблетки. Знал, что он рискует перейти черту, которую никогда нельзя пересекать. Но знание не имело никакого значения. Только боль. И ощущение жуков на коже, и тревога. И потребность.

Он резко поднялся со стула и ринулся на Гамаша, попытался залезть ему в карман, отчего они оба ударились о стену.

– Я убил приора…

– Продолжай, сын мой, – сказал настоятель.

Последовало молчание. Но не тишина. Отец Филипп слышал хрипы – человек в другой половине исповедальни пытался дышать.

– Я не хотел убивать! Правда!

Голос набирал истерическую высоту, и настоятель знал, что от этого будет мало пользы.

– Медленно, – посоветовал он. – Медленно. Расскажи мне, что случилось.

Еще одна пауза: монах пытался взять себя в руки.

– Брат Матье хотел поговорить о том песнопении, что он сочинил.

– Матье сочинил песнопение? – Настоятель знал, что не должен задавать вопросы во время исповеди, но не мог удержаться.

– Да.

– Слова и музыку? – спросил настоятель и пообещал себе, что больше ни о чем спрашивать не будет.

А потом молча попросил у Бога прощения за ложь.

Он знал, что будут и другие вопросы.

– Да. Он написал музыку, а после вставил случайные латинские слова, какие попадали в размер. Он хотел, чтобы я написал настоящие слова.

– Он хотел, чтобы ты написал молитву?

– Вроде того. Не то чтобы я такой уж знаток латыни, но любой знает латынь лучше, чем он. И наверное, ему требовался союзник. Он хотел, чтобы песнопения стали еще популярнее, и думал, что если мы немного их модернизируем, то привлечем больше людей. Я пытался его отговорить. Он встал на ложный путь. На путь богохульства.

Настоятель сидел молча, ждал продолжения. И оно последовало.

– Около недели назад приор дал мне новое песнопение. Он сказал, что если я ему помогу, то буду петь это на новой записи. Стану солистом. Он пребывал в эйфории. И поначалу я тоже. Пока не вникнул в суть дела. А когда вникнул, то понял, что он делает. Это не имело ничего общего с величием Бога, а относилось только к его «я». Он ждал, что я отвечу согласием. Он ушам своим не поверил, когда я отказался.

– И что тогда сделал брат Матье?

– Попытался подкупить меня. Потом рассердился. Сказал, что вообще исключит меня из хора.

Отец Филипп представил себе, как бы это выглядело: единственный монах, не участвующий в песнопениях. Исключенный из величия. Исключенный из сообщества. Изгой. Погруженный в полное молчание.

Это означало смерть.

– Я должен был остановить его. Иначе он уничтожил бы все. Песнопения, монастырь. Меня. – Бестелесный голос смолк, набираясь сил. А когда снова заговорил, то так тихо, что настоятелю пришлось прижать ухо к решетке, чтобы услышать. – Он замыслил скверну. Вы ее слышали, mon père. Вы понимаете: тут требовались действия.

Да, подумал настоятель, он слышал. Не мог поверить своим глазам и ушам, когда увидел поющего доминиканца в центральном проходе Благодатной церкви. Сначала настоятель испытал потрясение, даже приступ злости. А потом, да простит его Господь, весь его гнев исчез, и он поддался соблазну.

Матье создал песнопение со сложным ритмом. Музыка сломила последний рубеж обороны настоятеля. Пробила стены, о существовании которых он даже не подозревал. И ноты, невмы, прекрасный голос нашли отзвук в сердце Филиппа.

И несколько мгновений настоятель познавал полное и совершенное блаженство. Он исполнился любви. К Богу, к человеку. К себе. Ко всем людям, ко всему сущему.

Но сейчас он не слышал ничего, кроме рыданий в исповедальне.

Брат Люк наконец сделал свой выбор. Оставил пост привратника и убил приора.

Гамаш почувствовал, что его отбросило назад, и попытался тверже встать на ноги. Он ударился спиной о каменную стену, у него перехватило дыхание.

Но гораздо большим потрясением за долю секунды до удара стало осознание того, кто делает это с ним.

Он хватал ртом воздух, чувствуя, как рука Жана Ги лезет к нему в карман. За таблетками.

Гамаш ухватил эту руку, вывернул ее. Бовуар взвыл и стал действовать еще настойчивее. Он молотил руками под собственные завывания, ударял Гамаша по лицу, в грудь. Отбрасывал его назад в отчаянной, целенаправленной попытке добраться до того, что лежит в кармане старшего инспектора.

Ничто больше не имело значения. Бовуар выкручивался, толкался, он бы процарапался сквозь бетон, лишь бы получить заветный пузырек.

– Прекрати, Жан Ги, прекрати! – прокричал Гамаш, понимая, что толку от его призывов будет мало.

Бовуар сошел с ума. Шеф выставил локоть и нажал на горло Бовуара и тут увидел то, от чего его сердце чуть не остановилось.

Жан Ги Бовуар потянулся за пистолетом.

– Всё эти невмы! – рыдал брат Люк.

Он гнусавил, и настоятель представил себе, как брат Люк вытирает сопливый нос длинным черным рукавом монашеской мантии.

– Я поверить не мог. Думал, что это шутка, но приор сказал, что сочинил шедевр. Что его творение родилось после целой жизни, посвященной изучению песнопений. Голоса будут звучать в песнопении. Вместе. Другие невмы – для инструментов. Органа, скрипки и флейты. Он работал над этим много лет, отец настоятель. А вы даже не догадывались!

В молодом голосе звучали обвинительные нотки. Словно это приор совершил грех, а настоятель не справился со своими обязанностями.

Отец Филипп посмотрел сквозь решетку исповедальни, пытаясь увидеть то, что там, по другую сторону. Увидеть молодого человека, за которым он наблюдал еще с семинарии. Присматривал с расстояния, как он рос, как созревал, как выбирал монашеский орден. Как его голос начал долгое путешествие из головы в сердце.

Но путешествие так и не закончилось, хотя ни настоятель, ни приор не узнали об этом. Прекрасный голос застрял комом в горле молодого человека.

После успеха их первого диска, но до раскола Матье и настоятель встретились для очередного разговора в саду. И Матье сказал: время пришло. Хору необходим голос этого молодого человека. Матье хотел работать с ним, способствовать формированию его необыкновенного голоса, прежде чем им завладеет какой-нибудь менее талантливый регент.

Перед этим умер один из пожилых братьев, и настоятель, хотя и неохотно, согласился. Его смущало то, что брат Люк так молод, а монастырь так удален от цивилизации.

Но Матье проявил настойчивость.

И теперь, глядя через решетку на убийцу Матье, настоятель спрашивал себя: на кого же хотел повлиять приор – на самого монаха или на его голос?

Понимал ли Матье, что другие братья могут не захотеть петь такое революционное сочинение? Но если бы ему удалось завлечь в монастырь молодого, не имеющего связей монаха, тот, вероятно, согласился бы.

Матье говорил убедительно, а Люк оказался впечатлительным. Или, по меньшей мере, приору так казалось.

– И что дальше? – спросил настоятель.

Последовала пауза, послышалось прерывистое дыхание.

Отец Филипп не стал настаивать. Он пытался убедить себя, что руководствуется требованием проявлять терпение. Но знал, что им руководит страх. Он не хотел слышать, что произошло потом. Четки свешивались с его руки, губы шевелились. И он ждал.

Гамаш ухватил Бовуара за руку, пытаясь выбить из нее пистолет. Жан Ги издал вопль, крик отчаяния. Он бешено сопротивлялся, махал руками, пинался и бодался, но Гамашу наконец удалось заломить его руку за спину, и пистолет с металлическим лязгом упал на пол.

Они оба тяжело дышали. Гамаш прижимал лицо Жана Ги к грубой каменной стене. Бовуар дергался, пытался вырваться, но Гамаш крепко держал его.

– Отпустите меня! – прокричал Бовуар в стену. – Отдайте мои таблетки! Мою собственность!

Старший инспектор держал его, пока дерготня и попытки вырваться не ослабли, не прекратились. Пока не остался только инспектор, хватающий ртом воздух. Обессиленный.

Гамаш снял кобуру с ремня Бовуара, залез к нему в карман и вытащил удостоверение сотрудника Квебекской полиции. Потом нагнулся, поднял пистолет и развернул Бовуара лицом у себе.

Из царапин на щеке Бовуара сочилась кровь.

– Мы уезжаем отсюда, Жан Ги. Мы садимся в лодку и отбываем в Монреаль, и я сразу же везу тебя в реабилитацию.

– Идите вы в жопу! Я не собираюсь возвращаться. И вы думаете, что, лишая меня таблеток, делаете полезное дело? Я могу достать еще, даже не выходя из управления.

– Ты не попадешь в управление. Ты отстранен. Неужели ты надеешься, что я позволю тебе работать с пистолетом в одном кармане и таблетками в другом? Пока что побудешь на больничном, а когда доктора скажут, что ты здоров, мы поговорим о восстановлении тебя в должности.

– Идите в жопу! – прошипел Бовуар.

Ниточка слюны вытекала из его рта на подбородок.

– Если ты не поедешь добровольно, я арестую тебя за нападение, а в реабилитацию ты отправишься по приговору суда. Ты меня знаешь, я это сделаю.

Бовуар посмотрел в глаза Гамаша и увидел: да, сделает.

Гамаш засунул к себе в карман значок Бовуара и его удостоверение. Бовуар стоял с приоткрытым ртом, слюна сочилась на его свитер. Широко раскрытые глаза остекленели, его качало.

– Вы не можете меня отстранить.

Гамаш глубоко вздохнул и отступил от Бовуара:

– Я знаю: это не ты, а твои проклятые таблетки. Они тебя убивают, Жан Ги. Но ты пройдешь курс лечения, и все будет хорошо. Верь мне.

– Как я верил вам на фабрике? Как вам верили другие?

Даже в своем одурманенном состоянии Бовуар понял, что нанес точный удар. Он увидел, как дернулся от этих слов Гамаш.

И обрадовался.

Старший инспектор засунул его пистолет в кобуру и закрепил ее у себя на поясе.

– Кто дал тебе эти таблетки?

– Я вам сказал: я нашел их у себя в комнате вместе с предписанием доктора.

– Никакой доктор тебе их не выписывал.

Но в одном Бовуар был прав. Достать таблетки он мог в любое время, когда ему заблагорассудится. В Квебеке оксикодон продавался повсюду. Сейф для хранения вещдоков был под завязку забит пузырьками с оксикодоном. Некоторые из них даже предъявлялись в суде.

Гамаш стоял не двигаясь.

Он знал, кто подсунул Бовуару таблетки.

– Ecce homo, – сказал настоятель. – Почему Матье перед смертью произнес эти слова?

– Это я их произнес, когда ударил его.

– Почему?

Последовала еще одна пауза, еще несколько прерывистых вздохов.

– Он оказался совсем не тем человеком, каким я его представлял.

– Ты хочешь сказать, что он оказался простым человеком, – подсказал настоятель. – Не святым, как тебе представлялось. Он считался мировым специалистом по григорианским песнопениям. Даже гением. Но оставался просто человеком. А ты ждал от него чего-то большего.

– Я его любил. Я мог бы сделать что угодно ради него. Но он просил меня уничтожить песнопения, а это было выше моих сил.

– Ты пошел в сад, зная, что можешь его убить? – спросил настоятель, стараясь говорить нейтральным голосом. – Ты взял с собой дверную

колотушку.

– Мой долг состоял в том, чтобы остановить его. Когда мы встретились в саду, я попытался вразумить приора, попросил поменять решение. Я порвал лист, который он мне вручил. Я думал, у него единственный экземпляр. – Голос смолк. Дыхание стало учащенным, поверхностным. – Брат Матье впал в бешенство. Сказал, что вышвырнет меня из хора. Что я во время богослужений буду сидеть на скамье.

Настоятель слушал брата Люка, но видел Матье. Не любящего, доброго, благочестивого друга, а человека, обуянного яростью. Загнанного в угол. Получившего отказ. Настоятель едва мог противиться силе его личности. И теперь он понимал, на чем мог сломаться молодой брат Люк. И что заставило его нанести удар.

– Я хотел одного – петь. Приехал сюда, чтобы учиться у приора петь. И все. Неужели этого мало?

Голос звучал пискляво, невнятно. Настоятель пытался разобрать слова. Брат Люк плакал и молил понять его.

Матье был человек, как и этот юноша.

Как и сам настоятель.

Отец Филипп опустил голову на руки, слыша рыдания молодого человека.

Арман Гамаш оставил Бовуара в кабинете приора, а сам отправился в Благодатную церковь. С каждым шагом ярость в нем закипала сильнее.

Таблетки убивали Жана Ги. Гамаш знал: его инспектора ждет долгое, медленное соскальзывание в могилу. И человек, подсунувший Бовуару таблетки, тоже знал. Но все равно сделал это.

Старший инспектор распахнул дверь Благодатной церкви с такой силой, что она ударилась о стену. Монахи повернулись на звук удара.

Повернулся и Сильвен Франкёр. И Гамаш, приближаясь к Франкёру с ледяным неколебимым спокойствием, увидел, как улыбка сошла с красивого лица суперинтенданта.

– Нам нужно поговорить, Сильвен, – сказал Гамаш.

Франкёр отступил, поднялся по ступенькам в алтарь.

– Сейчас неподходящее время, Арман. Самолет может прилететь в любую минуту.

– Самое подходящее.

Гамаш продолжал идти вперед, не сводя глаз с Франкёра. В руке он сжимал пузырек в платке.

Наконец Гамаш широкими шагами приблизился к суперинтенданту

и раскрыл кулак, предъявляя ему пузырек.

Франкёр пустился было наутек, но Гамаш оказался проворнее и прижал его к стене. Монахи бросились кто куда. Только доминиканец остался на месте. Он не сказал ни слова, не шелохнулся.

Гамаш приблизил лицо вплотную к лицу Франкёра.

– Вы могли его убить! – прорычал он. – Почти что убили! Как вы могли сделать такое, да еще с вашим подчиненным?

Он ухватил Франкёра за рубашку, дернул ее. Почувствовал теплое дыхание суперинтенданта на своем лице, короткие, испуганные выдохи.

И Гамаш понял. Еще немного давления. Еще несколько секунд – и проблема исчезнет. Исчезнет человек по имени Франкёр. Еще раз дернуть за рубашку.

И кто сможет его обвинить?

Но Гамаш отпустил суперинтенданта. Сделал шаг назад, гневно глядя на него. Он и сам дышал учащенно. Ему потребовалось усилие воли, чтобы взять себя в руки.

– Ты в жопе, Гамаш, – хрипло прошептал Франкёр.

– Что случилось? – раздался голос.

Они оба повернулись и увидели Жана Ги Бовуара – тот держался за спинку скамьи, глядя на них. Лицо его побледнело, покрылось капельками пота.

– Ничего, – сказал Гамаш, разглаживая помявшийся пиджак. – Лодка должна уже быть на пристани. Мы собираем вещи и уезжаем.

Гамаш вышел из алтаря и направился к двери. И тут он заметил, что идет один.

Франкёр не шелохнулся. Но и Бовуар остался на месте.

Гамаш медленно пошел назад по проходу, не сводя глаз с Бовуара.

– Ты меня слышишь, Жан Ги? – спросил он. – Нам пора.

– Инспектор Бовуар, как я вижу, в нерешительности, – заметил Франкёр, разглаживая на себе рубашку.

– Вы меня отстранили, – сказал Бовуар. – Я не нуждаюсь в реабилитации. Если я поеду с вами, обещайте, что не сдадите меня.

– Не могу, – ответил Гамаш, глядя в покрасневшие глаза Жана Ги. – Тебе нужна помощь.

– Не смешите меня, – фыркнул Франкёр. – С вами все в порядке, инспектор. Вам нужен всего лишь нормальный начальник, который не обращался бы с вами как с ребенком. Вы думаете, что попали в переделку. А вы подождите, когда он узнает про вас и Анни.

Бовуар развернулся в сторону Франкёра. Потом опять к Гамашу.

– Мы знаем про тебя и Анни, – сказал старший инспектор, не сводя глаз с Жана Ги. – Уже несколько месяцев.

– Тогда почему вы ничего не сказали? – спросил Франкёр. – Стыдно? Надеялись, их роман скоро закончится и ваша дочь образумится? Может, поэтому он и хочет унизить вас, инспектор Бовуар. Поэтому он вас и отстранил и хочет запереть в реабилитацию. Одним ударом милосердия он покончит с вашей карьерой и вашей любовью. Неужели вы думаете, что она выйдет замуж за наркомана?

– Мы уважали ваше решение молчать, – сказал Гамаш, игнорируя Франкёра и обращаясь только к Бовуару. – Мы знали: вы сообщите нам, когда будете готовы. Мы были бы так счастливы. За вас обоих.

– Ничуть он не счастлив, – возразил Франкёр. – Посмотрите на него. Вы же видите его лицо.

Гамаш сделал осторожный шаг вперед, словно приближаясь к пугливому оленю.

– Посмотри на меня, Жан Ги. Я знал о тебе и Анни из-за того букетика сирени. Помнишь цветы, которые мы сорвали вместе, а ты подарил ей?

Он говорил мягким голосом. Добрым.

Гамаш протянул к Бовуару правую руку. Руку помощи. Жан Ги заметил слабую дрожь в знакомой руке.

– Идем со мной, – сказал Гамаш.

В Благодатной церкви воцарилась полная тишина.

Наконец до них донесся хладнокровный голос:

– Он оставил вас умирать на фабрике. Побежал помогать другим, а вас оставил. Он вас не любит. Даже не сочувствует вам. И уж конечно, он вас не уважает. Иначе он бы никогда вас не отстранил. Он хочет вас унизить. Кастрировать. Отдайте ему оружие, Арман. И удостоверение.

Но Гамаш не шелохнулся. Он протягивал руку Бовуару. Устремлял на него взгляд.

– Старший суперинтендант прочел твою историю болезни – записи твоих разговоров с полицейским психологом, – сказал Гамаш. – Вот откуда он знает о твоих отношениях с Анни. Вот откуда он знает все о тебе. Все, что ты считал конфиденциальным, все, что ты говорил психологу, известно Франкёру. Он пользуется этим, чтобы манипулировать тобой.

– И опять он обращается с вами как с ребенком. Словно вами так просто манипулировать. Если вы, Арман, не можете доверить ему оружие, то я могу. – Франкёр отстегнул свою кобуру и приблизился к Бовуару. – Возьмите, инспектор. Я знаю, что вы никакой не наркоман. И никогда им не были. Вас мучила боль, и вам требовалось лекарство. Я вас прекрасно

понимаю.

Гамаш повернулся к Франкёру, подавляя желание вытащить пистолет из кобуры на поясе и завершить то, что начал.

«Глубокий вдох, – сказал он себе. – Выдох полной грудью».

Почувствовав, что опасность прошла, он повернулся к Бовуару:

– Тебе нужно сделать выбор.

Бовуар переводил взгляд с Франкёра на Гамаша и назад. Оба протягивали ему руку. Одна рука чуть подрагивала. Другая держала пистолет.

– Вы поместите меня в реабилитацию?

Гамаш несколько секунд смотрел на него. Потом кивнул.

Наступила долгая, долгая пауза. Наконец Бовуар нарушил ее. Не словом, а действием. Он сделал шаг в сторону от Гамаша.

Арман Гамаш стоял на берегу, провожая взглядом гидросамолет с Франкёром, братом Люком и Бовуаром на борту.

– Он образумится, – сказал доминиканец, подойдя к старшему инспектору.

Гамаш ничего не ответил, глядя, как самолет покачивается на волнах. Потом спросил:

– Вы, вероятно, тоже вскоре собираетесь в дорогу?

– Я не спешу.

– Неужели? Даже для того, чтобы доставить Книгу песнопений в Рим? Ведь вы прибыли сюда ради нее!

– Верно. Но я тут кое о чем размышлял. Она очень стара. Может быть, непригодна для перелетов. Я хорошенько подумаю, прежде чем предприму какие-либо действия. Может быть, даже помолюсь о ней. Чтобы принять решение, потребуется какое-то время. А «какое-то время» в церкви – время очень долгое.

– Не затягивайте, – сказал Гамаш. – Не хотелось бы вам напоминать, но фундамент крошится.

– Да, что касается фундамента… Я разговаривал с главой Конгрегации доктрины веры. На него произвело большое впечатление неколебимое желание настоятеля сохранить обеты молчания и смиренномудрия. Даже перед лицом внешних обстоятельств, включая и возможное обрушение монастыря.

Гамаш кивнул:

– Твердая рука на штурвале.

– Именно такими словами и отреагировал святой отец. На него это

тоже произвело впечатление.

Гамаш поднял брови.

– Настолько сильное впечатление, – продолжил брат Себастьян, – что Ватикан, видимо, оплатит восстановление Сен-Жильбера. Один раз мы их потеряли. Не хотелось бы потерять гильбертинцев снова.

Гамаш улыбнулся и кивнул. Отцу Филиппу явилось-таки чудо.

– Когда вы попросили меня пропеть новое творение брата Матье, вы уже знали, что убийца – брат Люк? – спросил доминиканец. – Или для вас это стало неожиданностью?

– Я его подозревал, но все-таки сомневался.

– А почему вы подозревали брата Люка?

– Ну, прежде всего, убийство произошло после службы первого часа. Я смотрел, куда направляются монахи после службы, и мне стало ясно, что только брат Люк остается один. Никто не приходит к нему в каморку. Никто не пошел в его коридор. Только брат Люк мог незамеченным пройти в сад, потому что все остальные работали группами.

– Кроме настоятеля.

– Верно. Я и его подозревал некоторое время. Откровенно говоря, почти до самого конца все находились под подозрением. Я понял, что, хотя отец Филипп и не признаётся в преступлении, какое-то чувство вины он в себе несет. Он солгал, хотя и знал, что его ложь всплывет на поверхность. Сказал, что спускался в подвал проверить геотермальную систему. Он хотел, чтобы мы знали: никто его там не видел.

– Но он не мог не понимать, что таким образом делает себя подозреваемым, – заметил брат Себастьян.

– Так он сам захотел. Он понимал, что один из его монахов совершил преступление, и чувствовал, что какая-то доля вины лежит на нем. Поэтому намеренно подставлялся. Но именно поэтому я и стал еще больше подозревать брата Люка.

– Почему?

Гидросамолет уже едва касался волн. Начинал взлет. Гамаш говорил с монахом, но не отрывал глаз от маленького самолета.

– Настоятель недоумевал, как он мог не заметить происходящего. Как мог не предвидеть. Он с самого начала произвел на меня впечатление необыкновенно наблюдательного человека. Почти ничто не проходило мимо его взгляда. И тогда я начал задавать себе тот же вопрос. Как мог настоятель не заметить? Я решил, что есть два возможных ответа. Он все прекрасно видел, но он сам и есть убийца. Или он ничего не заметил, потому что плохо знал потенциального убийцу. Последнего прибывшего.

Который все свое время предпочитал проводить в каморке привратника. Его не знал никто. Даже приор, как выясняется.

Самолет набирал высоту. Туман рассеялся, и Гамаш козырьком ладони защитил глаза от яркого солнца, провожая самолет.

– Ecce homo, – сказал брат Себастьян, глядя на Гамаша.

Потом он перевел взгляд на монастырь – из его дверей появился настоятель и пошел к ним.

– Отец Филипп выслушал исповедь брата Люка, – сказал доминиканец.

– Он сделал больше, чем я. – Гамаш посмотрел на монаха и снова перевел взгляд на небо.

– Думаю, брат Люк расскажет вам все. Это будет частью его покаяния. А кроме того, его ждет чтение «Аве Мария» до конца жизни.

– И тем он искупит свою вину? Заслужит прощение?

– Надеюсь. Вы рисковали, когда просили меня спеть песнопение, сочиненное приором. Что, если бы брат Люк не прореагировал?

Гамаш кивнул:

– Да, рисковал. Но я искал быстрое решение. Я надеялся, что если одного взгляда на новое песнопение хватило, чтобы подтолкнуть брата Люка к убийству, то, услышав его в Благодатной церкви, он тоже совершит что-то непредсказуемое.

– А если бы Люк не прореагировал? Не выдал себя? Что бы стали делать вы?

Гамаш взглянул в глаза монаху:

– Я думаю, вы знаете.

– Покинули бы монастырь вместе с вашим инспектором? Повезли бы его в больницу? Оставили нас с убийцей?

– Я бы вернулся. Но вы правы: я бы покинул монастырь вместе с Бовуаром.

Они оба посмотрели на самолет.

– Вы бы сделали все, чтобы спасти его жизнь, да?

Гамаш не ответил. Доминиканец развернулся и пошел назад в монастырь.

Жан Ги Бовуар смотрел через иллюминатор на сверкающее озеро.

– Вот, – сказал Франкёр, передавая что-то Бовуару. – Держите.

Бовуар неловко схватил пузырек с таблетками. Зажал его в кулаке.

– Merci.

Он быстро отвинтил колпачок и принял две таблетки. Потом приник

головой к прохладному стеклу иллюминатора.

Самолет заложил вираж и полетел над монастырем Сен-Жильбер-антр-ле-Лу.

Жан Ги на повороте посмотрел вниз. За стенами несколько монахов собирали ягоды. Он понял, что забыл взять шоколадные конфетки для Анни. Но у него появилось какое-то болезненное ощущение, что теперь это не имеет значения.

Прижавшись щекой к стеклу, он увидел монахов, работающих в огороде. Один из них собирал куриные яйца. Кур породы шантеклер. Спасенных от исчезновения. Как и гильбертинцы. Как и песнопения.

И еще он увидел Гамаша. Старший инспектор стоял на берегу, задрав голову. Рядом с ним стоял настоятель, а доминиканец уходил прочь.

Бовуар почувствовал, как таблетки начинают действовать. Боль наконец отступила, дыра в его организме затянулась. Бовуар внезапно понял, почему Гильберт из Семпрингхема выбрал для монахов ордена именно такие мантии – черные с белым капюшоном.

Сверху, с небес или с самолета, гильбертинцы походили на кресты. Живые кресты.

Но Господь и Бовуар могли увидеть и еще кое-что.

Монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу не имел крестообразной формы. На бумаге отец Клеман изобразил его в виде креста, но средневековый архитектор в очередной раз солгал.

На самом деле монастырь имел форму невмы. С искривленными, словно крылья, краями.

Возникало впечатление, будто монастырь Сен-Жильбер-антр-ле-Лу собирается взлететь.

И тут старший инспектор Гамаш снова поднял голову. А Бовуар отвернулся.

Гамаш провожал самолет взглядом, пока тот не исчез из виду, потом повернулся к настоятелю, который только что подошел к нему:

– Я понимаю, какое ужасное вы пережили время.

– Да, все мы, – согласился настоятель. – Надеюсь, мы получили хороший урок.

– И в чем же он состоял, ваш урок? – после небольшой паузы спросил Гамаш.

Настоятель ненадолго задумался.

– Вы знаете, почему мы называемся Сен-Жильбер-антр-ле-Лу? Почему наш символ – два переплетенных волка?

Гамаш покачал головой:

– Я считал, тут есть какая-то связь с первыми годами существования монастыря. Символ освоения глухой местности, приобщения к ней. Что-то в этом роде.

– Вы правы, символ восходит к отцу Клеману и другим, кто с ним приехал, – сказал настоятель. – Эту историю поведал им один из индейцев инну.

– Индейская история? – спросил Гамаш, удивленный тем, что гильбертинцы в старину могли вдохновиться чем-то, что, по их мнению, относилось к язычеству.

– Отец Клеман пишет о том случае в своем дневнике. Один из старейшин племени рассказал, что в бытность его мальчишкой к нему пришел его дед и сказал, что в нем борются два волка. Один серый, а другой черный. Серый хочет, чтобы его дед стал смелым, терпеливым и добрым. Другой, черный, хочет, чтобы он стал грозным и жестоким. Мальчик расстроился, он думал о рассказе деда несколько дней, потом пришел к старику и спросил: «Дедушка, а который из волков победит?»

Настоятель едва заметно улыбнулся и посмотрел на старшего инспектора:

– И знаете, что ответил дед?

Гамаш отрицательно покачал головой. На его лице застыло печальное выражение, и у настоятеля сжалось сердце.

– «Тот, которого я кормлю», – закончил рассказ отец Филипп.

Гамаш посмотрел на монастырь и подумал, что теперь тот простоит еще много поколений. Сен-Жильбер-антр-ле-Лу. Он неправильно понял эти слова. Святой Гильберт, не окруженный волками, а между ними. Там, где постоянно приходится делать выбор.

Настоятель обратил внимание на мрачное лицо Гамаша и на пистолет на его ремне.

– Вы не хотите исповедоваться?

Старший инспектор взглянул на небо, почувствовал дуновение северного ветра на лице. «Бедствие некое близится ныне».

Ему показалось, что он слышит вдали гул самолета. Но потом все стихло. И Гамаш остался наедине с великой тишиной.

– Пока еще нет, mon père.

Благодарности

«Эта прекрасная тайна» началась с очарования музыкой и очень личного и восторженного к ней отношения. Я люблю музыку. Каждая из моих книг навеяна тем или иным музыкальным произведением, и я убеждена, что музыка оказывает чуть ли не магическое воздействие на мой творческий процесс. Лечу ли я на самолете, отправляюсь ли на прогулку, еду ли в машине, я всегда слушаю музыку, которая помогает мне видеть сцены из задуманной книги. Я чувствую характеры. Слышу их. Ощущаю. Это восхитительно. Гамаш, Клара и Бовуар становятся еще живее, когда я слушаю ту или иную музыку. Музыка имеет преображающие свойства. Даже духовные. Я ощущаю в музыке божественное.

Я знаю, что я не одна такая.

Готовясь к написанию моего романа, я много читала, в том числе книгу профессора Даниеля Левитина из Университета Макгилла. Книга Левитина называется «Ваш мозг и музыка» – о неврологических свойствах музыки, о ее воздействии на наш мозг.

Мне захотелось исследовать эту прекрасную тайну. Каким образом несколько нот могут перенести нас в другое время и другое место. Воссоздать человека, событие, ощущение. Подвигнуть нас на храбрый поступок или довести до слез. А в конкретном случае настоящей книги я хотела исследовать силу воздействия древних песнопений. Григорианских песнопений. Силу воздействия на тех, кто поет и кто слушает.

Я не смогла бы завершить работу над «Этой прекрасной тайной» без той громадной помощи, что я получала от семьи и друзей, из книг, видео и опыта личной жизни, включая и замечательное и очень безмятежное пребывание в одном из монастырей.

Я хочу поблагодарить Лизу Деросье, мою удивительную помощницу, благодаря которой я могу посвятить себя творчеству, пока она занимается всем остальным. Спасибо вам, мои редакторы: Хоуп Деллон из нью-йоркского издательства «Минотавр букс» и Дэн Мэллори из «Литтл, Браун» в Лондоне. Спасибо вам, мои агенты Тереза Крис и Пэтти Музбрюггер. Спасибо моим первым читателям Дагу и Сюзан. Спасибо Марджори, она всегда доброжелательна и готова помочь.

Спасибо тебе, мой муж Майкл. Если и есть в моей жизни тайна более поразительная и сильная, чем музыка, то это любовь. Тайну которой я никогда не разгадаю, да и не хочу разгадывать. Я просто наслаждаюсь тем,

куда уносит меня любовь Майкла.

---

notes

Сноски

1

Литургия часов – в Римско-католической церкви наименование богослужений, которые должны совершаться ежедневно в течение дня.

2

Проспер Геранже (1805–1875) – литургист, историк церкви, настоятель бенедиктинского монастыря в Солеме. Геранже был известен как борец за устранение во Франции локальных литургических практик и за восстановление единой римской богослужебной традиции.

3

Американский киномюзикл 1950 года.

4

«Бо Доммаж» (*фр.* Beau Dommage) – канадская рок-группа, более всего известная своей песней «La complainte du phoque en Alaska» – «Жалобы аляскинского тюленя».

5

Моя дорогая *(фр.)*.

6

Да, алло? *(фр.)*

7

Вероятно, имеется в виду Эдгар Гувер, один из директоров ФБР, автор нескольких книг по юриспруденции.

8

Хорошо *(фр.)*.

9

Ясно *(фр.)*.

10

Я тебя люблю *(фр.)*.

11

Saint-Gilbert-Entre-les-Loups – Святой Гильберт среди волков *(фр.)*.

12

Да, спасибо *(фр.)*.

13

Канадско-французское ругательство.

14

Здравствуйте, брат мой *(фр.)*.

15

Отец мой *(фр.)*.

16

Прошу прощения *(фр.)*.

17

Розарий (от *лат.* rosarium – венок из роз) – традиционные католические четки и молитва, читаемая по этим четкам.

18

Приор – здесь: титул старшего после настоятеля члена монашеской общины.

19

Эти слова принадлежат Юлиане Норвичской (1342–1416), английской духовной писательнице, автору первой книги, написанной женщиной на английском языке.

20

Я? *(фр.)*

21

Служба, неподкупность, справедливость *(фр.)*.

22

Да, отец настоятель *(фр.)*.

23

Так в английском переводе этого латинского текста средневекового католического песнопения. По-латыни эти слова означают: «День гнева, этот день».

24

Здесь: скотный двор *(фр.)*.

25

Равновесие *(фр.)*.

26

Хорошо *(фр.)*.

27

Старина *(фр.)*.

28

Добрый день! *(фр.)*

29

До бесконечности *(лат.)*.

30

Гильбертинцы – исчезнувший монашеский католический орден, основанный святым Гильбертом около 1130 г. в Семпрингхеме (Англия).

31

(Стали) обязательными *(фр.)*.

32

Привратницкая *(фр.)*.

33

Дерьмо *(фр.)*.

34

Район в восточной части Монреаля, его население составляют главным образом рабочие, студенты и новые иммигранты.

35

Вот что такое я *(фр.)*.

36

Монастырь в Монреале.

37

Мое сердце *(фр.)*.

38

Выражение восходит к Евангелию от Матфея, 7: 15: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».

39

Из стихотворной драмы Т. С. Элиота «Убийство в соборе».

40

Прошу прощения *(фр.)*.

41

Это верно *(фр.)*.

42

Вальденсы – религиозное движение в западном христианстве. В 1215 г. объявлены еретиками и подверглись жестокому преследованию.

43

Свершившийся факт *(фр.)*.

44

Calice – потир, tabernac(le) – храм, hostie – облатка *(фр.)*; эти слова используются во франко-квебекском диалекте и как бранные.

45

Верно *(фр.)*.

46

Благодарю, сын мой *(фр.)*.

47

Из драмы Т. С. Элиота «Убийство в соборе».

48

Будьте готовы *(лат.)*.

49

«Братец Яков» (*фр*. «Frère Jacques») – известная французская детская песенка.

50

Фоггорн Леггорн – имя петуха, персонажа знаменитой мультипликационной серии «Луни тьюнс» (в русском переводе «Веселые мелодии», «Сумасшедшие мелодии»).

51

«Кемптаунские гонки» – известная песня из мультипликационной серии «Луни тьюнс»; петух Фоггорн Леггорн напевает припев «Ду-да».

52

Неужели? *(фр.)*

53

Ваше здоровье *(фр.)*.

54

Либреттист и автор стихов Алан Лернер и композитор Фредерик Лоу сотрудничали много лет. Певец и автор песен Пол Саймон и певец Арт Гарфанкел – известный американский дуэт, популярный в 1960-х. Драматург Уильям Гильберт и композитор Артур Салливан совместно создали четырнадцать комических опер.

55

Фраза из детской сказки «Паровозик, который смог», морализирующей на темы усердия и трудолюбия.

56

«Балконвиль» – пьеса канадского автора Дэвида Феннарио. Балконвиль в пьесе – депрессивный район Монреаля.

57

Да, это правда *(фр.)*.

58

Конечно *(фр.)*.

59

Аллюзия с «Adeste fideles» (*лат.* «Придите, верные») – католический рождественский гимн, известный со второй половины XVIII в.: «Придите к Младенцу, верные, с весельем!»

60

«Псы Господни» – неофициальное название ордена доминиканцев, обусловленное созвучностью с латинскими словами «Domini canes».

61

Конгрегация доктрины веры, или Конгрегация вероучения – старейшая и главная из девяти конгрегаций Римской курии, наблюдающая за чистотой веры. При учреждении получила название Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции.

62

Морис Ришар – канадский хоккеист, игравший за «Монреаль канадиенс».

63

К роду Борджа, имя которого стало символом коварства и распутства, принадлежали два римских папы (Каликст III и Александр VI) и много кардиналов.

64

Монарда, используемая в медицинских целях, является культурным растением.

65

Доброй ночи, отец мой *(фр.)*.